

НИКОЛАЙ ГРЕЧ



ЗАПИСКИ О МОЕЙ ЖИЗНИ

Николай Иванович Греч. Записки о моей жизни //Издательство: Захаров, Москва, 2002
ISBN: 5-8159-0201-2
FB2: "justserge ", 10 August 2011, version 1.11
UUID: 5292D15B-3526-4BF9-8868-C09788B3C157
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Иванович Греч

Воспоминания о моей жизни

В этой книге — наиболее полный текст знаменитых воспоминаний Николая Ивановича Греча (1787–1867) — журналиста и издателя, писателя и филолога, члена-корреспондента Петербургской Академии наук, подготовленные путем соединения текста книги 1886 года (там были цензурные изъятия) и 1930 года (купюры там восстановлены по рукописи, но сделаны иные сокращения). Сохранены особенности авторского стиля, но орфография и пунктуация приближены к современным.

«Записки о моей жизни» — ценный вклад в мемуарную литературу конца XVIII и начала XIX века. Екатерина, Павел, Александр I, Аракчеев, Сперанский и Магницкий — с одной стороны, восстание в Семеновском полку и декабристы — с другой, и, наконец, ряд виднейших литературных деятелей: Державин, Жуковский, Пушкин, Сенковский, Воейков, Булгарин — вот тот круг лиц и событий, который охвачен «Записками».

Содержание

| | |
|---|------|
| Глава первая | 0005 |
| Глава вторая | 0073 |
| Глава третья | 0157 |
| Глава четвертая | 0223 |
| Глава пятая | 0304 |
| Глава шестая | 0363 |
| Глава седьмая | 0397 |
| Глава восьмая | 0418 |
| Глава девятая | 0451 |
| Глава десятая | 0539 |
| Глава одиннадцатая | 0593 |
| Глава двенадцатая (отрывок) Фаддей Булгарин | 0720 |

Николай Иванович Греч

Записки о моей жизни

Глава первая

Несколько раз собирался я писать записки Но виденном и слышанном мною в жизни, — как по советам других, так и по собственному влечению. Раза два и принимался, но не имел силы продолжать.

Самый длинный из таких опытов начал я в 1821 году, именно 21 мая, но написал не более пяти страниц и остановился. Я прочитал их Булгарину: они ему очень понравились, и он поощрял меня продолжать, но я, сам не зная почему, не мог решиться.

Теперь думаю я, что эта нерешительность произошла от чувств тогдашней моей молодости: впечатления были свежи, но не глубоки; мнения решительны, но односторонни; опыт тяжелой своей рукой еще не подавил тогда души кипучей и отважной; не охолодил студеной водой мечтаний самолюбия и самонадеянности. К тому же многие из существенных лиц биографической моей драмы были живы: следовало бы писать портреты, а не воспоминания; приходилось бы пожать руку иному, а через полчаса прижать всего его,

только не к сердцу. Я написал потом несколько отрывков из моих воспоминаний (они вошли в состав этой книги). Эти статьи, кажется, были не без достоинства: доказательством тому, с одной стороны, внимание к ним большей, благонамеренной публики; с другой — безусловная брань враждебных мне журналов.

Возобновляю на шестьдесят втором году жизни безуспешно начатое на тридцать четвертом. Двадцать восемь лет и десять дней — почти размер поколения человеческого! Авось либо теперь буду счастливее.

Какая цель моих записок? Оставить моим детям., внучатам, друзьям и приятелям воспоминания о жизни не слишком разнообразной, не богатой важными происшествиями, но довольно замечательной в кругу, который был ее поприщем.

Постараюсь писать как можно проще, без всяких затей, прикрас и авторских требований. Буду писать обо всем, что видел, слышал, испытал, о делах важных и о безделицах. Постараюсь об одном: чтоб в моих записках было сколь можно более правды. Без-

условной правды не обещаю, и обещать не могу: она не далась никакому человеку в этой жизни страданий, искушений, разочарований; довольно того, если он желает и старается быть правдивым.

Буду щадить своих ближних, сколько возможно, но пощада эта будет ограниченная. Слабости людей, невольные их прегрешения, свойственные всякому человеку, — имеют право на умолчание их; но пороки гласные и вредные, подлость, коварство, злоба, лицемерие, неблагодарность, мстительность должны быть изобличены и тем самым наказаны.

Мне возразят: об умерших должно говорить только... Только правду! — прерву я вашу речь. Выставляя и карая порок, чту и возвышаю добродетель. Не один нынешний или будущий мерзавец (а на таковых всегда и везде большой урожай), читая описание душевных качеств и дел подобного себе во время оно, призадумается и, может быть, сделает одной подлостью менее. Довольно будет и этой пользы от моих записок.

Если б следовало говорить о людях, по смерти их, только доброе, оставалось бы или

не писать историй, или сжечь все исторические книги. В этом преимущество людей мелких и слабых перед великими и сильными. Умрет мелкий негодяй, — его похоронят с той же молитвою, как доброго человека: упокой, Господи, душу усопшего раба твоего! — и потом забудут. Брань на него, при жизни, обращается по смерти в безмолвие, а иногда и в похвалу с пожеланием ему царства небесного. Другое достается на долю царей и великих мира сего. При жизни их хвалят, им удивляются, раболепствуют, не только писать и говорить, даже думать дурно о них не смеют. Но едва лишь они сойдут с позорища, является неумолимая история и разит их обоюдоострым мечом своим. Над могилою простого человека легкий зеленый холмик; труп вельможи тяготит мраморная гробница. И не одна история терзает их память. Ближайшее потомство чернит их, как бы желая нынешнею неблагодарностью загладить вчерашнюю свою подлость... (Это было написано в 1849 году и блистательно оправдалось в 1855-м, по кончине Николая I. Облагодетельствованные, возвеличенные им люди восстали на

него бессовестно и бесстыдно.)

Всего лучше в этом отношении писателям, артистам и т. п. творцам: при жизни судят о них по самому плохому из их творений, по смерти по самому лучшему. Кто, например, теперь бранит стихи графа Хвостова, и кто не отдает справедливости единственному четверостишию Рубана!

Не пора ли мне приступить к делу. Вижу, что мне идет седьмой десяток: старость болтлива!

Итак — с Богом!

Род мой происходит из Германии, а именно, сколько мне известно, из Богемии. В Вене жил и умер знаменитый в свое время католический проповедник, доктор богословия., профессор университета, бенедиктинец Адриан Греч, родившийся в 1753 году. Некоторые отрасли пресловутого рода занесены были и за Рейн: в Крейцнахе жил бедный ремесленник этого прозвища, но я, к сожалению моему, в 1845 году быв там, не нашел уже его в живых.

В половине XVII столетия несколько тысяч семейств протестантских, преследуемых католическими изуверами, бежали, большей

частью, в северную Германию и в Пруссию. В числе их был и прапрадед мой. Кто он был, мне неизвестно. Булгарин отрыл в какой-то старинной польской метрике, что король польский Стефан Баторий даровал чеху Гречу дворянское достоинство за услуги, оказанные Польше, но был ли этот чех из наших предков, не знаю. Сомневаюсь даже, ибо, в случае действительного облагорожения его фамилии, он непременно прибавил бы, в Германии, к своей фамилии частичку «фон», а такой прибавки ни в одном из наших фамильных актов не значится. Если мне удастся побывать в Стокгольме, я справлюсь об этом обстоятельстве в тамошнем архиве, где хранятся именно свидетельства о дворянских родах Польши. Всего ближе поведет к открытию фамильный герб, о котором упомяну ниже.

В фамилии нашей сохранилось темное предание, что уже прадед мой жил в России, но выехал оттуда обратно в Пруссию. Достоверно знаем только, что сын выходца из Богемии, Михаил Греч, в 1696 году был камерным советником в прусской службе и умер в Кенигсберге, около 1725 года, в крайней бедно-

сти.

Дед мой Иван Михайлович (Johann Ernst), родившийся в Кенигсберге 19 октября 1709 года, с самых молодых лет чувствовал страстную охоту к наукам и особенно любил поэзию. Он учился сначала в Кенигсбергской, а потом в Данцигской гимназии, с большими успехами. При всяком достопамятном случае брался он за лиру и воспевал счастье или несчастье своих знакомцев и благодетелей, особенно членов Данцигской ратуши. Они обратили внимание на благонравного и красноречивого юношу и поместили его, в 1732 году, на городскую стипендию студента в Лейпцигском университете. Там приобрел он особенную благосклонность знаменитого историка Маскова и помогал ему в сочинении немецкой его истории. Масков рекомендовал его в репетиторы к знаменитым молодым людям, учившимся в Лейпциге. Несколько времени провел он и в Марбурге. В обоих городах познакомился он с русскими студентами и стал заниматься русским языком, как будто предчувствуя свое будущее назначение.

Действительно, судьба неожиданно пере-

селила его в Россию. Находившийся при курляндской герцогине Анне Ивановне, знаменитый Бирон желал иметь при себе секретаря, который бы имел основательные познания в истории и образе правления Польши, с которою тесно связано было Курляндское герцогство, и поручил русскому посланнику в Варшаве, графу Кайзерлингу, отыскать ему способного к такой должности человека. Кайзерлинг обратился с этим поручением к Маскову, и он рекомендовал моего деда.

Иван Греч прибыл в тридцатых годах в Митаву. Герцог принял его благосклонно, но вскоре увидел, что имеет дело с действительно ученым человеком и что секретарское место ему не прилично. Он дал Гречу место профессора в Митавской гимназии. Через несколько лет, когда надлежало устроить верхние классы в Сухопутном кадетском корпусе (учрежденном в 1732 г.), главный начальник корпуса граф Миних спросил у Бирона, не может ли он рекомендовать ему хорошего профессора. Бирон назвал Греча, вызвал его из Митавы и представил графу. В начале 1738 года магистр философии Johann Ernst

Gretsch, переименованный Иваном Михайловичем Гречем, поступил профессором истории и нравоучения, и так называемых humaniorum, в верхние классы Сухопутного Шляхетского кадетского корпуса, называвшиеся тогда Рыцарскою Академиею.

У меня есть акты, относящиеся к определению в службу моего деда: прошение его 21 февраля 1738 г., доклад о том директора корпуса, полковника фон Теттау, Высокому Кабинету ее императорского величества, на котором значится и резолюция Кабинета: «Ежели по штату профессору быть положено, то оного магистра философии принять позволяется. Андрей Остерман, Алексей Черкасский». Потом приказание директора майору корпуса фон Радену о приведении его к присяге, присяжный лист на русском языке, засвидетельствованный по-немецки майором фон Раденом, что «смысл присяги объяснен был новому профессору, и он принес оную на немецком языке». Вообще, достойно замечания, что все эти акты написаны по-русски, старинным подьяческим почерком, под титлами и с крюками, а подписи немецкие: von Tettau, von

Rhaden и т. д. Любопытнее всего контракт (капитуляция), заключенный с профессором; он написан по-немецки со следующим русским переводом: «Ее Императорского Величества, определенный Шляхетного Кадетского корпуса директор и при армии полковник, я, Абель Фридрих фон Теттау, объявляю сим: понеже некоторые при Рыцарской Академии к гражданскому этапу определенные кадеты, при обучении потребных им языков, в обучении философии и юриспруденции только профити — решали, что они ныне при политике и государственную немецкую историю, также юс публикуй и феодале обучаться могут, а к обучению таких наук за несколько время прибывший сюда из Лейпцига господин магистер Иоанн Эрнст Греч представлен, который, по некоторым заданным ему пробам и от него поданным шпециминам, науку и искусство свое довольно показал, и, по всемиростивейшей Высокого Кабинета резолюции на порозжее в регламенте место профессором гуманиорум, в корпус определен. Того ради, с предоставлением сиятельного Рыцарской Академии шефа и генерал-фельдмаршала, Го-

сударственной Военной Коллегии президента, генерал-директора всех крепостей Российской Империи и кавалера Российских и Польского Белого Орла орденов, графа фон Миниха, ожидаемой ратификации, с ним, господином магистером Гречем, как для исполнения его должности, так и для определения годового ему жалованья, следующую капитуляцию учинил, а именно:

1. Должен он, г. профессор И. Э. Греч, по учиняемой своей присяге в обучении шляхетных кадетов так поступать, как перед Богом, перед Ее Императорского Величества и перед начальствующими своими ответственность надеется.

2. Позволяются ему при Рыцарской Академии профессорские преимущества, в котором деле он, по требованию и по цивильному этаку, определенных кадетов по 22 часа в неделю, в философии, политике, государственной истории, юс публице и феодаде, Коллегии читать имеет, и в латинском, а особливо в немецком штиле определенных к нему в том кадетов по возможности понатвердить обязан.

3. Должен он, г. профессор Греч, в такой своей службе по опробованному генеральному штату (статуту) корпуса и по ожидаемой от определенного господина обер-профессора опробованной же инструкции и окладному табелю поступать.

4. Он же в таком состоянии обязан три года с ниже показанного числа при Рыцарской Академии пробывать, а когда, по прошествии трех лет, впредь капитуляцию заключить не пожелает, должен он, за полгода наперед, пристойным образом о том объявить, чего и ему, ежели, по прошествии означенных лет, он впредь ненадобен будет, равномерно учинено быть имеет.

5. А за его, по 2-му № назначенную службу определяется ему, г. профессору Гречу, годовое жалованье по 500 рублей на год и свободная в корпусе квартира, которое жалованье с того времени, как в службу вступит, как прочим служителям корпуса по третям без задержания ему выдано быть имеет.

6. Впрочем, может г. профессор всякой надлежащей протекции и склонности наилучше всегда обнадежен быть, чего ради сию капи-

туляцию своею рукою подписал и природною моею печатью подкрепил.

В С.-Петербурге, марта 20 дня 1738 года. Фон Теттау, директор. Что вышепредъявленная копия господина профессора Греча с подлинной капитуляцией сходствует, свидетельствую с подписанием руки своей. Апреля 29 дня 1738 года. Обер-профессор фон Зихгейм (Siegheim)».

В этой должности дед мой прослужил около двадцати лет и 22 мая 1757 года был назначен директором учебной части (инспектором классов) корпуса, с производством в чин юстицрата 5 класса. Сверх сей должности был он лектором при великой княгине Екатерине Алексеевне, выбирал книги для ее библиотеки и преподавал ей историю и политику. Блистательные успехи ученицы дают его познаниям и способностям самый лестный аттестат. Достоинно замечания, что он в то же время пользовался вниманием и милостью великого князя Петра Федоровича, бывшего главным директором корпуса: это свидетельствует о его благоразумии и умении жить в свете.

Дед мой несколько лет страдал головокру-

жением, сопровождаемым обмороками, и 4 марта 1760 года, на экзамене в корпусе, в присутствии великого князя, поражен был апоплектическим ударом. Он упал без памяти на пол. Великий князь поднял его, посадил в кресла, и как в нем были еще знаки жизни, приказал бережно отнести домой, в квартиру его в 1-й линии. Тогда протекала между Кадетской и 1-й линиями канавка, и против дома, в котором жил И. М. Греч, был пешеходный мостик, но такой узкий, что нельзя было пронести кресел. Великий князь, увидев это из окна, приказал сломать перила по сторонам мостика, чтоб пронести больного. Потом мостик этот починили, и он с тех пор до упразднения своего, вместе с канавкою, слыл Гречевым. Бедный дед мой томился на одре болезни до осени и скончался 13 сентября того же года.

Из сочинений его известны мне печатные немецкие стихи, написанные им в Митаве в 1738 году по случаю переселения одного патриция, покровителя его, в новый дом. В этих стихах назван он профессором Митавской гимназии; это противоречит другим извести-

ям о его службе. Кажется, он, по вызову Бирона, прибыл не прямо в Петербург, а сначала был определен в Митаве, и там сделался известен своею ученостью. Сверх того сочинил он книгу: «Политическая География, сочиненная в Сухопутном Шляхетном корпусе. СПб, 1758, в типографии Корпуса». Книга эта издана на русском языке, но, вероятно, написана по-немецки и переведена кем-нибудь из его помощников.

Из учеников его я знал генерал-прокурора Александра Андреевича Беклешова, тайного советника Карла Федоровича Модераха и знаменитого нашего актера Дмитревского: все они хранили о нем благодарную память.

На экзамене в Юнкерской школе (в июле 1801 года), происходившем в присутствии генерал-прокурора, инспектор вызвал меня к доске.

Фамилия Греча поразила его.

Не родня ли ты профессору Гречу, моему учителю, душенька? — спросил Беклешов ласково.

— Я внук ему.

— Так ты сын Ивана Ивановича?

— Точно так, ваше высокопревосходительство.

— Очень хорошо учится, — прибавил директор наш, А. Н. Оленин.

— Не диво, — сказал Беклешов. — И отец его, и дяди хорошо учились, а дед был преученный человек. Ну, душенька, скажи мне, по каким губерниям протекает Волга?

В 1819 году поручено мне было устроить ланкастерские классы в Воспитательном Доме, где тогда почетным опекуном был почтенный Модерах. Государыня Мария Федоровна, слышав, что я привез эту методику из-за границы, вообразила, что я должен быть иностранец, и при первом посещении новоустроенного класса говорила со мною по-французски.

Когда начались упражнения, я громко командовал:

— Смирно! Старшие по местам!

— Как вы хорошо говорите по-русски, — сказала государыня с удовольствием.

Я не знал, что отвечать.

— Это не удивительно, — заметил Карл Федорович Модерах. — Дед господина Греча был моим учителем в Кадетском корпусе.

Третий из известных мне учеников, как я сказал, был Дмитревский. Я познакомился с ним у Гнедича и, имея надобность в сведениях о началах русского театра (для моей истории литературы), отправился к почтенному старцу (это было летом в 1821 году). Дмитревский жил тогда у сына своего, служившего в почтамте. Я нашел его за утренним завтраком: он сидел на лежанке и ел салакушку. Тогда он был уже совершенно слеп, и когда я объявил ему, кто я и зачем пришел, он сообщил мне все нужные сведения и наконец спросил, не родня ли я профессору Гречу. Я сказал: точно, я внук ему, и просил И. А. Дмитревского дать мне какое-нибудь понятие о моем деде. Дмитревский отвечал мне, что учился у него, с товарищами своими, по средам, всеобщей истории; что дед мой был человек высокого роста, важный, глубокомысленный, строгий.

Никогда не забуду этой беседы с восьмидесятилетним Дмитревским: в голосе его было что-то торжественное, трагическое; голова его дрожала от старости, но была удивительно прекрасна. У Н. И. Гнедича был несравнен-

ный портрет его, слегка набросанный Кипренским: не знаю, куда он девался...

Впоследствии узнал я, что у покойного деда моего, на дому, учился историческим и политическим наукам знаменитый впоследствии государственный муж, граф Яков Ефимович Сиверс (умерший в 1808 г.), благоволивший отцу моему, вероятно, в благодарность за уроки деда. Строг был мой дед, по свидетельству его ученика, но, видно, только в классах: о том, что сердце его доступно было нежным чувствам, свидетельствует письмо, полученное уже после его смерти, от сына его, Johann Ernst Gretsch, которого он, занимаясь в Лейпциге науками, прижил с дочерью своего хозяина. Почтенный мой дядюшка пишет к родителю своему, что матушка воспитала его в страхе божием, а дедушка наставлял в науках; что он служил писарем у какого-то уголовного судьи и нередко переписывал набело смертные приговоры (письмо было написано четким, красивым почерком); просит батюшку своего о позволении приехать в Петербург с тем, чтобы, при его ходатайстве, получить какое-нибудь, хотя бы ла-

кейское, место, обещая притом быть скромным и никому не открывать тайны своего происхождения. Жаль мне крайне, что я затерял этот драгоценный документ.

Законная родня моего деда была многочисленнее и чище. У него было несколько братьев: из них известен мне только один, Федор Греч (Theodorus Gretsches). Он, как кажется, был в размолвке с моим дедом, и они никогда не переписывались. Федор Греч был аншпахским надворным советником и резидентом Ганзейских городов в Берлине. Он участвовал в построении богемской церкви в Берлине, сооруженной изгнанными из Богемии протестантами, но в церковь и к причастию не ходил, прилежно читая Библию и душеспасительные сочинения Рейнбека. Он был холост и жил уединенно в Фридрихсштадте. Умер он скоропостижно, в 1757 году, отказав все свое имение одному приятелю, какому-то господину Шах фон Виттенау, слуге своему и кухарке, которая, как кажется, служила ему и по другой части. Родственникам своим отказал он двести талеров, которые дед мой уступил сестре своей, бывшей замужем за каким-то

Геннингом, в Линденау, близ Браунеберга, в Пруссии. В 1771 году покойная бабка моя получила от г. Шах фон Виттенау фамильную печать нашего рода: на ней изображено писчее перо.

Упомяну еще о двух любопытных (по крайней мере, для меня) обстоятельствах. В 1812 году познакомился я с одним из достойнейших и искуснейших петербургских врачей, Иваном Яковлевичем Геннингом, который пользовал меня и весь дом мой до кончины своей, последовавшей в 1831 году. Однажды, узнав, что он родом из окрестностей Данцига, я вздумал спросить, из какой фамилии была его мать, — как говорит Грибоедов: «Позвольте нам родными счесться». Но добрый, однако же расчетливый Геннинг не почел нужным объяснять это обстоятельство и отвечал мне уклончиво: «Все люди родня друг с другом». Вероятно, он опасался, что я, добившись с ним родства, перестану платить за визиты. Другой случай. Внучатный мой племянник, сын двоюродной моей племянницы Марии Павловны, урожденной Безак, Николай Андреевич Крыжановский, ныне (1861 г.) дирек-

тор Михайловского артиллерийского училища, посланный в 1840–1841 годах из артиллерийского училища в Берлин для окончания наук, познакомился с одним капитаном Шах фон Виттенау, который, угощая его, не догадывался, что потчивает человека, которого прапрадед ограблен его предком!

Дед мой, около 1740 года, женился на купеческой дочери Катерине Мартыновне Паули, бывшей камерюнгферою у какой-то герцогини, вероятно у Курляндской. Она была женщина кроткая и добрая, но ума не дальнего: она привила к роду Гречеву какое-то педантизм, какую-то ограниченность взглядов, качества, изглаженные в некоторых его отраслях новыми прививками. Скончалась она в семидесятых годах.

У ней были две сестры, Елена и Анна. Елена была замужем за прапорщиком Копорского полка Гуром Арбузовым. Единственным памятником ее существования остался следующий акт, данный ей мужем: «В 1752 году, мая 23 дня, я, ниже подписавшийся — дал сие обязательное письмо жене моей, Елене, Мартыновой дочери, Арбузовой, в том, что взял я

от ней, жены, пожалованных ей от Всемило-
стивейшей Государыни денег четыреста руб-
лев для выкупу недвижимого дяди моего,
ассессора Евтифея Арбузова, новгородского
имения, которые деньги платить мне, Гуру
Арбузову, кому она жена моя по смерти сво-
ей по сему или своеручному письму прика-
жет или сестре ее, девице Анне Мартыновой
Паулиновой, или зятю ее. Кадетского корпуса
профессору Ивану Гречу, и жене его Катерине
с детьми, кому что в том своеручном письме
ее написано будет. В чем своеручно и подпи-
суюсь, муж ее, Санкт-Петербургского гарнизо-
на Копорского полку прапорщик Гур Арбу-
зов». На обороте написано: «Obererwantes
Geld muss meine Schwester Anna Pauli nach
meinem Tode haben. Helena Pauli». (Означен-
ные деньги должна получить после моей
смерти сестра моя Анна Паули. Елена Паули.)

Анна Мартыновна Паули была дева чув-
ствительная и анекдотическая. Она помолв-
лена была, в молодости своей, с немцем, апте-
карем, человеком весьма хорошим. Вдруг под-
вернулся к ней какой-то французик: тара-ба-
ра, бонжур, коман ву порте ву? Она изволила

в него влюбиться и однажды, сидя с женихом своим, нежным аптекарем, у открытого окна (в доме на берегу Мойки), попросила у него шутя обручального кольца, и когда он согласился, бросила кольцо, с своим кольцом, в реку. Аптекарь изумился, испугался, просил ее одуматься. Она не согласилась, разбранила его, утверждая, что от него несет ревенем и ассафетидою, принудила уйти и объявила домашним, что выходит за француза. Назначен был день свадьбы. Невесту разрядили, готовились ехать к венцу. Вдруг, вместо жениха, явился католический священник и объявил, что жених венчаться не может, потому что в тот самый день приехала к нему законная жена из Франции.

Огорченная досадным происшествием, пристыженная перед всеми родными и знакомыми, решила она оставить Петербург и поехала с одним богатым помещиком в отдаленную провинцию для воспитания его детей. Дворянин вздумал обратить молодую и, как гласит предание, хорошенькую лютераночку в православие, стал ее уговаривать, убеждать, стращать: ничто не помогало. Раз-

драженный неожиданным упрямством, он наконец объявил ей, что уморит ее с голоду, повел в пустой погреб и замкнул. Она просидела в темном погребу несколько дней без пищи и уже готовилась к голодной смерти. Вдруг отворились двери ее темницы. Жена мучителя пришла освободить ее и рассказала, что муж, отправившись на охоту, упал с лошади, ушибся смертельно и перед концом объявил, что это несчастье, конечно, есть кара божья за терзание бедной немки, сказал, где запер ее, просил освободить несчастную и скончался.

Анна Мартыновна воротилась в Петербург и неоднократно езжала в Москву к бывшему жениху своему, который, между тем, женился на другой и жил припеваючи. Ей не было суждено умереть обыкновенною смертью. По кончине сестры своей, моей бабушки, она не хотела жить с племянниками, наняла себе квартиру на Васильевском острове и гостила по родным и домашним. В одно утро нашли ее дома убитою; все ее имущество расхищено; в разных местах комнаты, особенно подле шкапов и сундуков, видны следы крови. Вероят-

но, злодеи терзали ее, чтобы она показала им мнимое свое богатство.

Жизнь и кончина Анны Мартыновны были самую романтической легендой в нашем семействе.

Бабушка моя получила от императора Петра III тысячу рублей пенсии, которую оставила за нею и Екатерина II. Сыновьям повелено было производить сию пенсию до повышения в офицерский чин, дочерям — до замужества. Сверх того пользовалась она по смерти казенною квартирою в корпусе.

У деда моего были три сына: Карл, Логин, или Лудвиг, и Иван (отец мой) и три дочери: Анна, Вера и Елена. Оба старшие сына были воспитаны в Кадетском корпусе и выпущены офицерами в армию, и в 1771 году оба были капитанами. Карл Иванович Греч, бывший отличным в свое время молодцом, служил в гвардии и был адъютантом генерала Мансурова и другом Державина. Он вышел в отставку, отправился в Пензу, женился там на достаточной дворянке и оставил дочь Елисавету. О ней, как и о времени кончины старшего моего дяди, не имею я никаких сведений.

Покойный Ф. Ф. Вигель говорил лишь, что знал Елисавету Карловну в Пензе. Она скончалась в старости девицей, приняв православие.

Второй, Логин, жил недолго, но оставил монумент своего существования. Когда в начале царствования императора Николая Павловича поведено было выставлять на мраморных досках имена отличившихся кадет, справедливый государь вспомнил о предместниках их и приказал изобразить, таким же образом, имена кадет, получивших большие золотые медали с начала учреждения корпуса. В числе их красуется имя моего дяди.

Усладительная мысль, что по прошествии полувека благонравие и успехи получают признание и награду! Поприще его было короткое. Вскоре по выпуске в офицеры он отправился к армии, действовавшей против турок, был в сражениях при Ларге и Кагуле и в 1772 году умер от моровой язвы в Яссах. Он был любимцем своей матери и, как говорит семейное предание, явился ей в минуту своей смерти. Бабушка, однажды после обеда, легла отдохнуть; вскоре выбежала она из своей

спальни, встревоженная, и спрашивала у домашних:

— Где ж он? Что ж он не вошел ко мне? Я еще не спала.

— Кто?

— Как кто! Сын мой, Логин Иванович. Я начала было засыпать, вдруг услышала шорох, открыла глаза и вижу, он проходит бережно, с остановкой, мимо дверей спальни, чтобы не разбудить меня! Где он? Не прячьте его.

Ее уверили, что Логин Иванович не приезжал, что это ей так пригрезилось, и она со слезами убедилась в своей ошибке. В это время вошел в комнату зять ее, Безак; узнав о случившемся, он призадумался, вынул из кармана записную книжку и записал день и час этого случая. Через две недели получено было письмо, что в этот самый час Логин Иванович скончался.

Кстати, о Безаке.

Дед мой, чувствуя ослабление сил своих от возобновлявшихся часто припадков головокружения, принужден был искать себе помощника и обратился с просьбою к приятелям и корреспондентам своим в Лейпциге о

присылке ему надежного человека. 17 сентября 1760 года вошел в квартиру его молодой человек и спросил по-немецки, может ли видеть господина юстицрата. А деда моего в этот день хоронили.

Оказалось, что этот молодой человек (тогда ему было двадцать шесть лет) магистр философии Христиан Безак, родом из Лузациии, один из отличнейших молодых доцентов Лейпцига, рекомендован моему деду, и лишь только прибыл на корабле из Любека. Начальство корпуса тотчас приняло его на место умершего и, как холостому, отвело ему половину квартиры покойного, оставив другую его вдове.

Безак, через несколько лет, женился на тетке моей, Анне Ивановне. Он был человек необыкновенных достоинств, умный, ученый, кроткий нравом и строгий только к самому себе, добросовестный в исполнении своих обязанностей, приятный в обращении. Немногие оставшиеся ученики его вспоминают о нем с искреннею благодарностью.

Вскоре по прибытии в Россию, он выучился русскому языку и впоследствии написал

книгу: «Краткое введение в бытописание Всероссийской Империи» (СПб, 1785 г.). На немецком языке напечатал он несколько философских диссертаций. Важнейшие труды его остались в рукописях. Сын его хотел издать их, но, развлекаемый службой и делами, не успел. Один из его учеников, кажется, князь Путятин, напечатал в двадцатых годах в Дрездене, где он жил, его уроки философии, на французском языке, не указав источника.

Безак умер летом 1800 года, прослужив без малого сорок лет в одной должности. Он имел чин коллежского советника и был одним из первопожалованных кавалеров ордена св. Владимира. Государыня Екатерина II лично знала и уважала его, в семействе своем пользовался он безусловным авторитетом. Своичины, невестки и другие крикливые дамы умолкали перед изречением: «Это сказал Безак». Мне дорога его память тем, что он любил и уважал мою матушку.

Он имел одну дочь, Дарью, бывшую в замужестве за действительным статским советником Вирстом (Wuerst, умершим в 1831 г.), и сына Павла Христиановича, о котором не раз

будет говориться в моих записках. Овдовев, он через несколько лет женился на какой-то Ксантиппе, безобразной и скупой, которая памятна мне только по ужасной вони от ее собак в их квартире. И теперь вижу эту квартиру. Она была в узком флигеле корпусного здания, выдающемся к Неве, подле церкви. В большой комнате стоял бильярд, на котором Безак постоянно играл для моциона.

Другая тетка моя, Вера Ивановна (умершая в 1815 г.), была также за корпусным профессором, но по другой части, за ротмистром Петром Ивановичем Штебером (Stober — известная эльзасская фамилия), служившим при корпусе берейтором. Он умер, в исходе 1797 года, шталмейстером Конной Гвардии, в чине полковника. Сын его, Александр, выпущенный из 1-го корпуса в 1804 году, убит в 1813 году под Бауценом в чине майора. Имя его начертано на мраморной доске в корпусной церкви.

Третья тетка моя, Елена Ивановна, скончалась девицею, в 1797 году. Она была женщина очень умная и добрая, но решительная и своенравная и слушалась только Безака; с Ве-

рою же Ивановною и отцом моим была в непрерывной войне, прерывавшейся редкими кратковременными перемириями. С матушкой моею она всегда была дружна и согласна. На нее удивительно похожа, и наружностью, и отчасти нравственными свойствами, сестра моя, Екатерина Ивановна.

Отец мой Иван Иванович (Johann Ernst) родился 31 июля 1754 года. Лишившись отца в малолетстве, он был воспитан в доме своей матери, — сколько могу заключить из его характера и основных понятий, весьма не педагогическом. Предраассудки, причуды, нелепые поверья и предания бестолковой немецкой старины, приправленные приметами русских и чухонских кухарок, составляли атмосферу, в которой возникли и выросли дети этого семейства. Старшие сыновья, по-видимому, сбросили с себя эту кору в корпусе. В остальных превратное воспитание несколько умерялось влиянием Безака, но не довольно: оно отразилось и в родном его сыне.

Женская партия имеет большое влияние на воспитание детей. Умный муж, занятый службою и другими делами, не может переве-

сить тяжести, налагаемой на весы глупыми и злыми бабами, которые считают самих себя умными и добродетельными.

Отец мой сначала учился под руководством Безака, к которому сохранил до конца его жизни сыновнюю привязанность и благодарность, и лет тринадцати отдан был в единственную тогда порядочную школу в С.-Петербурге, Петровскую, учрежденную в 1762 году знаменитым географом Бюшингом, в то время пастором лютеранской церкви св. Петра. Главным своим образованием обязан он был старшему учителю, доктору Фаусту, который, по странному стечению обстоятельств, был через пятнадцать лет учителем матушки моей в Киеве.

В 1769 году произнес он на публичном экзамене латинскую речь, и поступил на службу писцом в комиссию о составлении проекта нового уложения: почерк у него был прекрасный. Потом он служил в канцелярии генерал-прокурора князя Вяземского, состоявшей из трех чиновников: старшим был Александр Васильевич Храповицкий; младшими — Иван Иванович Хмельницкий и отец мой.

Он отличался по службе умом и деятельностью, и был употреблен во многих важных делах. В 1775 году он был в командировке в Москве, при комиссии, судившей Пугачева и его товарищей; а в 1777 году посылали его с важными поручениями (по финансовой части) в Гамбург и Амстердам, в 1789 году дважды в Геную. Достоинно замечания, что он долгое время служил в чине канцеляриста — для того, чтобы не лишиться пенсии после отца, прекращавшейся с офицерским чином. В чужие края он ездил в чине армии поручика. Вдруг из канцеляристов он был произведен прямо в титулярные советники. Это обстоятельство повредило ему впоследствии: он не мог получить следовавшей ему пенсии, не прослужив урочного времени в обер-офицерском чине.

В начале восьмидесятых годов переведен он был секретарем в Экспедицию о государственных доходах, дослужился до надворных советников, но, повздорив с управляющим, Василием Михайловичем Хлебниковым (который его, впрочем, искренно любил и впоследствии делал ему добро), вышел в 1792 го-

ду в отставку. Обстоятельства этой отставки будут мною описаны впоследствии. В 1794 году поступил он вновь на службу секретарем в 3-й департамент Сената; в 1798 году определен был обер-секретарем во временный апелляционный департамент. В сентябре 1800 г. отставлен от службы без всякой причины. (В то время раскассирован был весь этот департамент Сената за решение какого-то процесса вопреки просьбы какой-то родственницы Кутайсова.) Скончался, после тяжелой болезни, 5-го марта 1803 года.

Он был человек умный, по тогдашнему времени весьма образованный, светский, притом честный и добродушный, но рьяность и неровность его характера и самые странные капризы причиняли несчастье и ему и тем, кто его окружали. Сердце имел он самое доброе, но буйная голова одолевала благие его внушения, и к тому присоединялось упрямство. С сестрами своими он ссорился непрерывно, но люди умные и твердые могли владеть им: так, например, он уважал шурина своего, Александра Яковлевича, и слушался его охотно, несмотря на то, что тот был

гораздо моложе его. Хозяин он был самый плохой, и когда имел в кармане копейку, думал, что ей исхода не будет: в этом он остался не без наследников. Подчиненные любили и уважали его. Многие, облагодетельствованные им, после его смерти являлись к матушке, 24-го ноября, для поздравления ее с именинами. В 1831 году имел я дело в Сенате. Оберсекретари, бывшие при отце моем писцами, старались всячески услужить и помочь мне.

23-го августа 1786 года женился он на моей матери, девице Катерине Яковлевне Фрейгольд. При этом имени, священном и незабвенном, уныние возникает в моем сердце, и глаза наполняются слезами любви, благодарности и благоговения. Если во мне было что-либо хорошее, если я прожил в свете не даром, если принес пользу моим ближним, — всем этим обязан я Провидению, сподобившему меня родиться от такой матери, которой и дети мои, а через них и внуки, обязаны своим умственным и нравственным образованием. Для последних она божество невидимое.

В истории фамилии матери моей несравненно более поэзии, нежели в отцовской.

Начну издалека, доколе восходят семейные предания.

В начале XVIII века у прусского генерала фон-Зауэрбрей фон-Зауэрбрунн (Sauerbrey von Sauerbrunn) была хорошенькая дочка, обращавшая на себя внимание всех любителей изящного. Полк его стоял в каком-то неважном городке. Все холостые молодые люди хороших фамилий, все сыновья богатых помещиков, все полковые офицеры дивизии вздыхали кто по красавице, кто по приданому, кто по важным связям, но красавица была равнодушна ко всем баронам и фонам, обратив нежный взор свой на молодого полкового пастора Филиппа Фрейгольда (Freyhold).

Наперстный крест на зеленой ленте (отличный знак армейских пасторов в Пруссии) был для нее привлекательнее Черного Орла; кусок ржаного хлеба с милым сердцу предпочтительнее роскоши в браке с постылым...

Вы смеетесь, читатели мои? Вы сомневаетесь в истине этого описания, читательницы? Могу вас уверить, что это суцая правда, но правда XVIII века. Теперь не то.

Разумеется, что под черным кафтаном сердце вторило сердцу в тесной шнуровке, но не было надежды получить согласие родителей. Пастор и генеральская дочка решились втайне обвенчаться и бежать. Обвенчались, но бежать куда? Разумеется, nach Russland! Они счастливо ускользнули от преследований и прибыли в Москву. Там Фрейгольд получил место пастора, и впоследствии был генерал-суперинтендантом. Более не знаю о них ничего. Слышал потом, что при одном ужасном пожаре в Москве они лишились всего своего имущества и, полунагие с детьми, сидели на курившихся развалинах. Вероятно, что пастор помирился впоследствии с своим тестем, потому что пользовался вниманием и покровительством сильных людей, и что дворянское звание его жены не было выпущено из виду.

Сын их, Яков Фрейгольд (родился в 1728 году, умер 16-го декабря 1786 года), был принят в Сухопутный кадетский корпус, получил там хорошее, по тогдашнему времени, образование и выпущен был в Елецкий пехотный полк. В корпусе подружился он с графом Пет-

ром Александровичем Румянцевым, и когда граф, по связям своим и происхождению (тайная история XVIII века гласит, и очень правдоподобно, что он был сын Петра Великого), вышел в чины, он вспомнил о корпусном своем товарище, вызвал его из армии и определил к себе адъютантом.

Фрейгольд служил с ним в Семилетнюю войну, но не до конца: в сражении при Цорндорфе (в августе 1758 года) он был ранен двумя пулями, одною в ногу, другою в голову, упал навзничь, ударился об пень и переломил себе крестец. Он остался жив, но страдал всю жизнь, особенно под конец: через тридцать лет еще вынимали у него косточки из черепа. Получив облегчение от ран, Фрейгольд, бывший тогда в чине майора, приехал, для окончания лечения своего, в Петербург.

От императрицы Елисаветы Петровны скрывали число убитых и раненых на этой войне, и никто из последних не смел перед нею показываться. Под этим условием позволили жить Фрейгольду в Петербурге. Он прятался целую зиму, но весною не мог не погреться на солнышке, пробрался в Летний сад

и сел на скамью. Вдруг услышал он: «Идет государыня!» — вскочил, схватился за костыли, хотел бежать, и не мог. Императрица завидела его, ласково подозвала к себе и спросила с участием, кто он, где ранен и т. д. Узнав же, что он адъютант Румянцева, пригласила к обеду и раз навсегда на все придворные собрания. Осчастливленный сын немецкого пастора, получивший в публике название хромого майора, воспользовался царскою милостью, за которою последовало и благоволение всех знатных и придворных (вероятно, с поговоркою: *il gagne a etre connu*, он выигрывает при знакомстве), сделался светским человеком, стал разъезжать по первым домам и играть в карты очень счастливо.

Тогда играли в азартные игры не только в частных домах, но и на придворных балах и маскарадах. Это продолжалось и в первые годы царствования Екатерины II.

Однажды, в придворном маскараде, Фрейгольд держал банк.

Подходит женская маска, одетая очень просто и не очень опрятно, и ставит на карту серебряный рубль.

Банкомет возразил сухо:

— Нельзя ставить меньше червонца.

Маска, не говоря ни слова, указала на изображение государыни на рубле.

— К ней всякое почтение, — сказал Фрейгольд, поцеловавши портрет, — но на ставку этого мало.

Маска вдруг вскричала:

— *Va banque!*

Банкомет рассердился, бросил в нее колодою карт, которую держал в руке, и, подавая другой рубль, сказал с досадою:

— Лучше купи себе новые перчатки вместо этих дырявых.

Маска захохотала и отошла.

На другой день Фрейгольд узнал, что это была Екатерина. «Хорош ваш хромой майор! — сказала она одному из царедворцев. — Чуть не приколотил меня!» И майор после этого вошел в большую моду.

(В 1764 году он женился... Позвольте еще воспользоваться правом скобок.)

В то время жил-был бригадир Михаил Иванович Шне (Schnee), комендант крепости Кексгольма. Он женат был на красавице

польке Терезе Ивановне, урожденной Шенгоф, дочери польского генерала, бывшего комендантом в Лемберге. Моя прабабушка (Тереза Ивановна Шне), умершая в 1802 году лет девяноста от роду, оставила по себе память в фамильных преданиях. Ребенком она сживала на коленях у Карла XII и у Петра Великого, и чуть ли не была крестницею последнего. Ее назначали в монахини, как вторую дочь; но, по веселости и резвости нрава, она оттого всячески отрекалась, и наконец, вместо ее, постриглась старшая сестра, чувствовавшая склонность к отшельнической жизни.

Тереза, при веселом характере, одарена была вторым зрением: нередко предчувствовала и предвидела, что случится. Однажды умер в Лемберге какой-то генерал. Собираясь на похороны, Тереза стояла перед зеркалом и забавлялась гримасами и кривляньями. Вдруг видит, стоит позади ее бледная высокая фигура в зеленом халате и строго грозит ей пальцем. Тереза обернулась — нет никого; ей так причудилось. Но каков был ее испуг, когда она в тот же вечер увидела в гробу эту самую неизвестную ей дотоле фигуру в зеленом ха-

лате! У нее было еще несколько таких похождений, которых, не помню. Она вышла за капитана Шне, который дослужился в браке до бригадирского чина. У нее были сыновья, которых я не знал, и три дочери — Катерина, Мария и Христина, все красавицы.

Екатерина Михайловна вышла замуж за богатого майора Ренкевича, который подарил ей пятьсот душ в С.-Петербургской губернии (имение это называется Пятая Гора; оно принадлежит теперь господину Волкову). Екатерина Михайловна была женщина благородного образа мыслей, строгих правил, но добродушная и сострадательная. Летом жила она в своей деревне, а зимой в Петербурге. Дом ее, деревянный, ветхий, вросший до половины в землю, еще существует на Сергиевской улице, под № 58, и теперь принадлежит Голубцову. Под конец жизни она была разбита параличом и жила безвыездно в Пятой Горе, где и скончалась в 1802 году. У ней не было детей, и прекрасное, хотя и расстроенное, ее имение перешло к сестрам, как увидим далее.

Другая девица Шне, Мария Михайловна,

вышла замуж за лифляндского помещика Врангеля. Он происходил из старинной и богатой фамилии, но эта фамилия, вопреки обыкновенному течению дел, теряя богатство, уменьшала и титулы свои. При продаже половины имения, граф Врангель стал называться бароном, а прожив и остальное, — простым фоном. Сын его, от второй жены, Борис Карлович, был лет сорока плац-майором в Смоленске и умер года за два перед сим. Дочь его, Анжелика Борисовна, замужем за полковником Августиновичем.

Мария Михайловна скончалась рано, оставив одну дочь, Екатерину Карловну, выданную потом за доктора медицины Карла Борна, прусского уроженца, бывшего профессором в здешней медицинской школе и главным доктором в Кронштадте; он умер потом в Новгороде (1799). Из учеников его я знал Ивана Федоровича Буша, который признавался, что многим обязан Борну, и старался выразить свою благодарность сыну его. Доктор Борн имел все добродетели и пороки щирого немца: был трудолюбив, честен, верен своему слову, аккуратен в исполнении своих обязан-

ностей, но притом упрямым, своенравным, скупым, грубияном и т. д. Он сам страдал грудью, сообщил эту болезнь жене и детям предсказал недолгую жизнь. Действительно, две дочери его, лет тринадцати и одиннадцати, умерли в один день. Сын прожил долее, но жил как приговоренный к смерти. Иван Карлович Борн, внучатный мой брат (родился 10 февраля 1790, умер 11 января 1821), был человек необыкновенно благородный и добродетельный, каких я мало знавал в жизни. О нем не раз упоминаемо будет в этих записках.

Третья девица Шне, Христина Михайловна (родилась 7 апреля 1747 года) вышла по семнадцатому году за Якова Филипповича Фрейгольда, известного вам хромого майора. Она, как гласит предание, была необыкновенная красавица, что видно было по чертам лица ее и в старости. Она была одарена большим природным умом и наследовала хитрость, общий удел всех дочерей праматери нашей Евы.

Родившись и получив воспитание в Кексгольме, она не могла приобрести больших познаний, говорила только по-русски и по-немецки; писала с умом и красноречием, с

наблюдением всех форм, но без всякой орфографии. Счастье, что она не умела говорить по-французски: тогда не было бы конца ее подвигам, а так она спотыкалась, к благу рода человеческого, на первом бонжуре.

Девичество играла она на домашних театрах, в Петербурге, с Меллисино, Шуваловым и т. д., в трагедиях Сумарокова, и приводила в восторг всю публику. В преклонных летах твердила она еще тирады из «Синава и Трувора», в которых было все, кроме смысла, например: «Лишенный вольностей, надежды и покою, пролей, о государь, кровь винну перед тобою».

Вышедши замуж, в 1764 г., она, как и все змейки, сбросила с себя блестящую девичью шкурку и заставила своего мужа чувствовать всю тягость брака. Властолюбием, упрямством, прихотливостью, злостью она имела бедственное влияние на судьбу всех ее родных, и особенно детей. Я старался схватить некоторые черты ее характера в лице Алевтины Михайловны (в «Черной Женщине»), но, признаюсь, далеко отстал от оригинала. Сверх этого несносного нрава, который делал

ее бичом и страшилищем всех приближенных, были в ней и другие слабости, неприятные особенно мужу. О них долго сохранялось предание и в прозе, и в стихах. У ней было человек шесть детей: из них достигли до совершенных лет: Александр (род. 7 сент. 1767), Катерина (род. 29 июня 1769) и Елисавета (род. 21 апр. 1777).

Яков Филиппович Фрейгольд, покинув военную службу за ранами, оставался при фельдмаршале графе Румянцеве, которого главная квартира до начатия турецкой войны (1769) была в Глухове; потом был определен начальником Скарбовой канцелярии (Казенной Палаты) в Глухове и при учреждении наместничества переведен в Киев экономии директором. Все дети родились в Глухове. Христина Михайловна любила из них только вторую дочь, а старших ненавидела и гнала, вероятно, потому, что они возрастом своим напоминали и о ее летах. Лишь только подросток Александр, его отдали в Инженерный кадетский (ныне 2-й) корпус. В корпусе был он большим шалуном и особенно преследовал кадета Аракчеева, который уже в детстве на-

доедал всем и каждому. Исполнителем приговоров кадетского суда над благонаправленным впоследствии другом Настасьи был Костенецкий Василий Григорьевич, известный своею физическою силою и разными, впоследствии, причудами (умер в 1831 году).

Фрейгольд в последний год пребывания в корпусе образумился, стал учиться и был выпущен, по экзамену, инженер-прапорщиком, а потом перешел штык-юнкером в артиллерию. Он отличился в шведскую войну (1788–1789) необыкновенной храбростью и в одну кампанию получил два чина за отличие, но дорого за то заплатился: на биваках простудился он жестоко и впал в болезнь, которая терзала его почти до самой кончины. По окончании шведской войны откомандирован он был в Польшу, в корпус Ферзена, и вскоре успел обратить на себя внимание этого знаменитого генерала. Вдруг, против всякого ожидания, перевели его офицером в Инженерный кадетский корпус, и вот по какому поводу.

Мать его, Христина Михайловна, овдовев (в декабре 1786-го), вышла в 1791 году замуж

за капитана артиллерии Ивана Егоровича Фокка и, опасаясь, что сын ее вскоре сравняется чином с ее мужем, вздумала перевести его в такое место, где он мог преблагополучно прослужить в одном ранге десять лет. Она отправилась к директору Инженерного корпуса, генералу Петру Ивановичу Мелиссино, давнишнему другу и товарищу ее (по игре в трагедиях Сумарокова), упала в обморок в его приемной зале и, очнувшись, умоляла его вызвать единственного сына ее из армии, ибо она ежедневно опасается его лишиться. Он исполнил ее просьбу, дивясь силе материнской любви, и Фрейгольд был остановлен на своем поприще. В 1796 году вышел он опять в полевую артиллерию, — ибо тогда не было войны и он не угрожал матери ни производством, ни смертью, но в 1797-м возобновилась в нем с большею силой шведская лихорадка, и он не мог сносить тяжелой службы при императоре Павле.

Он вышел в отставку капитан-поручиком и отправился с другом и товарищем своим, Павлом Ивановичем Мерянным, в тамбовскую его деревню. Там влюбился он в одну де-

вицу (Варвару Сергеевну Чубарову) и надеялся на ней жениться, но на беду написал к матери своей письмо (с просьбою о позволении вступить в брак) по-русски. Лютеранская святоша на это разгневалась и изорвала письмо. Это было при мне, и я очень хорошо помню злобное выражение лица ее в эту минуту.

В 1802 году Александр Яковлевич Фрейгольд воротился в Петербург, и как в то время Христина Михайловна получила в наследство часто упоминаемую Пятую Гору, он отправился для управления имением. В конце 1803 года имение продали; он воротился в Петербург и поселился у сестры своей, Елисаветы Яковлевны. В это время определялся он архитектором при Конюшенной конторе, замыслив жениться на дочери соседа по деревням, Дарий Мартыновне Буцковской, бывшей впоследствии замужем за Романом Ивановичем Ребиндером (сын ее, Николай Романович, теперь, в 1861 году, директор Департамента Министерства народного просвещения), но вдруг занемог и умер 4 августа 1804 года.

Сорок пять лет прошло со времени кончины Александра Яковлевича, а я еще и теперь

не могу вспомнить о нем без сердечного волнения. Он был красавец собою, добрый, благородный, умный, рисовальщик, певец, актер, математик и воин. Если б он получил образование ученое, если б, по крайней мере, учился не в Инженерном, а в Сухопутном корпусе, то сделался бы примечательным человеком, какое поприще ни избрал.

Главная слабость его, как и почти всех членов фамилии нашей, была излишняя любовь к прекрасному полу. Я слышал рассказы о многих его авантюрах. Непостижимая ненависть матери преследовала его до могилы в точном смысле сего слова: при положении тела его в гроб она прочла над ним, для формы, благословение, а потом осыпала лицо его негашеною известью, чтобы оно скорее истлело. Он сносил ее несправедливости и обиды с истинно христианским смирением, иногда выходил из себя, но никогда не забывался. Я обязан ему многим и по гроб не забуду его. Читатели этих строк видят, что я по всем линиям происходил от немецких корней, — он научил меня быть русским, потому что сам был истинно русский человек, душою и серд-

цем. Если ты, незабвенный мой благодетель, видишь, что происходит в мире, тобою оставленном, прими слезу, орошающую слабеющие мои ресницы в сие мгновение, данью неизгладимого благоговения к твоей памяти!

Елисавета Яковлевна Фрейгольд, младшая сестра, была женщина умная, любезная, добрая, но наследовала несколько женского притворства своей родительницы. Она вышла замуж (5 февраля 1800) за барона Карла Федоровича Клодта фон-Юргенсбурга, скончавшегося генерал-майором и начальником штаба Сибирского корпуса в 1823 году. Он был человек образованный, умный и благородный. В свое время коснусь его жизни и кончины. Она оставила несколько человек детей. Старший из сыновей, генерал-майор Владимир Карлович, второй — знаменитый скульптор Петр Карлович.

Катерина Яковлевна Фрейгольд родилась за пять недель до рождения Наполеона Бонапарте, а именно 29 июня 1769 года, как я сказал, в Глухове. Рождение ее, по преданию, возвещено было пушечною пальбою, но о поводах к пальбе толки различествуют. Одни гово-

рят, что палили по случаю тезоименитства наследника престола Павла Петровича. Другие утверждают, что пальба произведена была по приказанию фельдмаршала графа Румянцева, по случаю разрешения от бремени жены друга его, полковника Фрейгольда.

Повод к этой клевете был очень понятный. Христина Михайловна была писаная красавица, а герой Задунайский славился победами не над одними пруссаками и турками. Живые тому доказательства остались в Румянцевых, Тет-Румянцевых и т. п., которые рождались в главной его квартире. Катерина Яковлевна, как продолжают злоязычники, ни мало не походила на Фрейгольдов: у них был фамильный, длинный нос, как отвислая губа у австрийской династии, а носик ее был небольшой, благообразный, нежный. Говорят даже, что она смахивала жестоко на покойного графа Сергея Петровича, сына фельдмаршала.

В 1812 году граф С. П. Румянцев, пригласив меня к себе, просил, чтоб я согласился давать уроки дочери его, девице Кагульской (нынешней княгине Варваре Сергеевне Голицыной). Я не мог принять его предложения, потому

что слишком был занят редакциею «Сына Отечества», и рекомендовал ему преемника моего в Петровской школе, А. И. Булановского. Граф, при этом случае, тщательно допрашивал о моем роде и племени. Я рассказал ему все, что знал, и упомянул, что дед мой, Фрейгольд, служил при его отце и пользовался его милостями. Граф улыбнулся, хотел что-то сказать, но удержался. Очень видно было, что ему совестно стало объявить внуку о прусах его почтенной бабушки.

Катерина Яковлевна о том не догадывалась и не знала вовсе до кончины отца и до своего замужества. Супруг ее, человек не самый деликатный, в частые периоды своей размолвки с тещей, не щадил старухи и говорил все, что знал о ней и чего не знал. Жена, изумленная, огорченная мыслью, что почтенный, добрый Фрейгольд не отец ей, сначала не верила, потом сердилась и плакала, но в зрелых летах и под конец жизни говорила, что, припоминая разные обстоятельства младенческих и девических лет, должна признаться в правдоподобии этих догадок. Замечательно, что мать не любила, можно ска-

зять, ненавидела ее.

Я замечал неоднократно, что женщины не терпят детей, которые напоминают им о минувших слабостях, а любят уродов, прижитых с постылым, но законным мужем, и преследуют милых, любезных детей, плод страсти и преступления. Напротив того, они любят детей своих любовников, прижитых с другими женщинами, их соперницами. «Какой прекрасный ребенок! — говорят они про себя. — Он, конечно, думал обо мне в ту минуту!»

Еще одна приурочка: Христина Михайловна кончила тем, что поссорила мужа своего с графом.

Фрейгольд имел место, которое в то время обогатило бы всякого, но, по необыкновенной честности, не нажил ничего и вышел из службы чист и беден. Его представили к пенсону. Государыня отвечала, что он, конечно, сберег что-нибудь из своих экстраординарных доходов. Ей доложили, что он формально ничего не имеет. «Или он дурак, — отвечала она, — или честнейший человек, и в обоих случаях имеет надобность в пособии», и подписала указ. Слух о его крайности дошел до

Румянцева: он прислал бывшему своему товарищу значительную, по тогдашнему времени, сумму с надписью: «Tribut der Freundschaft» (дань дружбы). Известно, что граф П. А. Румянцев, воспитанный в чужих краях, говорил и писал на иностранных языках гораздо лучше, нежели по-русски.

Как бы то ни было, Катерина Яковлевна Фрейгольд, внучка ли она немецкого пастора, или кого-нибудь повыше, была существо необыкновенное. Она не была записною красавицей, но привлекательна и мила до крайности. Рот небольшой, волосы светло-русые, прекрасные голубые глаза, правильное лицо, игра вокруг маленького ротика, приятнейшая улыбка, тонкая талия, стройная осанка, руки нежненькие, ножки точеные, очаровательный звук голоса — были отличительными чертами ее наружности. Прибавьте к тому ум светлый, пылкое воображение, любовь к изящным искусствам, добрейшее сердце, самый кроткий нрав и неподдельное благочестие.

Качества души и сердца сохранила она до кончины и еще удивительную осанку: на

восьмом десятке держалась прямо, и не имела ни одного седого волоса. Она получила хорошее, по времени, воспитание: знала языки немецкий и французский в совершенстве. Итальянски она говорила в детстве и потом забыла. Она страстно любила литературу и непрерывно читала, но со вкусом и разбором. Читанное передавала, спустя долгое время, с удивительною отчетливостью. За два дня до кончины читала она молитвенник свой и, почувствовав отягощение, вложила закладку, закрыла книгу, легла и более не вставала.

Не взыщите с меня, любезные дети, что я так много о ней распространился; я мог бы исписать целые стопы бумаги и не выказал бы всего, что чувствую и вспоминаю при ее имени. Повторяю и еще сто раз повторять буду: если во мне было что хорошее, если я не без пользы для ближних прошел поприще жизни, я этим был обязан несравненной моей матери. Но, по слабости и высокомерию молодых лет, я не слушал всех ее уроков...

Матушка моя выросла в Киеве, в кругу отборном и образованном. Помню из рассказов

ее имена Андрея Степановича Милорадовича (отца графа Михаила Андреевича), обер-коменданта Кохиуса, Александра Федоровича Башилова. Безбородко и Завадовский были секретарями Румянцева, под начальством моего деда, и частенько являлись в его передней с бумагами. Еще нередко вспоминала она об итальянском графе Капуани, старичке забавнике и шуте, который учил ее музыке и итальянскому языку и называл «мой агел Амур!». Искреннею приятельницею ее была девица Анна Семеновна Алферова, вышедшая потом за князя Дашкова.

Христина Михайловна Фрейгольд, освобождаясь от улики возрастом сына, отправленного в корпус, старалась сбыть с рук и старшую дочь. В то время проезжала через Киев известная в свое время бой-баба, Настасья Андреевна Бороздина; она, познакомившись с Христиной Михайловной, полюбила ее старшую дочь и выпросила ее у матери, обещая дать ей воспитание и ввести в свет в Петербурге. Нежная мать с удовольствием согласилась, Бороздина привезла ее с собою в столицу, и несколько месяцев матушка жила у ней,

но вскоре соскучилась безалаберной жизнью в барском доме, переехала к тетке и крестной матери своей, Екатерине Михайловне Ренкевич, и жила у ней то в городе, то в деревне с бабушкою своей, Терезой Ивановной. В доме Бороздиной все ее любили и уважали, через пятьдесят лет после того Андрей Михайлович Бороздин, познакомившись со мною, осведомлялся о ней и, узнав, что она живет у меня, навестил ее. Любопытно было после полувека свидание двух стариков, которые расстались, когда одна из них была четырнадцатилетнею красавицею, а он блистательным гвардейским офицером!

В доме Екатерины Михайловны узнал ее покойный мой отец и задумал на ней жениться. Не он один искал руки ее. Лет за десять перед сим обедал я у покойного Андрея Ивановича Абакумова. За столом сидел неподалеку от меня старичок, артиллерийский генерал, как я узнал потом, барон Карл Федорович Левенштерн. В продолжение обеда поглядывал он на меня часто и пристально и, когда я встал из-за стола, подошел ко мне и спросил учтиво, не сын ли я Екатерины Яко-

влевны, урожденной Фрейгольд. Когда я отвечал ему: да, — глаза его засверкали, лицо с лишком шестидесятилетнего старца покрылось юношеской краской, и он сказал мне с глубоким чувством: «Как я счастлив, что вижу сына той, которую в молодости моей любил пламенно. Я был вхож в дом госпожи Ренкевич, увидел племянницу ее, прибывшую из Киева, узнал редкие ее качества, прельстился ее привлекательной наружностью и уже хотел было посвататься; но, узнав, что сватается на ней Иван Иванович Греч, надворный советник, любимец генерал-прокурора князя Вяземского, я, бедный подпоручик, скрепя сердце, отретировался. Но образ ее запечатлелся в моем сердце навеки, и я с невыразимым удовольствием принял сегодня приглашение Андрея Ивановича, узнав, что увижу ее сына».

Отец мой, увидев будущую жену свою на тринадцатом году от ее рождения, задумал уже на ней жениться; между тем он повздорил с ее тетушкой Катериной Михайловной, которая дотоле его очень жаловала, но теперь на него прогневалась, и не без причины. Он

принужден был оставить ее дом, но не оставлял надежды. В 1786 году Яков Филиппович Фрейгольд, изнуренный болезнями и трудами, вышел в отставку и переселился в Петербург. Отец мой познакомился с ним и вскоре пришел в милость у Христины Михайловны, которая горела желанием сбыть с рук взрослую дочь. Он посватался и получил обещание матери. Умиряющего отца убаюкали радостной вестью, что Катенька будет хорошо пристроена, а Катеньке объявили, что она должна выйти за Ивана Ивановича.

Объявление это ее сразило. Она уважала И. И., как человека умного и честного, но не могла любить его, и особенно не расположена была к нему за ссору его с Катериною Михайловною. Матери ее это было на руку: насолить сестре своей, хотя бы это стоило счастья ее дочери. И все это прикрывалось громкими фразами о материнской нежности и христианском долге устроить судьбу своей дочери.

Отец мой был влюблен смертельно и в пылу страсти не видал, что нет счастья без взаимной любви. Бедственное заблуждение! 23 августа 1786 года их обвенчали, по лютеран-

скому обряду, не в церкви, а на дому. Утром того же дня матушка еще надеялась, что дело это как-нибудь переделается, но в десять часов мать объявила, что ее обвенчают после обеда. Она лишилась чувств, но ее оттерли, и после обеда пастор Рейнбот обвенчал их. Матушка не могла стоять на ногах, пришлось при венчании поставить новобрачных к стене. Сестры моего отца, бывшие при том, не могли скрыть своего сожаления и негодования. Они потом горько выговаривали отцу моему, что он решился воспользоваться властью бессовестной матери, чтобы обладать дочерью.

Брак этот не был счастлив.

Отец мой с честностью и природным умом, с школьным образованием и навыком к службе соединял понятия, предрассудки, привычки, внушенные ему нелепым бабьим воспитанием, был отнюдь не зол, а, напротив, любил делать добро и помогать ближним, но при том своенравен, упрям, вспыльчив и не очень разборчив в выражениях своего гнева. В нем являлась олицетворенная проза: изящные искусства, музыка, живопись, поэзия для

него не существовали. Он, думаю, по выходе из школы не читал ни одной книги. Перед концом жизни матушка случайно прочла ему какую-то повесть; он восхитился ею до крайности и просил, чтоб она чаще радовала его чтением.

Но самое тяжелое свойство в нем было — капризы. Вдруг, бывало, от какой-нибудь безделицы, надуется, перестанет говорить с кем бы то ни было, и по целым неделям не выходит из кабинета, а потом вдруг развеселится, также без причины, и делается уже слишком любезным и угодливым. Нас, детей, он или баловал без меры, или терзал без вины. И с ним должно было жить это неземное, поэтическое, ангельское существо! Ангельское — в точном смысле этого слова: матушка сделала все в мире для исполнения своих обязанностей. Муж это видел, чувствовал, признавал, и вдруг оскорблял, обижал жену самым чувствительным образом, а потом, образумившись, просил прощения и разными угождениями старался задобрить обиженную.

Можно рассудить после этого, долго ли он оставался в мире с своею тещею. Месяца че-

рез два после свадьбы он обедал, один, у сестры своей Веры Ивановны. В тот день был у ней немецкий осенний праздник: резали капусту. Сестра пеняла ему, что он приехал один, и после обеда послали за матушкою карету с запиской, в которой муж приглашал ее на семейный вечер. Матушка получила записку эту, когда была у Христины Михайловны (они жили не в далеком расстоянии между собою), показала ее своей матери и на вопрос ее: «Неужели ты поедешь?» — отвечала: «Муж мой желает этого» — и отправилась.

На другой день после обеда Христина Михайловна явилась к нам. Отец мой, увидев, что она идет, отложил в сторону свою трубку, встретил ее и поцеловал у нее руку. «Я пришла к вам, — сказала Христина Михайловна, задыхаясь от злобы, — чтоб объяснить и требовать удовлетворения. Для того ли выдала я за вас дочь мою, чтобы она резала капусту у ваших сестер?» Отец мой остолбенел. Матушка старалась образумить фурию, уверяя, что капуста вовсе дело постороннее, что ее пригласили в семейный круг, где она провела вечер с удовольствием. Христина Михай-

ловна стала браниться еще более, но, видя, что ее слова не действуют, замахнулась на дочь свою.

Тут лопнуло терпение моего отца: он удержал руку беснующейся и с словами «Марш, мадам!» вывел ее в переднюю и захлопнул двери. Можно вообразить себе ужасное положение жены! Через несколько времени произошло примирение, причем, как и всегда бывало впоследствии, ссора была приписана недоразумению. На этот раз отец мой был прав совершенно, но иногда отплачивал своей теще слишком жестоко.

Вскоре по выходе в замужество моей матери скончался отец ее, Яков Филиппович Фрейгольд (17 декабря 1786 года). Этот печальный случай ознаменован был удивительным вещим сном матушки, которая действительно одарена была каким-то шотландским вторым зрением.

Она провела целый день у больного отца, читала ему книгу, подавала ему лекарство, радовалась облегчению его страданий и оставила его поздно вечером. Ночью снится ей, что она видит отца на том же болезненном

одре. Подле него стоят жена, сын и младшая дочь; перед ним на столике три чашки. Он берет одну и велит выпить ее сыну; другую выпивает дочь. Взяв третью чашку, больной оглядывается. «Где же другая дочь моя, где Катенька?» — «Она дома, — возражает жена, — она не очень здорова и, как я думаю, беременна. Дай, я выпью за нее». — «Нет! — сказал он. — У меня есть сын. Выпей, Александр, эту чашку за мать и за младенца». Сын исполнил это приказание; больной опустился на подушку и закрыл глаза. Матушка в ужасе проснулась. Было три часа. Движение ее разбудило мужа: «Что с тобою?» — «Ничего, так что-то пригрезилось». Он вскоре захрапел вновь, а она долго не могла заснуть. Он, по обыкновению своему, встал рано, не будя ее, и отправился к должности. Подкрепив силы своим утренним сном, она проснулась, оделась и села за чай с золовкой, которая жила или гостила у них. Вспомнив виденный сон, она пересказала его Елене Циановне Греч. — «Катерина Яковлевна, — спросила изумленная Елена Ивановна, выпустив из рук чайник, — да кто это мог сказать вам, что батюшка ваш скон-

чался?» За этим последовала сцена, которую всяк вообразить себе может. Довольно того, что Я. Ф. Фрейгольд действительно умер ровно в три часа. Чувствуя приближение кончины, он велел позвать жену и детей, благословил их и требовал, чтобы послали за старшей дочерью. Христина Михайловна возразила ему, что Катенька нездорова, объявила, что она чувствует себя беременной, и бралась передать ей благословение отца. — «Нет! — сказал он (точно так, как в сновидении), — у меня есть сын. Подойди, Александр, и прими благословение для сестры и для ее младенца!» Александр Яковлевич Фрейгольд свято исполнил это поручение, был другом и руководителем этого младенца, но, к несчастью, не довольно долго.

Матушка часто имела и вещи сновидения, и необыкновенные предчувствия. Расскажу случай ничтожный, но не менее того замечательный, бывший уже на седьмом десятке ее жизни. Воротились с дачи осенью в город. Она спросила у горничной теплых башмаков, а та не знала, куда заложила их весной. Долго искали напрасно по всем углам.

Вот матушка однажды заснула после обеда: ей чудится, что она подходит к шкапу, сделанному в заколоченных дверях, видит высокую круглую корзинку (какие употребляются для бутылей); в корзинке доверху разный хлам; она вынимает все и на дне находит свои теплые башмаки. Проснувшись, видит она, что в той комнате сидит дочь ее, Катерина Ивановна, и, боясь насмешки, не говорит о своем видении, но лишь только Катерина Ивановна вышла, она встала с постели, отперла шкаф, нашла корзину и в ней, под тряпками и обломками, искомые башмаки! — «Prodigious!» — воскликнул бы при этом Доминик Самсон (в «Гюи-Меннеринге» В. Скотта).

Не раз еще придется мне говорить о матушке, благодетельнице моей и всего моего рода, без которой не знаю что было бы из меня и из всех нас.

В фамилии Гречей был какой-то зародыш своенравия и упрямства, который в умных называли твердостью характера, а в прочих — злобой и жестокостью. Пример умного упрямства старшей линии представляла те-

тушка Елена Ивановна; образец другого — Вера Ивановна. Отец мой был в середине: действовал вообще умно, а по внушению капризов — очень глупо. Упрямство это в разных отливах разделялось и братьями моими, Александром и Павлом, и сестрою Катериною Ивановною. О себе не знаю что сказать: я, кажется, вовсе не упрям, но зато вспыльчив до крайности, и в минуты страсти не помню, что говорю и делаю. Этот элемент упрямства и капризов выразился по женской линии: Павел Христианович Безак был несносен своим своенравием; большая часть сыновей его наследовали это свойство, вредящее самому лучшему сердцу и светлому уму... Признаюсь, что если во мне этого было менее, нежели в других, я тем обязан моей матери.

Довольно толковал я о моей знаменитой династии. Пора приступить к самому себе.

Глава вторая

Я родился во вторник, 3/14 августа 1787 года, в десятом часу до полудня. В этот день церковь празднует память преподобного Исакия. Когда, по совершении родов, довольно благополучных, при произведении на свет первенца, отец мой вышел в залу, он нашел в ней сторожа своей Экспедиции, Исака, с тарелкою, на которой лежали три хлебца.

— Имею честь поздравить ваше высокоблагородие, я именинник; примите, батюшка, хлеб-соль.

— Да что это ты принес три хлеба?

— Да как же, батюшка? Один для вашей милости, другой для Катерины Яковлевны.

— А третий?

— Для того, кого Бог даст!

— Он уже дал его, — сказал отец мой, тронутый этим случаем, одарил Исака, понес хлеб в спальню и сказал матушке: «Вот, Катенька, и хлеб нашему Николаю. Видно, Бог его не оставит без хлеба!»

Местом моего рождения был деревянный дом Колачевой, на Сергиевской улице. Помню

этот дом потому, что в нем впоследствии жила бабушка Христина Михайловна, и матушка не раз говорила мне, что я там родился. Она хотела кормить меня сама, но занемогла и должна была отказаться от этого услаждения материнского сердца: мне наняли кормилицу, женщину здоровую, но придерживающуюся чарочки. Дивлюсь после этого, что я не пьяница. Меня окрестили. Вероятно, батюшка был в то время в войне с бабушкой, потому что она не была моей восприемницей. Крестным отцом был муж тетки моей, Веры Ивановны, полковник Петр Иванович Штебер, а восприемницею дочь его Анна Петровна.

Крестный отец, вместо подарка, привез на крестины паспорт, по которому я, определенный капралом Конной Гвардии, отпускался в домовый отпуск до окончания наук. Теперь обычай этот может казаться странным, но в то время был понятным и справедливым. Через несколько лет получил бы я чин вахмистра, а потом был бы выпущен из полка в армию капитаном, а в гражданскую службу титулярным советником. Таких малолетних капралов и сержантов считалось в гвардии до

десяти тысяч. Император Павел приказал взрослым из них явиться на службу, а прочих, в том числе и меня, исключил. Дельно!

В 1789 году 21 марта родился брат мой Александр. Вскоре потом отец мой съездил курьером в Италию, именно в Геную, для исполнения Займа, заключенного нашим правительством с тамошними банкирами. Расскажу любопытный эпизод из его жизни. Когда он, за несколько лет перед тем был в Голландии, познакомился он с одним прелюбезным итальянцем, полковником Пеллегрини, который путешествовал с своей женой, и, заметив, что хозяин гостиницы намерен обмануть отца моего, неопытного молодого иностранца, предупредил его. Это обстоятельство сблизило их; они были неразлучны; расставаясь, Пеллегрини подарил отцу моему трость с золотым набалдашником, взяв с него слово, что он посетит его, в поместье его близ Генуи, если б ему случилось быть в Италии. Приехав в Геную, отец мой стал осведомляться, где именно поместье полковника Пеллегрини. Ему дали адрес и спросили, почему он его знает. — «Я видался с ним за десять лет перед

сим в Голландии». — «Это невозможно, — отвечали ему, — полковник Пеллегрини ослеп за тридцать лет перед сим и с тех пор не выезжал из своей деревни. Вероятно, кто-нибудь назвал его именем». Человек, давший это известие, говорил так определенительно, что отец мой не счел за нужное удостовериться лично в истине его слов. Что же? Вскоре потом вышло в свет описание жизни и подвигов Калиостро, и оказалось, что он странствовал под именем полковника Пеллегрини.

Странное было тогда время. Просвещение распространялось повсюду, а между тем верование в алхимию, в призывание духов, в предсказания, в ворожбу занимали серьезно людей умных и образованных. Расскажу еще анекдот. У отца моего был добрый приятель, некто Штольц, служивший при театре и нередко снабжавший матушку билетами на ложи. У него была сестра, помнится, Елисавета Петровна, старая, высокая, сухая, но умная и решительная дева, знаменитая в свое время ворожея. Не имея долго известий о муже, матушка начала было беспокоиться и попросила Елисавету Петровну поворожить ей. Елиса-

вета Петровна, разложив карты, в ту же минуту сказала:

— Не тревожьтесь: Иван Иванович здоров и придет сегодня.

Матушка засмеялась.

— Не верите, Катерина Яковлевна? — возразила ворожея. — Я останусь у вас, чтоб быть свидетельницею его приезда.

Они поужинали, и, готовясь идти спать, матушка стала смеяться над ее предсказанием.

— Не смейтесь, Катерина Яковлевна, еще день не прошел: только половина двенадцатого.

В эту самую минуту послышался конский топот, стук колес и звон колокольчика. Дорожная повозка остановилась у крыльца. Они выбежали навстречу — это был их путешественник!

Елисавета Петровна Штольц уже в утробе матери испытала целый роман. Отец ее был портной и жил с женой где-то в глуши, в Коломне, в улице, не совсем еще застроенной. По смерти одного родственника в Москве, ему досталось наследство. Жена умершего стала

защищать свои права, и портной Штольц принужден был сам ехать в Москву. Это было зимою в пятидесятых годах восемнадцатого века. Беременная жена осталась одна с молодым его племянником и с крепостным человеком. В то время отпустила она свою кухарку и наняла в работницы молодую матросскую жену. В самый первый день ухватки, речи и ответы этой бабы возбудили ее досаду, и она решилась отпустить ее на другой же день. Вечером были у нее гости. Провожая их, она увидела, что племянник и слуга спят в прихожей, облокотясь на стол, хотела разбудить их, но не могла.

— Их теперь хоть ножом режь, — сказала служанка, — не добудишься.

Это замечание поразило ее. Гости ушли. Мадам Штольц отправилась в спальню и, объявив работнице, что она должна лечь с нею в одной комнате, легла в постель и начала читать Библию. В то время вспомнила она, что у нее есть пистолет, порох и пули, отправилась в другую комнату, зарядила пистолет и, воротясь, положила его на ночной столик.

Вдруг слышит она, что на улице раздаются

шаги; снег хрустит под лаптями и сапогами, и баба, приподнявшись, крадется к ней.

— Куда ты? Ложись!

— Матушка, выпустите меня, крайняя нужда!

— Оставайся! Нужду справишь и здесь.

— Ах, матушка, что вы!

В это время хозяйка увидела у ней за пазухою кухонный нож.

— Это что? На что у тебя нож?

— Лучину колоть, матушка!

Хозяйка решилась ее выпустить и тотчас заперла за нею двери. Слышит, отворяется дверь с надворья в кухню, входят какие-то люди, приближаются к дверям спальни и требуют, чтобы отворили.

Хозяйка не отвечает.

Начинают стучаться в дверь, усиливаются ее выломить и, не успев в том, уходят с угрозами и ругательствами. В кухне утихло, но голоса раздаются на улице; слышно, что подставляют лестницу к окну, кто-то влез и стал бить стекла в окошке. Хозяйка, взяв пистолет, встала с постели в углу, прицелившись в окно. Стекло вылетело. Разбойник, перекрестясь

и сказав: «Благослови, Господи», — просунул голову. В то самое мгновение раздался выстрел, и разбойник с раздробленным черепом упал навзничь с лестницы. Прочие разбежались. Мадам Штольц, запихнув отверстие в окне подушкою, стала ждать, что будет.

Выстрел разбудил соседей. Сбежались испуганные и любопытные. Подняли разбойника; он был еще жив и объявил имена своих соумышленников. Но она не отворяла дверей до приезда полицмейстера. Племянник и слуга приведены были в чувство: злодейка опоила их чем-то в квасу, и если бы их оставили еще несколько времени в этом опьянении, они лишились бы жизни.

Императрица Елисавета Петровна, узнав о храбром подвиге портнихи, пожелала ее видеть, обласкала ее и, узнав о причине поездки мужа ее в Москву, приказала оказать ему в его иске всякое пособие. У ребенка же, которым была портниха беременна, была она восприемницею. Ребенок этот был знаменитая ворожея Елисавета Петровна, которую помню хорошо.

О детстве своем знаю я немного. Самое за-

мечательное приключение со мною было следующее: когда мне было года полтора от роду, я, играя на полу, хотел встать, оступился и упал с ужасным криком — непонятно, как вывихнул я себе правую ногу. Призваны были лучшие хирурги и костоправы. Ногу вправили, но не совершенно: она осталась навек вывороченною, и до сих пор я чувствую, что она слабее левой. От этого я не мог танцевать, но ходить мог и могу без усталости очень долго, только на горы взбираться я не мастер.

Говорят, что я с первых лет своей жизни оказывал большую понятливость и любознательность.

До сих пор помню первый свой подвиг. Родители мои жили тогда на Невском проспекте за Аничковым мостом, в зеленом деревянном доме русского серебряника, напротив Троицкого переулка; потом на этом месте был дом Сухозанета. В квартире нашей была комната с одним выходом. Брат Саша, лет двух от роду, забрался туда, запер дверь задвижкой и, не зная, как выйти, стал плакать и кричать. Напрасно учили его, как он может отодвинуть задвижку, — он не понимал. Решились

впустить меня в комнату через форточку (в окнах были и двойные рамы); я опустился, подошел к запертой двери и отодвинул задвижку, как помню, с большим торжеством. Припомню при этом случае, что в каменном флигеле этого дома жили небогатые русские купцы, хорошие, честные люди, именно Чаплины, составившие себе большое состояние меховою торговлею. Одна их родственница, Марфа, была у нас нянькою и потом часто нас навещала.

Говоря о жизни моего отца, упомянул я, что в 1792 году он вышел в отставку по каким-то пустякам и очутился с семейством своим в крайней бедности. Тогда жили мы в доме Кострецова, который выходил окнами в ограду церкви Симеона и Анны, и, при перемене обстоятельств, принуждены были переселиться из бельэтажа в нижний.

Бедственно было положение наше, особенно матушкино. Дядя Александр Яковлевич Фрейгольд был в походе. С Христиною Михайловною отец был в ссоре. Не могу не упомянуть при этом случае о тех, которые помогали нам в этой крайности. Первым был сосед

наш, надворный советник Иван Густавович Нордберг, строгий и упрямый швед, но благородный и добродетельный человек, и жена его, Марья Акимовна. Вторым — служивший под начальством отца моего в Экспедиции о государственных доходах Александр Григорьевич Парадовский. Они делали нам всевозможное добро. Отец мой, виновник горя всего семейства, был совершенно равнодушен, курил с утра до ночи трубку, расхаживая по комнате, и ни о чем не заботился, а когда случалось, что в доме нет ни копейки денег, ни куска хлеба, он уходил со двора, проводил день и обедал у приятелей и возвращался домой к ночи. Когда матушка ему выговаривала это, он отвечал: «Что ж мне было делать? Ведь вы не умерли же с голоду». К довершению бедствия нашего, у нас открылась оспа — натуральная, другой тогда не было. Первый заболел я: это было в январе 1794 года. Началось бредом, — мне чудилось, что передо мною стоит какой-то великан и опутывает себя веревками. Моя болезнь была довольно сильная, но кончилась благополучно, не оставив никаких следов. У Александра еще

менее: на лице было всего три оспины. У третьего, Павла, оспа была сильнее и вскоре скрылась; полагают, что это было причиной его смерти, последовавшей через год после того. Более всех страдала семимесячная Катя, — все лицо ее покрыто было как бы маком и тело также. Она долго не могла поправиться, и следы оспы остались на лице ее на всю жизнь.

При этом случае нелишним будет исчислить всех моих братьев и сестер: Александр родился 21 марта 1789 года, умер 22 октября 1812 года в Москве, от ран, полученных при Бородине. Павел родился 21 мая 1791 года, умер в феврале 1795-го. Павел (другой) родился 9 мая 1797 года, умер 16 марта 1850 г. Екатерина здравствует поныне, Елисавета родилась 23 июня 1795 года, вышла в 1819 году замуж за Андрея Яковлевича Ваксмута (умершего в 1849 году), скончалась 21 марта 1832 года.

В самое то время, когда крайность и страдания матушки достигли высшей степени, явилось пособие. Неожиданно приехала сестра ее, Елисавета Яковлевна, и привезла, пом-

нится, сто рублей от тетушки Екатерины Михайловны. Это было истинною манною в пустыне!

Я упоминал уже, что Екатерина Михайловна была в ссоре с отцом моим еще до женитьбы его и негодовала на этот брак. Христина Михайловна своими проделками возбудила гнев ее и к матушке, ее крестнице и любимице. Екатерина Михайловна не хотела ее видеть, но, узнав о ее крайности, поспешила помочь. Родная же мать отвечала на просьбу матушки о пособии изречением Библии: «Ищите и обряцете, толцыте и отверзется вам, просите и дастся вам».

Отец мой раздувал это пламя злости своим упорством и выстрелами в слабую сторону бабушки. В заглавии ответа на одно письмо ее к матушке он написал: «Надворная советница Греч капитанше Фок». Прекрасное средство жить в ладу с родными!

Бедственное наше положение прекратилось определением отца моего на службу секретарем в 3-й департамент Сената. В этом способствовал ему обер-прокурор этого департамента Александр Федорович Башилов, друг

покойного дедушки Фрейгольда. Сенаторами были между прочими граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Александрович Соймонов. Товарищем отца моего был Сергей Иванович Подобедов, брат митрополита Амвросия. Получив место, отец мой переселился опять в верхний ярус того же дома и через несколько времени переехал в дом Баскова (потом Норова, а теперь (1861) дом принадлежит А. А. Краевскому) на Большой Литейной, на углу Девятой роты. За квартиру в одиннадцать окон на улицу, со всеми угодьями, платили тогда в год 360 рублей.

Описав обращение семейства к лучшей участи, скажу, что могу припомнить о себе в то время.

Чтению начал учить меня добрый Александр Григорьевич Парадовский 3 августа 1792 года, лишь только мне исполнилось пять лет. Буква «у» была первою, которую я узнал. Читать выучился я очень скоро, потому что это интересовало мой умишко и детское воображение. Начал и писать, но это шло не так хорошо: тут нужны были физические приемы, положение руки, держание пера, и я ни-

как не мог к тому привыкнуть. Меня не принуждали, и я теперь держу перо, как шестилетний мальчик, и пишу прескверно, неровно и нечетко. Сколько раз впоследствии жалел я и раскаивался, что не умею писать четко и красиво! Это большое пособие в жизни и службе.

Выучившись читать, старался я прочитать все возможное: ярлык на бутылке вина, клочок афишки, все возбуждало мое любопытство. Это продолжается и поныне: не могу видеть ничего печатного, чтоб не прочесть.

Враг чистописания, я начал, на первых порах, употреблять грамоту на сочинение, и первую написанную мной фразой были слова: «Беги, Николай, в избушку!» Почему я именно написал это, не знаю, но, написавши, радовался от души. Матушка питала эту любознательность рассказами басен и повестей; заставляла меня читать по-русски, по-немецки и по-французски, но отнюдь не принуждала. Жаль! И я был слишком снисходителен к своим детям.

Отец мой забавлялся нами: то ласкал, то бранил нас, но ничему не учил, предоставляя

это грамотной и начитанной жене своей. Слух о страсти моей к чтению распространился по всей фамилии, и самый грамотный представитель ее, Павел Христианович Безак, подарил мне несколько детских книг, и сверх того получил я переведенное им «Описание Санкт-Петербурга», профессора Георги, которое много способствовало к возбуждению детского моего любопытства и во многом его удовлетворило.

В конце 1793 года отец мой купил мне календарь на 1794 год (за 30 коп, медью): это было основание моих политических и статистических познаний. Я читал его так часто, что затвердил имена всех владетельных особ в Европе. Отец мой очень этим любовался, и не раз, толкуя, бывало, с приятелями о политике, обращался ко мне с вопросом, например:

— Как, бишь, Николая, зовут нынешнего датского короля?

— Христиан Седьмой! — восклицал я с удовольствием и гордостью.

Я читал внимательно перечень политических известий и, странное дело, досадовал, когда находил торжество французов, и радо-

вался успехам союзников.

Первые политические воспоминания мои относятся к шведской войне, или по крайней мере к ее последствиям. Помню, как сквозь сон, грохот и треск, раздавшиеся в городе, когда взлетела на воздух пороховая лаборатория на Выборгской стороне; чиненные бомбы и гранаты поднимались и лопались в воздухе. Однажды, подавая отцу моему умываться (это было 31 марта 1794 года), услышал я пушечные выстрелы. Рукомойник задрожал у меня в руках, и я со страхом вскричал:

— Шведы или лаборатория!

— Ни то, ни другое, — сказал отец мой, смеясь, — палят потому, что прошла Нева (т. е. невский лед).

Еще помню одно политическое событие. Шел процесс несчастного Людовика XVI. Мне был тогда шестой год от роду, и я не мог понять, в чем дело. Вдруг приходит к нам однажды вечером Александр Григорьевич Парадовский и говорит: «Ну, матушка, Катерина Яковлевна! Злодеи французы королю своему голову так отчесали!» Матушка горько заплакала, с нею сделалось дурно. «Отчесали, — ду-

мал я, — видно, гребнем». На другой день нянька стала расчесывать мне волосы и как-то задела неосторожно. «Что ты, нянюшка, — сказал я, — да ты мне этак голову отчешешь, как французскому королю».

Через несколько дней после того явился к нам кварталный надзиратель, как теперь вижу, человек высокого роста, в тогдашнем губернском мундире (светло-синем, с черными бархатными лацканами). Батюшки не было дома. Матушка приняла его. В то время приказано было отыскать всех французских подданных в России и привести их к присяге королю Людовику XVII. Так как фамилия наша оканчивалась не на «ов» или «ин», то и следовало узнать, какого мы племени. Матушка рассказала полицейскому офицеру всю генеалогию обеих линий, Гречевой и Фрейгольдовой, и, объявив, что в жилах наших течет кровь, смешанная из немецкой, богемской, польской, убедила, что в ней нет ни капли французской.

За неимением воспоминаний о самом себе, напишу здесь несколько портретов тогдашних наших знакомых.

Нордберг (Nordberg), Иван Густавович, точно северная гора, твердая, чистая, непреклонная. Он был по происхождению швед, родился в Старой Финляндии, но с самых малых лет был ревностным приверженцем России. Во время шведской войны (1789–1790) он набрал отряд волонтеров и действовал с ним против шведов в окрестностях Нейшлота, который в то время был защищаем храбрым майором Кузьминым. Это возбудило ненависть и злобу к Нордбергу всех финских патриотов: как волка ни корми, а он все в лес глядит. Он не мог оставаться в Финляндии, переселился в Петербург и служил в разных присутственных местах; наконец (1800–1802), советником здешнего губернского правления, отличался строгим исполнением своих обязанностей и примерною честностью, но с тем вместе и самым несносным упрямством. Наскучив беспрерывною войною с начальниками и товарищами, он вышел в отставку и занялся управлением частными имуществами. Лет десять управлял он, в Зарайском уезде, деревнями графини Мамоновой, привел их в цветущее состояние, удвоил ее доходы. Она в благо-

дарность подарила ему дом в Москве. Он было зажил там с семейством; вдруг наступил 1812 год. Нордберг устроил в своем доме больницу, написал на воротах: военный госпиталь, пригласил врача, сам себя назначил смотрителем госпиталя, а жену и двух дочерей прислужницами и сиделками. Неприятель подступал. Все советовали ему бежать. Он оставался непреклонен. Москва загорелась. Жена его и дочери ушли пешком куда глаза глядят. Мать умерла от усталости и грусти; дочери, по изгнании неприятеля, воротились в Москву, нашли вместо дома кучи угля и пепла, а отца отыскиали в каком-то погребу. Оправившись кое-как, он занимался частными делами и, наконец, принял управление поместьями Веневитинова, в Воронежской губернии; там он поссорился с помещиком и другим управляющим до того, что у него вынули в доме оконные рамы зимою, чтобы принудить его выехать. Он закутался в шубу и лег в постель. Не знаю, как его выпроводила полиция, и он очутился, в 1823 году, в Петербурге. Здесь написал он сильное письмо к графу Аракчееву, начинавшееся словами: «У нас,

в России, нет правосудия». Граф, изумленный этой смелостью, пригласил его к себе в Грузино и расспросил обо всех обстоятельствах дела. Оказалось, что форма была на стороне его противников, и он не получил ничего.

Тогда решил он переселиться в Финляндию, где у него был хутор (Heimat), отданный им по выезде оттуда во временное владение зятю его (мужу сестры), пастору Горнборгу. Приехав в поместье и объявив желание вступить в обладание им, он получил в ответ от своего зятя, что это имение уже не принадлежит ему. По выезде Нордберга за границу (то есть в Россию), его вызывали трижды через газеты, потом же, по истечении земской давности, ввели во владение сестру его и зятя, так что его дети, находившиеся тоже в чужих краях, через то лишились прав своих. Он воротился в С.-Петербург.

Я вырос и был дружен с детьми его. Первым другом отрочества моего был старший сын его, Ефим Иванович, воспитывавшийся в Кадетском корпусе с нынешним оберштаб-мейстером П. А. Фредериксом и умерший в молодых летах. Дочь его, ровесницу мою, Ан-

ну Ивановну, называли моею невестою, и я, начитавшись романов, в самом деле вообразил себе, что влюблен в нее. Она выехала из Петербурга в 1802 году. В 1824 году входит в мой кабинет неизвестный мне пожилой человек, с лицом, на котором изображались ум и твердость характера, и спрашивает меня:

— Вы ли Н. И. Греч?

— А вы Иван Густавович Нордберг, — возразил я, узнав его через двадцать два года.

Он рассказал мне вкратце о своих приключениях и дал свой адрес.

На другой день я к нему явился и нашел у него двух дочерей его. Моя бывшая невеста явилась девою уже перезрелою, но имела лицо умное и интересное, с выражением грусти и решимости. Вторая казалась нездоровою. Я старался всячески быть полезным старику, употреблял все средства, чтобы принимать его как можно лучше и учтивее. Казалось, он чувствовал мое внимание, и вдруг пропал. Я отправился к нему на квартиру и узнал, что он съехал неизвестно куда, вероятно, выехал из Петербурга. Конечно, дело его в Финляндии решилось в его пользу, подумал я, но

странным показалось мне, что он не приходил ко мне проститься.

Года через три вхожу в комнату матушки и вижу у ней даму в глубоком трауре. Это была Анна Ивановна Нордберг. Она объявила мне, что отец ее умер за несколько времени до того.

— Где?

— Здесь, в Петербурге.

— Помилуйте, как же это он скрылся от меня?

Она замялась и объявила, что отцу ее показалось, будто я не хочу принимать его.

— Когда, — сказала она, — я говорила ему: «Подите к Николаю Ивановичу», он покачивал головою и утверждал, что вы не хотите его видеть.

— Да из чего вы это заключаете?

— А вот из чего: всякий раз, когда я его посещаю, он, при уходе моем, провожает меня до самых дверей: не явный ли это знак, что он не желает, чтобы я приходил впредь?

Вежливость моя к старцу, к человеку истинно почтенному и благородному, к другу моего отца, была перетолкована таким стран-

ным образом! С тех пор я смотрю, как бы не провожать слишком далеко людей мнительных.

Я поместил Анну Ивановну в дом родственницы моей, Марии Павловны Крыжановской, для смотрения за домом. По отъезде Крыжановской из Петербурга я предложил ей и сестре ее квартиру и содержание в моем доме. Они жили у меня десять лет (1834–1844), и в это время Анна Ивановна оказала мне и родным моим самые усердные, неоцененные услуги, особенно в попечении о больных. На ее руках скончались сын мой Николай и Елисавета Павловна Борн. По отъезде нашем в чужие края (1843), она оставалась в моем доме при малолетней воспитаннице моей дочери и потом отправилась в Малороссию, к младшему брату своему Андрею, овдовевшему в то время и пригласившему к себе обеих сестер. С тех пор я ничего не слышал о них. Дай им Бог всякого благополучия! Анна Ивановна могла бы составить счастье благородного человека, но отец ее, по непостижимому своенравию, отталкивал всех женихов и, можно сказать, заел век дочерей своих, а при-

том был человек самый честный и благородный. И сколько в свете таких домашних тиранов!

Фамилия Клодт фон-Юргенсбург. Около 1730 года родился в одном эстляндском поместье сын богатого дворянина, барон Фридрих Адольф Клодт фон-Юргенсбург, вырос в родительском доме, выучившись немецкой грамоте, бегая за девками и зайцами, был определен юнкером в кирасирский полк, жил в Петербурге, мотал, кутил и продолжал то же в Семилетнюю войну на полях Пруссии. Соскучив военной службою, по смерти отца, вышел в отставку поручиком, женился на богатой наследнице из фамилии Швенгельм и зажил как истый дворянин остзейский, не отказывая себе ни в чем. Он был человек очень неглупый, доброго сердца, благородных правил, но легкомысленный, ветреный, любитель лошадей, карт, обедов и попок. Особенно отличался он вкусом и знанием поваренного дела: рассуждал пресерьезно о каком-либо лакомом блюде и облизывался.

Жил, жил и наконец прожил все, что имел. Вдруг досталось ему богатое наследство.

Прежний урок не проучил его: он закутил снова, и вскоре не осталось у него ни гроша. Именье описали и продали. По смерти жены он женился (по эстляндскому обычаю, допускаемому законами лютеранской церкви) на младшей ее сестре. И она вскоре скончалась.

Детство старших детей его, к счастью их, проходило во время первого его богатства. Он старался дать им хорошее воспитание: между прочим, гувернерами и учителями детей его были знаменитый астроном Шуберт и ученый ориенталист Беллерманн, бывший потом директором гимназии в Берлине. Но вот характерная черта тогдашнего остзейского воспитания. Дети, обучаясь строго наукам математическим, физическим и историческим, из новых языков знали только немецкий, да и тому учились более по навыку. Русский язык узнали они в военной службе, но без правил, без надлежащего произношения и правописания. Французский понимали только глазами, а не ухом. К счастью еще, первое банкротство отца последовало, когда дети подросли и им следовало избрать род жизни. В прежнее золотое время они сделались бы

собачниками; теперь отдали их и военную службу. Дети у него были: 1. Карл Федорович (род. в 1765, умер в 1823), о котором подробно будет сказано ниже. 2. Борис (Bernhard) Федорович, дослужившийся до генерал-майора, женился, уже в самых зрелых летах, на горбатой, но весьма богатой графине Тизенгаузен, здравствует теперь еще (в 1851 году) в эстляндском своем поместье. 3. Федор Федорович и 4. Адольф Федорович служили в армии и умерли в разное время. 5. Яков Федорович успел схватить и спасти часть материнского наследства, купил небольшое имение близ Везенберга и умер за несколько лет перед сим. Дети его были кирасирами и прокутили материнское имение: один умер в молодости, другой питается теперь в Эстляндии, взяв на аренду частное имение. 6. Густав Федорович, младший из всех, не застал уже и крох прежнего богатства, вырос неучем и наследовал только беспечность и леность отца. Он, лет двадцати пяти, вдруг исчез, отправился в Германию, учился живописи, но не достиг большого совершенства; потом, воротясь в Эстляндию, женился на девице фон Бистром, при-

был с нею в Петербурге и помирился с отцом незадолго до его кончины (1806). Впоследствии жил он в Ревеле, имел многих детей и, затрудняясь в содержании семейства, исчез вторично, жил где-то в Курляндии у католического пастора и лет через десять вновь явился в своем семействе, и в какой день! В день погребения его дочери, прекрасной шестнадцатилетней девицы, которую он узнал только в гробе. Сыновья его с честью служили в полках Гренадерского корпуса. Сам он умер за несколько лет перед сим в Эстляндии.

У отца его были три дочери: старшая за каким-то эстляндским дворянином, помнится, Раутен Штраухом. Другая, Анна Федоровна, на втором году от роду, по небрежности няньки, упала в пруд, была спасена от смерти, но оглохла и сделалась слабоумною. Она умерла лет за пятнадцать перед сим, в глубокой старости, в Эстляндии. Она жила у своего отца, потом, когда женился брат ее, Карл Федорович, у него, а когда последний, в 1817 году, поехал с семейством на службу в Сибирь, ее отправили в Эстляндию, где она и кончила

грустную свою жизнь. У нас, детей, слыла она фрейлиною. Мы, признаться, частенько трунили над несчастною и выводили ее из терпения.

Третья дочь барона Клодта была, сказывают, красавица. В нее влюбился некто Белли, гувернер старших ее братьев, умный, красивый собою молодой человек, и она имела участь Элоизы; но его сделали не Абеляром, а мужем ее и дали ему место казначея в Везенберге. В молодости я был знаком и дружен с его детьми, Яковом Карловичем и Иваном Карловичем. Белли учился в Германии в университете с покойным Опперманом и прислал сыновей к нему. Якова определили в Инженерную кондукторскую школу; но он, убоясь бездны премудрости, вышел офицером в Кременчугский полк и отправился в поход, в Финляндию, в 1808 году. Перешел с полком через границу, услышал он впереди выстрелы и вскоре на дороге увидел убитых наших драгун. Бледные лица, искаженные черты покойников жестоко поразили юного героя, но ненадолго. Не прошло шести месяцев, как он метал банк с поручиком Закревским (быв-

шим московским военным генерал-губернатором и графом) на лодке под шведскою картечью. Вдруг одним выстрелом сбило столик перед игроками. «Подайте другой столик и свежую колоду!» — закричал Белли. Он был человек самый добрый, благородный, но и самый беспечный. Удивляюсь, как он десять раз не был разжалован за упущения по службе, но все у него как-то с рук сходило. Он женился в двадцатых годах на девице Шредер и вскоре потом умер. Иван Карлович Белли воспитан был в 1-м Кадетском корпусе и выпущен в армию. Через несколько лет написал он ко мне очень дельное и грамотное русское письмо, извещая о том, что вступил в брак с какой-то помещицей в полуденной России, но с тех пор не имею о нем никаких сведений.

Дядя их, Карл Федорович Клодт, в Бородинскую битву, в звании обер-квартирмейстера 8-го корпуса, подъехал к Одесскому полку и смотрел на ход битвы. Подле него стоял красивенький собою молодой офицерик и жаловался на бездействие.

— Предосадно стоять, — говорил он, — во второй линии. — Дела не делай, а того и смот-

ри, что тебя убьют ни за что.

В это самое мгновение оторвало у него ядром голову.

— Белли! Бедный Белли! — закричали офицеры, бросившись к нему.

Это имя поразило Карла Федоровича Клодта: так прозывалась сестра его, но он ничего не мог узнать об убитом, кроме того, что он за полгода выпущен был из 1-го Кадетского корпуса. Через час К. Ф. Клодт должен был вести вперед колонну, в голове шел Кременчугский полк, и первым взводом командовал Яков Карлович Белли.

Карл Федорович Клодт, не выдавший ни его, ни братьев его несколько лет, закричал ему:

— Здравствуй, Яша! Нет ли у тебя брата в Одесском полку?

— В этот полк выпущен брат мой Петр.

— Он убит, прощай, — отвечал Клодт и поспекал вперед...

Кончу рассказ о старике, родоначальнике их.

Не знаю, каким образом познакомился с ним отец мой, но это было в один из антрак-

тов его богатства, то есть когда ему, с сыном Густавом (прочие были в армии), нечего было есть. Отец мой делил с ними последнее и, поправившись в своем состоянии, имел их за столом ежедневно. Люди наши, разумеется, на это негодовали и называли их в насмешку нахлебниками. Старого «барона» (так мы все называли его) чтит я и буду век чтить за любовь и уважение его к моей матушке. Меня он также любил и ласкал, называя маленьким профессором.

Последнее обогащение его последовало в 1796 году. Он купил прекрасную мызу Рябове (принадлежавшую впоследствии В. А. Всеволожскому) в С.-Петербургском уезде, нанял просторный дом на Сергиевской, давал обеды, вечера, балы. Вдруг запутался он в какую-то тяжбу. Имение у него отняли, и он опять очутился ни с чем, или с весьма немногим — с надеждою. Ежедневно говорил он: завтра выиграю я мой процесс; наступало завтра и ничего не приносило. Между тем он не уменьшил своего хозяйства: дворня у него была пребольшая, лошадей полная конюшня, но люди его искали пропитания на стороне, а ло-

шадяи съели ясли, в точном смысле слова. Отец мой сжалился над ними и, когда барон отъезжал от нас вечером, снабжал его овсом и сеном. Сам же он ел и пил сладко, дремал после обеда, потом садился за бостон или за гранпасьянс, ужинал и уезжал домой, говоря: «Завтра кончится мой процесс».

Самое грустное было то, что он увлек в свое разорение и всех детей своих, удержав в своем распоряжении долю, причитавшуюся им после матери, тетки и деда. Наконец, очарование прошло. Он увидел, что никогда не выиграет своего процесса, жестоко тем огорчился, но вскоре утешился мыслью, что оставит детям своим в наследство плоды своей опытности, и написал толстую тетрадь под заглавием: «Правила хозяйства, сельского и домашнего, для сохранения и увеличения имущества». В последнее время питался он у сына своего, Карла Федоровича, и у бабушки моей, Христины Михайловны. Он скончался в 1806 году в тесенькой квартире на Петербургской стороне.

Сын его, Карл Федорович Клодт, был человек умный, образованный, благородный, но

чудак не последний. Получив, как я упоминал, прекрасное образование, особенно в науках математических, умея очень хорошо чертить и рисовать, он был в то же время очень приятным музыкантом на виолончели: каждый из его братьев также играл на каком-нибудь инструменте. Терпение, хладнокровие, равнодушие его были удивительные. К тому присоединялась насмешливость и страсть дразнить: он иногда очень терзал этим мою матушку, которую, впрочем, любил и уважал искренно. Какая-нибудь ошибка или обмолвка служила ему забавою на несколько недель. К тому присоединялись в молодые лета большая лень и беспечность: начнет рисовать или играть на виолончели и все забудет. Впоследствии обстоятельства отвадили его от этого. Сначала служил он в артиллерии, потом перешел в Генеральный штаб и оставался в нем до кончины.

В 1800 году женился он на тетушке Елисавете Яковлевне Фрейгольд и жил с нею очень счастливо, в любви и согласии. У старшего его сына приемником был император Павел и пожаловал отцу дорогую табакерку, осыпан-

ную бриллиантами: у него вытащили ее из кармана на Царицыном лугу, при каком-то параде. Этот сын умер полугодовой. Была у них дочь Софья, прекрасное дитя, любимица бабушки Христины Михайловны: и та умерла лет трех. Потом родились: Владимир (1803), Петр (1805), Константин (1807). Жили они на Петербургской стороне, в старом зеленом деревянном доме Копейкина (теперь на этом месте площадь), при пересечении Каменно-островского проспекта Большим проспектом. Карл Федорович Клодт ходил раз в неделю в чертежную Генерального штаба, а остальное время проводил дома, рисуя и чертя в засаленном сером сюртуке, небритый, нечесаный.

Однажды летом вышел он за ворота и смотрел на проходивших. Ведут под руки пьяного чиновника. Жена бранит его за дурное поведение. «Знаю, матушка, — отвечает он, — я пьяница и срамец, хуже... хуже вот этого господского человека», — и указывает на полковника и барона. К. Ф. Клодт, воротившись в комнаты, с наслаждением рассказывал об этой аттестации.

В другой раз зашел он к новому будочнику

и завел с ним знакомство, объявив, что он «крепостной человек» барона Клодта. Дня через два проходит он мимо его в мундире и, когда будочник стал во фронт, спрашивает: «Знаешь ли меня?»

С дядюшкою Александром Яковлевичем Фрейгольдом жил он в искренней дружбе.

В конце июля 1804 года К. Ф. Клодт отправился на маневры и, воротясь через две недели, узнал, что добрый шурина его похоронен дней за пять перед тем. В 1805 году откомандировали его в Тульчин, где была Главная Квартира армии, назначенной в Турцию. Он отправился туда со всем семейством. В 1806 году армия двинулась далее, и тетушка с двумя детьми, беременная третьим, воротилась в Петербург и поселилась в доме Христины Михайловны. К. Ф. Клодт пробыл в походе до окончания войны с турками и не прежде начала 1812 г. свиделся с семейством на две недели, чтобы расстаться с ним еще на два года.

К. Ф. Клодт из турецкого похода писал жене очень редко, иногда не более разу в месяц, потому что письма пересылались не ина-

че как через курьеров, и всякий раз, бывало, он вырежет из карточки лошадку и вложит в письмо в подарок детям. Второй сын его, Петр, заметил, что, когда его мать радуется, кланяется от отца, целует детей, — он всегда получает в подарок лошадку. Отец, мать, счастье, радость — затвердились в его памяти под фигурую лошади. И он сделался первым в мире скульптором лошадей!

Тетушка жила в доме Христины Михайловны довольно приятно: веселая, шутница, хохотунья, она умела окружать себя молодыми людьми. Таковы были тогда И. К. Борн, Михаил Петрович Анненков (брат генерала от инфантерии, Николая Петровича, служивший в гвардии, в Финляндском полку, живет теперь лет тридцать в Курской губернии и служит по выборам дворянства), Владимир Андреевич Глинка (генерал от артиллерии, бывший начальник Уральских горных заводов), Семен Васильевич Коханов (генерал-лейтенант, свояк Талиони) и пр. Бабушка ложилась спать после ужина в десятом часу, и тогда собирались на половине тетушки и проводили время в приятной беседе до глубокой

ночи.

К. Ф. Клодт был офицер знающий и храбрый, но до крайности скромный и терпеливый. Его беспрерывно обходили. После Лейпцигского сражения был он произведен в генералы и назначен комендантом в Бремене. В 1815 году воротился он в Петербург. На беду свою, он стал обходиться с давнишним товарищем своим, К. Ф. Толем, по-старинному, а Толь был в то время генерал-адъютантом и генерал-квартирмейстером Главного штаба. Разгневавшись за то, что Клодт пришел к нему в сюртуке и в фуражке, он выдумал для него место начальника штаба Сибирского корпуса, и Клодт отправился туда со всем своим семейством в начале 1817 года, служил там честно и верно, забыл старинное приволье и работал безустанно. По его старанию, снята на карту значительная часть южной Сибири.

Командиром корпуса был большой урод, гатчинский герой, генерал от артиллерии Петр Михайлович Капцевич, лицемер и ханжа, жестоко разбитый французами (в 1814 году) при Монмирале, — К. Ф. Клодт много тер-

пел от него и молчал. Однажды Капцевич, в присутствии его, при докладе, разругал, обрвал самым наглым образом дежурного штаб-офицера, полковника Золотарева. Когда К. Ф. Клодт на другой день явился к нему по службе, Капцевич предложил ему подписать бумагу о том, будто полковник вывел его из терпения грубостями и неповиновением.

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, — сказал Клодт, — полковник не сказал ни слова и вынес величайшие оскорбления.

— Хорошо, — отвечал Капцевич, — вы заодно с бунтовщиком! Но извольте помнить, что у вас жена и восьмеро детей. Я обо всем донесу по начальству.

Клодт взял перо, подписал требуемое, но, воротившись домой, слег в нервную горячку и через девять дней умер. Старшие три сына его уже два года были в Петербурге, в Артиллерийском училище. Тетушка прибыла в С.-Петербург с остальными; жила недолго: в 1825 году скончалась она после мучительной болезни.

Я не оскорблю памяти доброго и благород-

ного К. Ф. Клодта, рассказав один анекдот из военной его жизни. При погоне за французами, в 1812 году, он был начальником штаба отдельного отряда, бывшего под командой генерала Павла Васильевича Кутузова: они преследовали маршала Макдональда, ретировавшегося из Курляндии, и, по всем соображениям, могли его отрезать и заставить положить оружие. По донесениям офицеров Генерального штаба, все важные пункты были заняты, и Макдональд должен был проходить на другой день в восемь часов. Наступил вечер.

— Что, барон? — спросил Павел Васильевич Кутузов. — Не схрапнуть ли нам немножко? Велите только, чтоб нас разбудили часа в четыре.

Барон охотно согласился, но их разбудили не в четыре часа утра, а в одиннадцать часов; Макдональд между тем ушел благополучно. К довершению неудачи, один из офицеров, перепутав имена деревень, занял не тот пункт, который следовало занять, так что никто и не заметил, как французы прошли, — в противном случае тревога непременно разбудила бы начальство. От этого обстоятельства корпус

Макдональда пробрался за границу, целый и невредимый.

Та же история, что и с Чичаговым на Березине. Кажется, судьба не хотела слишком баловать нас славою. Но и того, что мы приобрели, довольно было с нас. Если бы придушили Наполеона в России, мы не имели бы славы войти в Париж.

О родоначальнике Христиане Безаке говорил я выше. У него был сын Павел Христианович, родившийся 28 сентября 1769 года. Отец приложил все старание свое о воспитании сына, но не мог внушить ему своей кротости и смирения. Павел Христианович был одарен необыкновенными способностями: умом быстрым, необыкновенной памятью, примерным трудолюбием и редкой способностью к делам. К сожалению, эти блистательные качества затемнялись в нем большим тщеславием и такой же страстью к приобретению: то и другое в нем спорило, но тщеславие одерживало верх. От этой борьбы происходила шаткость его характера, неровность обращения и удивительное в умном человеке неумение обращаться с людьми: к людям честным и на-

дежным питал он очень часто недоверие и подозрительность, и в то же время слепо предавался льстецам и негодьям, ласкавшим его слабую сторону. Он не был зол в сердце, но как бы стыдился быть добрым. Странная смесь добра и зла, упрямства и слабости, ума и безрассудства!

Отец поместил его в корпус не кадетом и не пансионером, а вольным слушателем в чине сержанта Преображенского полка, но так как тогда в классы ходили не в мундирах, то он, из экономии, и не шил сыну мундира. Отец мой подарил молодому человеку полную обмундировку, и за это, равно как и за другие родственные услуги, П. Хр. Безак питал к нему уважение и дружбу и, несмотря на причуды дяди, делал ему всякое добро. В корпусе, между товарищами и сверстниками, он не имел друзей и впоследствии не был знаком ни с одним из них: видно, они его не любили. По производстве в офицеры, он оставался в корпусе, и я помню еще в 1794 г., как он, на ученье кадет в саду корпуса, командовал взводом и равнял рядовых шпагою. Это был день важный в моей жизни, и я о нем упомя-

ну впоследствии.

В 1797 г. Безак перешел в Сенат секретарем в Герольдию, а потом в 1 департамент, и обратил на себя внимание своего начальства трудолюбием, умом и искусством изложения дел, как на письме, так и изустно. Старики сенаторы радовались, когда очередь доклада была за Безаком, и неудивительно. В канцелярии Сената было в то время мало людей, светски образованных: появление человека умного, просвещенного, красноречивого изумило всех.

Императору Павлу Безак сделался известным в Москве, куда был отправлен на коронацию с 1-м департаментом Сената. Он был в числе сенатских секретарей, которые разъезжали с эскортом по городу и возглашали о предстоящем торжестве. Павел встретился с таким разъездом на перекрестке. Безак прочитал прокламацию смелым, громким голосом, ударяя на слова: державнейшего, великого государя императора и т. п. Это понравилось государю, он приказал узнать и записать имя молодого чтеца и с тех пор был всегда к нему благосклонен. Открылось место прави-

теля канцелярии в новосоставленной комиссии опекунов иностранцев. Безак был помещен.

Вскоре переведен он был правителем в канцелярию генерал-прокурора, в чине коллежского советника, в 1800 году. В то время генерал-прокурор был родом верховного визиря: ему подчинены были юстиция, полиция и финансы. Во всех прочих ведомствах были прокуроры, ему подчиненные. Безак стал на эту должность. У него были два экспедитора: статские советники Сперанский и Клементий Гаврилович Голиков, преданный бессмертию Ильиным, в лице подьячего Клима Гавриловича Поборина, в драме его: «Великодушные или рекрутский набор».

Расскажу анекдот, который покажет, как делались тогда важные дела и составлялись законы. Однажды, во время пребывания двора в Гатчине, генерал-прокурор (Петр Хрисанфович Обольянинов), воротясь от императора с докладом, объявил Безаку, что государь сучает, за невозможностью маневрировать в дурную осеннюю погоду, и желал бы иметь какое-либо занятие по делам гражданским.

— Чтоб было завтра! — прибавил Оболянинов строгим голосом.

Положительный Безак не знал, что делать, пришел в канцелярию и сообщил свое горе Сперанскому. Этот тотчас нашел средство помочь беде.

— Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки? — спросил он у одного придворного служителя.

— Есть, сударь, какая-то куча книг на чердаке, оставшихся еще после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова.

— Веди меня туда! — сказал Сперанский, отыскал на чердаке какие-то старые французские книги и в остальной день и в следующую ночь написал набело: «Коммерческий устав Российской Империи». Оболянинов прочитал его императору. Павел подмахнул: «Быть по сему», и наградил всю канцелярию. Разумеется, что этот устав не был приведен в действие, даже не был опубликован. Обнародовали только присоединенный к нему штат Коммерц-коллегии (15 сент. 1800 г.).

Павел учил войска, выдумывал новые формы, подписывал всякие законы и постановления.

ния, только бы они противоречили Екатерининным, сажал под арест, ссылал в Сибирь, производил в генералы, дарил души сотнями и тысячами и воображал, что он властвует! Ужасное время! Я был тогда ребенком, в том возрасте, когда все кажется нам в розовом цвете, когда живешь годы, о которых потом вспоминаешь с удовольствием, с сожалением, что они прошли, а не могу и теперь, в старости, вспомнить без страха и злобы о тогдашнем тиранстве, когда самый честный и благородный человек подвергался ежедневно, без всякой вины, лишению чести, жизни, даже телесному наказанию, когда владычествовали злодеи и мерзавцы, и всякий кварталный был тираном своего округа. Буду еще не раз иметь случай говорить об этом царствовании ужаса, не уступавшем Робеспьерову. Хорошо теперь заочно хвалить времена Павла! Пожили бы при нем, так вспомнили бы.

Безак был один из немногих людей, которые удержались на месте по смерти Павла. Вот что он рассказывал.

11 марта 1801 года приехал он к Обольяни-

нову, жившему тогда на Мойке, на углу Почтамского переулка, в доме нынешнем Карамзина. В передней встретил он Зубовых, князя Платона и графа Валериана: они надевали шубы и ехали домой. — «Брат, пора», — сказал Валериан.

— И я того же мнения, — отвечал Платон.

Они вышли и поехали — в собрание заговорщиков. Сигнал к тому подан был пробитием зари четвертью часа ранее обыкновенного, по приказанию военного губернатора Палена, сообщенному плац-майором Иваном Саввичем Горголи, нынешним верноподданным и святошею. Безак вошел в гостиную. За несколькими столами играли в карты разные бары и вельможи. Он подошел к Оболянинову и подал ему бумагу с словами:

— Известная вашему высокопревосходительству бумага, полученная от князя Александра Борисовича Куракина!

— А! знаю! — сказал Оболянинов, взял бумагу, положил ее под подсвечник на столе и, вынув из-за пазухи другую, отдал Безаку со словами: — Тотчас же исполнить!

Что ж было в этих бумагах? В первой...

Здесь скажем в скобках, что последние роды императрицы Марии Федоровны (великим князем Михаилом Павловичем) были очень трудны, и медики объявили, что она едва ли перенесет другие, если б ей случилось забеременеть. Павел и прежде не строго держался супружеской верности; теперь охотно отказался от брачного ложа. Патентованной его фавориткой была княгиня Анна Петровна Гагарина, урожденная княжна Лопухина, прозванная Благодать[1]. Это было ему мало для удовлетворения физических потребностей. Решили промыслить ему любовниц нижнего этажа, и выбрали двух молодых, хорошеньких прачек с Придворного Прачешного Двора. Вскоре они забрюхатели. И вот князь Куракин препроводил к Обольянинову бумагу, в которой говорилось, что император призвал его, князя Александра Борисова сына Куракина к себе, объявил ему, что такие-то девы носят плоды трудов его, что таковые плоды имеют называться графами Мусиными-Юрьевыми, иметь по стольку-то тысяч душ, такой-то герб, такие-то права и пр. На случай рождения девочек также постановлялось, чем им

быть и слыть. Разумеется, что все это кануло на дно[2].

В другой был написан новый титул императора, с прибавлением: Царь Грузинский. Безак отправился с ним в сенатскую типографию, взял двух наборщиков и печатников в особую комнату, приставил к ней военный караул, велел набрать титул, прочитал сам корректуру, велел выправить, сжег корректурные листы, приказал оттиснуть три экземпляра и разобрать набор. Затем запечатал он оттиски и, надписав: «В собственные комнаты ЕИВ» (Его Императорского Величества), отправил с фельдъегерем к дежурному камердинеру, с приказанием разложить их на письменном столе государя так, чтоб они бросились ему в глаза, лишь только он поутру подойдет к столу. Было уже поздно, когда операция кончилась. Безак воротился домой и лег спать с женой, которая была тогда беременна старшим его сыном Александром, нынешним генерал-адъютантом и генерал-губернатором оренбургским. В первом часу входит в комнату горничная девушка и будит его: приехал-де генерал Рязанов. Безак вскочил и хотел оде-

ваться. Рязанов (обер-прокурор 1-го департамента) закричал сквозь двери:

— Сусанна Яковлевна, позвольте мне войти к вам: дело преважное, мешкать нельзя.

С сими словами вошел он в комнату, приблизился к постели и с низким поклоном сказал:

— Имею честь поздравить с новым императором Александром Павловичем.

— Как! Что! Ах! — возопили и муж, и жена.

— Как и что, узнаете после, — продолжал Рязанов, — а теперь извольте ехать к государю: он вас требует.

Безак накинул халат и вскочил с постели.

— Эй, чесаться!

— Какое тут чесаться: надевайте мундир и спешите. Я доведу вас до дворца.

Безак надел красный мальтийский мундир и поехал.

— Да что генерал-прокурор?

— Он под арестом: я исправляю его должность.

Тут рассказал Рязанов всю историю в главных чертах. Приехали в Зимний дворец, совершенно освещенный, и вошли в аванзалу,

наполненную народом, т. е. народом придворным, в числе которых было несколько человек весьма навеселе.

— Herzens Bruder! — закричал Пален Безаку: — wiekommst du her? (Сердечный друг! Как ты здесь?)

— Государь приказал мне явиться.

— Так ступай. Да присягал ли ты?

— Нет еще.

— Вот тебе присяжный лист.

Акт был рукописный. Все важнейшие сановники подписали его. Осторожный Безак не мог не прочитать и сказал Палену, отдавая лист:

— Я его не подписываю. В нем нет существенной статьи по генеральному регламенту.

А какой?

— «И высочайшего престола его наследнику, который от его величества назначен будет».

— Правда, — отвечал Пален, — а мы все подписали. Хороши же мы!

Он отнес в кабинет, и государь своеручно вписал пропущенные слова между строками.

Безак, подписав присягу, вошел в комнату государя. Александр I, бледный, с красными на лице пятнами, с опухшими от слез глазами, ходил в раздумье по комнате.

— Сколько у вас неисполненных именных указов? — спросил он.

— Два, — отвечал Безак, — состоявшиеся вчера о том и том-то.

— Сколько налицо сенаторов?

— Столько-то.

— Привезите мне список их. Я поручил должность генерал-прокурора обер-прокурору Рязанову. Так ли я сделал?

— Рязанов обер-прокурор 1-го департамента, но старший по чину Оленин, обер-прокурор 3-го департамента.

— Так объявите ему, чтобы он принял должность. Поезжайте скорее за списком.

Безак отправился в канцелярию генерал-прокурора, но дом окружен был целою ротою Семеновского полка, и его не хотели впустить. С трудом объяснил он, что идет в канцелярию по высочайшему устному повелению нового государя...

Через несколько дней прибыл в Петербург

Александр Андреевич Беклешов и вступил в должность генерал-прокурора. Он был воспитан в Сухопутном корпусе, знал Безака, уважал отца его, и Павел Христианович остался при нем во всей силе. При всем уме своем, он не имел одного необходимого качества в жизни — ровности в характере и уменья обращаться с людьми: был то учтив, то груб, то горд, то снисходителен по внушению минутного каприза, приобрел уважение многих, но ничьей искренней дружбы и любви, надоедал тяжестью своего характера, оскорблял высокомерием и составил себе легион врагов, не сделав, сколько мне известно, формального зла никому и сделав добро многим. Его обнесли хищником, грабителем, взяточником, выдумывали на него всякие скандалезные анекдоты. Между тем, он исполнял свои обязанности в точности, умно, догадливо и снискал благоволение своих начальников, которые, сблизившись с ним, души в нем не слышали. Братъ-то он, конечно, брал, ибо одним жалованьем не мог бы не только составить себе состояния, но и жить, как он жил, но низостей и несправедливостей никогда не делал. В то

время брали все, и в этом не было ничего предосудительного, по общему мнению. Теперь берут так же и больше, да не говорят о том.

В сентябре 1802 года последовало учреждение министерств, мера полезная и благодетельная, но так как она нарушала многие личные выгоды, искореняла старинные злоупотребления, оскорбляла господствовавшие издавна предрассудки, то и была встречена общим порицанием и ропотом. Беклешов, приверженец старины, вышел в отставку; с ним и Безак, не имевший опоры у новых министров. Безак поселился в Киеве, в доме, подаренном ему Беклешовым, занимался коммерческими делами с польскими панамы, играл с ними в карты, любезничал с польками, к досаде своей жены.

Вдруг объявлено было учреждение милиции (в конце 1806 года), и Безак был избран на одно из важнейших в ней мест. Главным начальником ее назначен был генерал-фельдмаршал князь Александр Александрович Прозоровский, имевший тогда от роду семьдесят четыре года, дряхлый, беспамятный. Он взял

к себе помощником статского советника Безака, который вскоре сделался главным начальником штаба и всего, что относилось к службе. Видя, что дела идут скоро и исправно, князь полагался на него совершенно. В 1808 году Прозоровский был назначен главнокомандующим дунайской армией, действовавшей против турок, и Безак остался его правой рукой.

Тогда время было критическое, затруднительное. Наполеон соглашался, на словах, на уступку нам Молдавии и Валахии, а между тем предписывал своему послу в Константинополе препятствовать и заключению мира, и уступке нам княжеств. В нашей главной квартире знали об этом и доносили в Петербург, но тогдашний канцлер граф Румянцев, опутанный Наполеоном, не хотел тому верить и уверял, что все это выдумка английских агентов. Безак успел перехватить депеши Талейрана, выкрал (при помощи убитого в 1813 году майора графа Мусина-Пушкина) секретную инструкцию у французского консула Леду (в Бухаресте). Румянцев возненавидел Безака, который раздавал александров-

ские ленты, а сам получил два раза бриллиантовые знаки к Анне 2-й степени, чтоб не дать ему чего повыше. Чин действительного статского советника получил он во время пребывания Румянцева на конгрессе в Фридрихсгаме.

В августе 1809 г. умер Прозоровский, и на место его поступил князь Багратион, друг и приятель Безака, который при нем еще более усилился. Все части военного управления и гражданское ведомство княжества лежали на его ответе, и все шло как нельзя лучше. Князь Багратион занимался только исключительно ведением войны. У него было не более 19 000 войска, и он действовал очень успешно, надеясь в следующем году, пополнив армию, усилить и успехи. Наступала осень. Надлежало перейти обратно на левый берег Дуная, но в Петербурге требовали, чтоб армия непременно зимовала на правом берегу. Багратион не мог этого исполнить и впал в немилость. К падению его споспешествовали Милорадович, Ланжерон и другие, с которыми он не ладил. Они не могли прямо осуждать Багратиона, известного и государю, и России, и свали-

вали всю вину на Безака, заставлявшего их, александровских кавалеров, стоять по часам в своей передней, между тем как он пировал и любезничал с молодыми вельможами — Воронцовым, Бенкендорфом и другими.

К началу похода 1810 года сформирована была армия в 160 000 человек, но в марте на место Багратиона главнокомандующим назначен был граф Каменский. Отпуская его, государь сказал, что в армии находится любимец Багратиона, Безак, которого должно выслать оттуда до приезда нового главнокомандующего, чтоб Безак не успел опутать и его, как Прозоровского и Багратиона. И действительно, Каменский, остановившись в Яссах, послал одного из своих адъютантов в Бухарест, где царствовал Безак над главной квартирой, сидя в богатой диванной на турецких коврах. «Янтарь в устах его дымился». Докладывают, приехал адъютант главнокомандующего.

— Проси.

Входит молодой майор с Георгиевским крестом.

— Кто вы, сударь? — спрашивает Безак, не

двигаясь с места.

— Майор Закревский, адъютант главнокомандующего графа Каменского.

— Что вам, сударь, угодно?

— Я пришел, чтобы принять у вашего превосходительства канцелярию и дела.

— Если вы, милостивый государь, имеете понятие о порядке службы, вам должно знать, что мне с вами иметь дело вовсе неприлично.

С этими словами он позвонил. Вошел секретарь его Саражинович[3].

— Позовите Омельяненку[4] и Сорокунского[5].

Явились.

— Сдайте все дела этому господину офицеру.

— Позвольте доложить, ваше превосходительство, — сказал Закревский, — что главнокомандующий требует сдать бумаги и суммы в двадцать четыре часа.

— А, так я могу еще командовать здесь целые сутки. Знайте же, господа, если вы не сдадите дел в два часа, я вас предам военному суду. Саражинович! Скажите жене, что я сего-

дня же отправляюсь в Петербург, да велите изготовить экипажи и все что нужно.

— К вашему превосходительству еще прислан кто-то, — сказал Саражинович.

— Кто это?

— Надворный советник Блудов, — отвечал Саражинович, — он прислан для принятия дел по дипломатической части.

— С этим господином я и вовсе говорить не хочу. Саражинович, сдай ему дела! Прощайте, господин офицер. А вы, господа, исполните мои приказания в точности.

Омельяненко и Сорокунский исполнили приказанное им беспрекословно, но Саражинович жестоко подтрунил над приемщиком. Блудов прибыл в Молдавию с Каменским из Карамзинского теплого гнезда чувствительным птенцом, напутствуемый томными стихами Жуковского. Из первых его слов Саражинович увидел, что новоприезжий не имеет понятия о делах и о порядке службы, и порядочно подурачил его, толкуя, что входящие и исходящие бумаги, что отпуски в заголовки. Блудов обиделся насмешками подьячего, но скрыл свою досаду. Через двадцать два года

тайный советник Дмитрий Николаевич Блудов вступал в должность министра внутренних дел и вдруг, в числе своих директоров, увидел Саражиновича. Блудов, человек добрый и благородный, но *irritabile genus vatum* («Гневливо племя поэтов» — стих Горация), и чем менее писатель известен, тем более он дорожит собою. Он не обижал Саражиновича, был с ним учтив, хотя и холоден. Но вдруг возникла ошибка по части Саражиновича: в подрядах на поставку лекарств выставлена была не та сумма, которую выставить следовало. Пошел суд. Блудов не отягчал вины его, но и не вступался. Саражинович лишился места и пропитания. Он жил в крайности, и наконец, по приглашению сына моего, в 1847 году читал корректуру «Северной Пчелы», получая за лист по рублю. Умер от холеры в 1848 году.

Воротимся к Безаку. Прожив года два в Киеве, он прибыл со всем своим семейством в Петербург и обратился к старому приятелю и подчиненному своему, Сперанскому, который был тогда в апогее славы и силы. В то время занимались преобразованием Сената. Пред-

полагалось из 1-го департамента оставить Правительствующий Сенат, с особыми правами, в Петербурге. Прочие департаменты намеревались разместить, под именем Судебного Сената, по важнейшим городам губернским. Я сам читал печатные проекты этих преобразований, не состоявшихся по встретившимся тогда препятствиям.

В Правительствующем Сенате полагались статс-секретари, и одно из этих мест Сперанский обещал Безаку. Они долго занимались этим делом, Безак приходил к Сперанскому по вечерам и работал с ним до глубокой ночи. 19 марта 1812 года приходит он к нему и видит на дворе карету министра полиции Балашова, кибитку с тройкою лошадей и несколько полицейских. Безак догадался, что случилось, поспешно ушел домой и на другой день узнал, что Сперанский и Магницкий сосланы, — неизвестно за что и куда. Опасаясь той же участи, он целый месяц носил в бумажнике две тысячи рублей, чтобы, в случае нужды, не остаться без денег. Но буря миновала. Он остался невредим, но лишился надежды получить место.

Зажил он в Петербурге баринoм, имел большое семейство и, принадлежа к числу людей, которые, имея хороший достаток, беспрерывно боятся умереть с голоду, впал в большое недоумение. В это время богатый откупщик Перетц, жид, но человек добрый и истинно благородный, зная ум, способности и опытность Безака, предложил ему место помощника по конторе, с жалованьем по 20 тысяч в год, и, сверх того, подарил ему каменный дом. Безак решился принять эту должность, поправил свое состояние и испортил всю карьеру званием жидовского приказчика. Подумаешь, как несправедливы суждения света! Что тут дурного и предосудительного? Но это не принято, и дело конченное.

Он пробыл у Перетца года три, и потом они разошлись. Безак купил дом у Сампсония на Выборгской стороне, занимался частными делами, посредством одного знакомого ему купца торговал на бирже и в 1824 году был членом комиссии о пособии после наводнения. Тут оказал он все свои способности и удивил временных губернаторов Выборгской стороны Депрерадовича, Паскевича и графа

Комаровского. Ему дали Владимира 3-й степени. Но до звезды он не дожил, и это мучило его несказанно. Бывшие его писцы представляли твердь небесную — Станислава, Анны, Владимира, иные и Александра. Он скончался в Петербурге 11 июля 1831 года в первую холеру, запрятав неизвестно куда свои деньги, документы и т. п., которых, как можно было заключить из слов его, было на 600 тысяч рублей ассигнациями.

Об этом скажу в своем месте, если доберусь до того времени. Теперь исчислю его семейственные отношения, мне во многих отношениях важные и близкие.

Он женился, лет 24-х от роду, на Сусанне Яковлевне Рашет, дочери знаменитого скульптора, воспетого Державиным, бывшего директором казенного фарфорового завода. Странное дело: Рашет был француз, жена его датчанка, а дети вышли совершенные немцы и немки, от сношения с петербургскими немцами Васильевского острова. Еще замечание: дочери Рашета не красавицы, не умницы, а умели найти себе хороших мужей.

Старшая была за действительным стат-

ским советником Федором Христиановичем Вирстом (умершим в 1831 году) и умерла рано, оставив сына. Вирст женился на сестре Павла Христиановича Безака, и та умерла вскоре; потом вступил он в брак с девицею Шульц, женщиной умною и почтенною, она жива поныне.

Вторая из дочерей Рашета была Сусанна, жена Безака, безобразная, неуклюжая, грубая, глупая, капризная и при случае злая; она командовала своим умным мужем: он слушался ее безусловно, хотя частенько с нею бранился. Она умерла вследствие удара в 1825 году, и муж оросил ее останки искренними горячими слезами.

Третья, Эмилия, была за французским эмигрантом Дорером (d'Horger), о котором скажу, может быть, со временем. Четвертая, Юлия, была за славным химиком и добрейшим человеком Петром Григорьевичем Соболевским (умершим в 1841 г.); пятая, Елисавета, за неважным Гофманом, братом статс-секретаря, жива донныне.

Сыновья Рашета также не пропали: Антон Яковлевич, статский советник, был директо-

ром таможни в Риге, женат на умной жене, и дети у него вышли прекрасные, Павел и Владимир — оба военные; дочь за генералом бароном Зальца; все они умерли. Эммануил Яковлевич, храбрый солдат, умер генерал-майором. Карл Яковлевич, женатый на Елисавете Ивановне Фрейганг, — отец Евгения Карловича и Ивана Карловича Рашет, людей посредственных, но честных и трудолюбивых. Они теперь в чинах и звездах.

У Павла Христиановича Безака были дети:

Елисавета Павловна (родилась 6 сентября 1795 года, умерла 23 февраля 1842 года), вышедшая замуж за внучатного брата и друга моего, Ивана Карловича Борна (умершего 11 января 1821 году), краса женского пола, образец и вместилище всех добродетелей. Был я связан с нею в продолжение многих лет самой тесной и искренней дружбой. Милый лик ее проводит меня до могилы. Сподоблюсь ли, чтобы он встретил меня и там!

Мария Павловна (родившаяся 8 июня 1798 года), здравствующая ныне, вдова действительного статского советника Андрея Константиновича Крыжановского, мать много-

численного семейства.

Ольга Павловна (родилась в 1800 году, умерла в 1820 г.) была замужем за артиллерийским генералом Николаем Яковлевичем Зварковским, умершим в 1848 г., скончалась во вторых родах, любезная женщина и красавица. Дети ее — сын Александр и дочь Мария, замужем за Михаилом Никифоровичем Чичаговым. Достоянная и примерная жена и мать семейства, воспитанная теткою своею, Елисаветою Павловною.

Александр Павлович (родился 24 апреля 1801 года), генерал-адъютант, оренбургский генерал-губернатор, человек большого ума и способностей, но, по примеру отца, тщеславный хвастун.

Константин Павлович (родился в 1802 году, умер 4 апреля 1845 года), женившийся на моей дочери Софии, человек честный, умный, но своенравный, тщеславный и ужасный эгоист, наконец помешался в уме от неудовлетворенного честолюбия.

Николай Павлович (родился в 1804 году), действительный статский советник, лучший из Безаков душою исердцем.

Михаил Павлович (родился в 1810 году), артиллерийский генерал, большой дурак.

Павел Павлович (родился в 1815 году), тоже полковник артиллерии, человек неглупый, честный, строгий в исполнении своих обязанностей, но притом односторонний педант.

Еще была у них сестра Елена Павловна, больная нервами, которая умерла девицею в 1846. году.

О Павле Христиановиче Безаке должен я еще прибавить, что он, по возвращении из Киева в Петербург, примкнул было к сильной тогда партии богомоллов и гернгутеров, при посредстве старого своего приятеля, Карла Ивановича Таблица, но не успел добиться ничего. Он переводил проповеди полукатолического пастора Линдля; помогал Александру Максимовичу Брискорну в издании толкований на Новый Завет Госнера, за что порядочно поплатился, как видно будет впоследствии.

Фамилия Шванебах. Не знаю точно, откуда она происходит. Кажется, прямо из Германии. Отец двоих Шванебахов был щирый немец.

Христиан Федорович и Антон Федорович Шванебахи воспитаны были во 2-м (Инженерном) кадетском корпусе и познакомились в нашем доме через дядю Александра Яковлевича Фрейгольда.

Христиан Федорович Шванебах, человек серьезный и умный, служил по инженерной части и занимался формированием инженерной команды, причем у него как-то вырос прекрасный каменный дом. Женат он был на русской девице, Варваре Ивановне Пашковской. Она была в молодости красавицей и сохранила самую приятную наружность до старости. С матушкою моею она была в самой тесной дружбе. Мужа своего она любила страстно и при одном припадке его ревности чуть не лишила себя жизни. По смерти его она жила тихо, в одном из переулков Знаменской улицы, и благодотворила всякому, кто прибегал к ней с просьбою о помощи. Я посещал ее непременно 4 декабря, в день ее именин, и находил добрую, умную, миловидную старушку в кругу бывших подчиненных ее мужа, являвшихся к ней с поздравлением, как будто бы она была их начальницей. Разумеет-

ся, являлись не все. Некоторые люди, обязанные ее мужу, чурались ее и не обращали внимания на ее просьбы, когда она вступалась за несчастных. Она скончалась в сороковых годах, во время моего пребывания за границей. Не знаю, исполнена ли была ее просьба — быть похороненной на иноверческом кладбище подле мужа. Митрополит Серафим положил резолюцию: «Что она врет! Я и старее ее, а умирать не думаю».

Антон Федорович Шванебах, служивший в артиллерии, был женат на дочери биржевого маклера Шпальдинга. Шванебах был человек приятный, веселый и любимый всеми; жил у тестя своего, которого все считали человеком достаточным и честным. В 1795 году у Шванебаха крестили сына. Батюшка и матушка были на крестинах, данных очень пышно; они, как и все гости, были обижены дерзким обращением и спесью кассира Заемного банка Кельберга и жены его, осыпанной кружевами и бриллиантами. Кельберг грубил всем и каждому.

Батюшка сказал Антону Федоровичу:

— Ну, братец, если ты станешь принимать

и впредь таких наглецов, то меня не зови.

Шванебах извинился тем, что принимает Кельберга из уважения к своему тестю, который имеет с ним дела.

На другой день утром батюшка получает записку от Шванебаха: «Приезжайте, ради Бога, поскорее: тесть мой опасно занемог».

Батюшка поспешил к ним. Входит в комнату, здоровается с Шванебахом и видит, что идет к нему навстречу Шпальдинг, причесанный, как тогда водилось, в утреннем сюртуке.

«Верно, он с ума сошел! — подумал батюшка. — Лезет целоваться; не откусил бы он мне носу».

Этого не случилось, но Шпальдинг, поздоровавшись с ним, сказал ему:

— Вообразите, Кельберг бежал в эту ночь с женой.

— Да мне до того какое дело?! — вскричал отец мой. — Черт его побери и с нею.

— Но вы знаете, что он кассир Заемного банка, и у меня с ним были денежные дела. Что мне посоветуете сделать?

— Советую вам отправиться сию минуту к полицмейстеру и объявить все, что знаете, —

проговорил отец мой, взял за руку Шванебаха и вывел в переднюю.

— Увольте меня, Антон Федорович, от подавания советов вашему тестю: дело это плохое и пахнет Сибирью. Ему я не помогу, а себя могу стубить.

С этим словом он вышел из дому. Кельберга с женой поймали. Оказалось, что в кассе недостает важных сумм. Куда они девались? Кельберг давал их Шпальдингу, а тот действовал ими на бирже. Поднялось ужасное дело. Многие лица были в нем замешаны. Кончилось оно уже при императоре Павле: Кельберга, его жену, Шпальдинга лишили прав состояния и честного имени, ошельмовали публично и сослали в Сибирь. Менее виновных наказали легче, а недостающую в кассе сумму взыскали со всех чиновников банка, с виноватых и с правых, и всех отставили от службы. Вот тогдашнее правосудие!

Это дело, разумеется, наделало много шума. В день исполнения казни, когда все наше семейство сидело за ужином и толковало об этом странном событии, батюшка сказал: «Ну, теперь это дело кончено, и я расскажу вам, в

какой я был беде. Слушайте. За несколько месяцев перед сим (это было еще при Екатерине) приглашает меня к себе генерал-прокурор (граф Самойлов), приводит в свой кабинет, где в то время был управляющий Тайной канцелярией Макаров, и говорит:

— В таком-то месяце вы советовали жене одного государственного преступника искать пособия у какого-то господина, живущего на Петербургской стороне и имеющего орден. Спрашиваю вас, именем государыни, кто этот господин? Подумайте и отвечайте.

Я начал ломать себе голову и называть всех знакомых мне кавалеров, живущих на Петербургской стороне.

— Петр Иванович Мелиссино?

— Нет!

— Алексей Иванович Корсаков?

— Нет!

— Более не знаю там никого, ваше сиятельство!

— Постарайтесь вспомнить. Оставайтесь здесь в кабинете. Я еду к государыне и возвращусь через час. Если вы до того времени не вспомните, то отдам вас на руки его превосход-

дительства!

С этими словами указал он на Макарова, вышел с ним и замкнул за собою кабинет. Я остался в недоумении и страхе. Совесть моя была чиста, но память изменяла. Вижу, часовая стрелка приближается к роковой минуте. Вдруг раздался в воротах стук кареты графа. Это подействовало на меня как громовый удар, и в ту же секунду вспомнил я все дело, сел за стол и стал писать. Отворилась дверь, и вошел граф.

— Ну что же, господин Греч!

— Вспомнил, вспомнил! — закричал я, — дайте дописать.

Граф оставил меня. Я написал, что знал, вышел к графу в другую комнату и подал ему записку. Прочитав ее, он сказал:

— Хорошо. Узнаю, правда ли, и потом дам вам знать. Извольте идти.

С тех пор я ждал каждый день, что меня призовут к суду и допросу, но ныне все кончилось, и я могу сообщить вам мой страх и теперешнее успокоение. Записка же моя была следующего содержания: «Жена находящегося под судом биржевого маклера Шпальдинга,

которого я знаю по приятни с зятем его, артиллерии капитаном Шванебахом, приезжала ко мне тогда-то и, объявив, что дело ее мужа поступило в Сенат, умоляла меня помочь ему, так как я служу в Сенате. Я объявил ей, что это дело не по тому департаменту, в котором я служу. — А по которому? — спросила она, — По первому. — А кто оно производит? — Обер-секретарь и кавалер Иван Иванович Богаевский, живущий на Петербургской стороне в своем доме».

— Вот вам, дети, урок! — сказал мой отец, — как должно быть осторожным в делах судебных. Сообщение простого адреса показалось признаком преступления, и если б я не вспомнил, в чем дело, то подвергся бы розыску в Тайной канцелярии».

Тайная канцелярия! Ужасное слово, ужасное дело! Если бы Александр Первый не сделал ничего во всю свою жизнь, кроме уничтожения Тайной канцелярии, и тогда имя его было бы бессмертно и благословляемо. Люди не ангелы, и чертей между ними много, следовательно, полиция, и строгая полиция, необходима и для государства и для всех честных

людей, но действия ее должны быть справедливы, разборчивы, должны внушать доверенность людям честным и невинным. В последние годы царствования Александрова опять было зашевелилась старая застеночная политика, но, слава Богу, ныне не то. Николай Павлович строг и взыскателен, но благороден и откровенен. Употребляя таких людей, как граф Бенкендорф, граф Орлов, Максим Яковлевич фон-Фок, Леонтий Васильевич Дубельт, он отнял у высшей полиции все злобное, коварное, мстительное. Дай Бог ему много лет здравствовать!

Возвращусь в Шванебаху. Он умер лет за двадцать перед этим. Один сын его, Христиан Антонович, служит с честью у принца Ольденбургского. Я с удовольствием увиделся и познакомился с ним на обеде у профессора Якоби. Он напомнил мне чертами лица своего доброго и умного отца. Другой сын Антона Федоровича, видно, родился в дедушку: был подполковником инженеров путей сообщения и обворовал ужасным образом Смоленское шоссе. От него пострадал смоленский губернатор Николай Иванович Хмельницкий;

сам же Шванебах умер на гауптвахте на Сенной. Дед его, Шпальдинг, в царствование Александра был возвращен из Сибири и умер в Смоленске, в доме одной из дочерей своих, бывшей замужем за тамошним аптекарем.

Фамилия Брискорн. Родоначальником ее был придворный аптекарь Максим Брискорн. Детей у него было как склянок в аптеке, и все они процвели и распространились. Так как они были в дружбе с моим отцом, а некоторые из них и на меня имели непосредственное влияние, то я и опишу всю эту фамилию.

Иван Максимович был финляндский помещик, человек очень добрый и умный, часто приезжал к отцу моему со своего геймата, расхваливал тамошнюю свою жизнь и советовал нам туда переселиться. Карл Максимович был прокурором в Риге; Яков Максимович вице-губернатором в Митаве, а потом в Тифлисе; жена племянника его, В. И. Фрейганга, описала его кончину в изданном ею путешествии на Кавказ. Максим Максимович (отец нынешнего тайного советника Максима Максимовича) был в военной службе и в начале царствования Павла служил майором в

Перновском гарнизоне. Жена его, лифляндка, связала из доморощенной овечьей шерсти пару перчаток и послала их при немецком письме к императору Павлу, прося его употребить эти варежки в холодную погоду на вахтпараде. Это наивное предложение понравилось Павлу. Он приказал послать ей богатые серьги из кабинета при письме на немецком языке. Оказалось, что ни один из его статс-секретарей не знал немецкого языка; вытребовали для этого чиновника из Иностранной коллегии, и прислан был коллежский советник Федор Максимович Брискорн.

Воспитание его сопряжено с любопытным эпизодом. Перед вступлением в первый брак императора Павла дали ему для посвящения его в таинства Гименея какую-то деву. Ученик показал успехи, и учительница обрюхатела. Родился сын. Его, не знаю почему, прозвали Семеном Ивановичем Великим и воспитали рачительно. Когда минуло ему лет восемь, поместили в лучшее тогда петербургское училище, Петровскую школу, с приказанием дать ему наилучшее воспитание, а чтоб он не догадался о причине сего предпочте-

ния, дали ему в товарищи детей неважных лиц; с ним наравне обучались: Яков Александрович Дружинин, сын придворного камердинера; Федор Максимович Брискорн, сын придворного аптекаря; Григорий Иванович Вилламов, сын умершего инспектора классов Петровской школы; Христиан Иванович Миллер, сын портного; и Илья Карлович Вестман, не знаю чей сын. По окончании курса наук в школе, государыня Екатерина II повелела поместить молодых людей в Иностранную коллегию, только одного из них, Дружинина, взяла секретарем при своей собственной комнате. Великий объявил, что желает служить во флоте, поступил, для окончания наук, в Морской кадетский корпус, был выпущен мичманом, получил чин лейтенанта и собирался идти с капитаном Муловским в кругосветную экспедицию. Вдруг (в 1793 году) заболел и умер в Кронштадте. В «Записках Храповицкого» сказано: «Получено известие о смерти Сеньюшки Великого». Когда он был еще в Петровской школе, напечатан был перевод его с немецким подлинником, под заглавием: «Обидаг, восточная повесть, переведенная Се-

меном Великим, прилежным к наукам юношею».

Андрей Андреевич Жандр в детстве своем видал Великого в Кронштадте, где тот катал ребенка на шлюпке, сидя у руля...

Обратимся к Брискорнам. Последний из со-воспитанников Великого был Федор Максимович Брискорн: он, наравне с другими, поступил в Иностранную коллегию, был секретарем посольства в Голландии и, как я сказал выше, попал в секретари к императору Павлу. Государь иногда жестоко журил его, но однажды, в жару благоволения, подарил ему богатое поместье в Курляндии. При вступлении на престол императора Александра, Брискорн был назначен сенатором. Он был человек умный и дельный, но притом странный, скрытный, недоверчивый, мнительный и имел одного друга, некоего надворного советника Кнорре. Это был человек тоже умный, но хитрый, лиса в медвежьей шкуре — словом, большой плут.

Брискорн жаловался ему однажды, что получает мало дохода с пожалованного ему курляндского имения, в соразмерности с капита-

лом, которого оно стоит.

— Послушайтесь моего совета, — сказал Кнорре, — продайте это имение и употребите капитал на извороты: я знаю людей, и верных людей, которые дадут десять процентов и более. А между тем стерегите, не продается ли где имение в России по дешевой цене. Вы его купите и будете иметь вдвое более дохода против курляндского.

Брискорн послушался, продал имение, а деньги отдал другу Кнорре, чтоб пустить их в оборот. Между тем приглянулось ему наше родовое поместье Пятая Гора, которое бабушка непременно хотела сбыть с рук, и он, согласившись в цене (155 тысяч рублей ассигнациями), дал 15 тысяч в задаток. Родственники его давно негодовали на тесную связь его с Кнорре, и один из его зятьев, статский советник Федор Федорович Шауфус, долго следив за подвигами и проделками Кнорре, объявил Брискорну, что друг его обманывает. Брискорн перепугался и вместо того, чтоб обследовать дело осторожно, накинулся на Кнорре и стал требовать у него своих денег. Кнорре не робел: оскорбленный этой недоверчиво-

стью, он объявил, что у него денег никаких нет, ибо он действительно не давал Брискорну расписок в получении их.

Брискорн поднял тревогу, обратился к государю и просил, чтоб дело рассмотрели. Кнорре был схвачен и объявил, что сенатор Брискорн употреблял его агентом для лихоимства отдачей денег займы за большие сверхзаконные проценты, и вместо денег представил векселя разных промотавшихся, несостоятельных лиц. Его стали судить, но и господин сенатор был обвинен в ростовщичестве и лихоимстве. Брискорн получил часть своих денег с большим трудом и, войдя в спор с вдовою Струковой, на которую имел претензию для решения дела, женился на ней. Две его дочери замужем за бароном Мейендорфом и за Алексеем Ираклиевичем Левшиным. Брискорн умер около 1824 года, в имение жены своей, которая, говорят, соорудила над его прахом великолепную церковь.

Младший из Брискорнов был Александр Максимович. Он лежал в оспе, когда хотели привить ее великому князю Александру Павловичу. У него взяли из руки материю для

прививки, и, когда великий князь благополучно перенес болезнь (тогда была оспа не коровья, а натуральная: ужасная, смертельная), мальчика записали в Инженерный корпус, хотя он был и не фон. Он подружился с дядюшкой Александром Яковлевичем Фрейгольдом и был у нас вхож в доме. Он был в молодости человек умный, приятный, хороший актер, большой забавник. Это было в 1795–1800 годах. Потом видел я его в 1804 году у Федора Максимовича Брискорна; живя несколько лет, по службе, в Риге, он онемечился, толковал о немецкой литературе, о Шиллере, о Гёте и т. п. Потом стал он придерживаться чарочки и в то же время обратился в гернгутеры, вышел в отставку и поселился в доме, купленном им у шурина своего, Шауфуса, на Выборгской стороне, подле Сампсониевского кладбища. Шауфус выпросил себе это место по упразднении кладбища.

Однажды (в 1822 г.) пошел я из любопытства в Мальтийскую католическую церковь на проповедь славившегося тогда пастора Линдля. Вижу, сидит старичок в запачканном сюртуке, с грязной в руках военной фуражкой

и внимательно слушает проповедь. Лицо что-то знакомое.

Нет! Не может быть; это какой-то красноносый пьяница, а Брискорн был молодец, даже фронт. При выходе из церкви он подошел ко мне и сказал: «Так-то узнают старых приятелей!» Боже мой! Это действительно был Александр Максимович. О дальнейших его похождениях, имевших косвенное влияние и на мою участь, расскажу в своем месте.

Написав столько страниц о братьях Брискорн, упомяну для полноты и о сестрах. Катерина Максимовна Фрейганг, скончавшаяся в 1850 году, лет девяноста от роду, мать оригинального поколения. Муж ее, сын знаменитого колбасника, учился медицине в Германии и был лейб-медиком императора Павла, в бытность его великим князем, но, к счастью России, за несколько времени до вступления его на престол, поссорился с ним и был выгнан. Он умер в 1814 г., пользуясь славой хорошего и ученого медика. Я сказал: «К счастью России». Действительно, если б он остался в милости у Павла, все эти Фрейганги были бы теперь министрами и т. п.

Софья Максимовна была жена академика Келера, славного антиквария и тяжелого педанта. Мария Максимовна Леман — жена бывшего управителя или камердинера князя Потемкина. Анна Максимовна Шауфус милая и любезная дама. Муж ее был неглупый, но беспокойный немец. Я слышал, что под конец своей жизни она была очень несчастлива.

Суцая живая икра все эти поколения Бри-скорнов, Рашетов, Фрейгангов, разнородные, странные, умные, глупые, добрые, злые!

Полагаю, что эти предварительные сведения о лицах, которые будут встречаться в продолжении моих Записок, совсем нелишние: это счисление действующих лиц драмы, с показанием их характеров и костюма. Действия и речи их впереди.

Глава третья

Обращаюсь вновь к самому себе и напишу несколько воспоминаний о детстве моем, но не в хронологическом порядке, ибо, право, теперь не помню, что прежде чего происходило.

У матушки моей была приятельница Катерина Игнатьевна Кудлай, у которой три сына Николай, Дмитрий и Иван были придворными певчими, а дочь, от первого брака, Аксинья Никитична, замужем за коллежским ассесором Костенским, служившим при Царско-сельской ассигнационной бумажной фабрике. Матушка с нами переселилась на лето в Царское Село и жила у них. Дом, в котором они жили, каменный, в два этажа, на берегу пруда, подле бумажной фабрики, еще существует. В моем романе «Поездка в Германию» описал я чувства, которые волновали меня, когда я, лет через двадцать, вновь вошел в этот дом. В тогдашнее время переселялись на лето в Царское Село из экономии: съестные припасы из царской кухни продавались за бесценок. Батюшка часто навешал нас и ино-

гда приходил из Петербурга пешком, куря неоцененную свою трубку. Я помню это пребывание в Царском Селе, как сквозь сон. Помню устроенную для игры маленьких великих князей беседку, обитую внутри сукном на вате, чтоб дети не могли ушибиться. Не раз играл я там с братом Александром.

Дети Екатерины Игнатъевны всегда были преданы нашему дому и фамилии, как увидите впоследствии. Все они перемерли; не знаю, остались ли у них наследники их имени. Николай Михайлович Кудлай умер в 1823 г., в клинике Медико-Хирургической Академии, от чахотки; Елисавета Павловна Борн, по моей просьбе, снабжала его кушаньем, по близости своего жительства. Дмитрий Михайлович Кудлай в молодости был франтом и чувствительным мечтателем и женился на дочери начальника своего (по бумажной фабрике) Крейтора. Жена его помешалась на святости. Он бывал у меня в 1825 г.; умер, как я слышал, от невоздержания. Иван Михайлович Кудлай был странствующий Жиль Блаз. По выпуске из Певческого корпуса он не хотел нигде служить, а поживальничал в Петербурге, в Цар-

ском Селе, в Павловске, в Петергофе и пр.

С ним сделалось удивительное дело. В детстве у него был необыкновенный дискант; потом пропал, а на двадцатом году возобновился и держался очень долго. Однажды братья долго не видали его после сильной ссоры, причиненной его леностью и распутством. Дмитрий Михайлович, Великим постом, входит в Кабинетскую церковь (в нынешнем Аничковском дворце) и вдруг слышит кант: «Да исправится молитва моя», исполняемый несравненным, чистым, свежим дискантом; протесняется сквозь толпу и видит на клиресе не мальчика, не девицу, а дюжего брата Ивана. Это дарование открывало ему вход повсюду: его кормили, поили, одевали, ласкали... Помнится, он наконец пропал без вести.

Важной эпохой в пробуждении моего ума и воображения было первое посещение театра, в конце 1794 года. Давали на деревянном театре, бывшем на Царицыном лугу, русскую комедию: «Поскорей, пока люди не проведали», и за нею балет: «Арлекин, покровительствуемый феею». Это зрелище произвело на меня сильное действие: возродило в душе мо-

ей мир мечтаний и фантазии. Только при фейерверке, которым оканчивайся балет, я спрятался под скамью ложи. Второй виденной мной пьесой была комедия же: «Честное слово», в которой понравилась мне сцена, как охотник в лесу развязывает узел, стелет на земле салфетку, вынимает нож, вилку и дорожный запас и начинает завтракать. Эту сцену повторял я неоднократно сам. Потом видел я «Начальное представление Олега», великолепную драму, сочиненную Екатериной II, бывал несколько раз в итальянской опере и теперь еще очень хорошо помню певцов Ненчини (друга тетки Булгарина), Мандини, певиц Сапоренти и Гаспарина; помню представление «Севильского цирюльника», с музыкой Панзиелдо, очень помню романс Альмавивы, удержанный и в опере Россини; видел французскую оперетку: «Les deux petits Savoyards», помню арию: «Sachez, que Jeannette». Все это питало мое воображение, переселяло меня в мир чудесный, небывалый и возбуждало любовь и страсть к музыке и литературе.

К упомянутым выше книгам, занимавшим

меня в детстве, должен с благодарностью прибавить «Детскую библиотеку Кампе», переведенную Шишковым: я выучил ее наизусть, но должен сказать, к чести моего детского чутья: я чувствовал неравенство слога в разных ее частях и заключал, что она написана не одним, а многими. Иногда прислушивался я, когда Парадовский, чтец искусный и умный, читал матушке моей поэмы и романы, переведенные на русский язык: «Иосифа Битобе», перевод Фон-Визина, «Бианку Капелло» и повести Мейснера, перевод Подшиваева.

В это время проявилась во мне охота и способность рассказывать и импровизировать. Я имел дар возбуждать внимание сверстников своими рассказами. Об этом узнал я очень поздно. Однажды, в 1814 году, в полной приемной зале военного генерал-губернатора Вязмитинова, рассказывал я о каком-то происшествии тогдашней войны, кажется, об обстоятельствах покорения Парижа. Все слушали меня с напряженным вниманием. По окончании рассказа подошел ко мне один полковник и сказал: «Не знаю, кто вы, но вы

должны быть Николаша Греч: тому назад двадцать лет вы рассказывали точно так». — «А вы — Костенька Васильев», — возразил я ему. Точно, это был Константин ...[6] Васильев, внук Кострецово́й, хозяйки дома у Симиона, где мы жили.

Матушка видела мою внимательность, радовалась ей и всячески старалась удовлетворить моей жажде к дознаниям. Лучше было бы отдать меня в какую-нибудь хорошую школу, например, Петровскую, но это не сбылось. Батюшка, замечая мою охоту к ученью, тоже радовался этому, соглашался, что нужно дать мне надлежащее обучение, но все отлагал до Нового года, до святой, до сентября, опять до Нового года и т. д.

Когда дела отца моего поправились вступлением в службу, жизнь в доме нашем сделалась приятной и веселой. Добрые приятели у нас обедали, играли в карты, танцевали. В числе их не могу пройти молчанием товарища моего отца по службе в Экспедиции казначейства Данилу Ивановича Кюля (Kuhl): он был умный и приятный собеседник и предал в нашем доме имя свое бессмертию тем, что

первый ввел у нас бостон, вместо прежних виста и ломбера. Помню, как пламенно любители карт в то время восхищались новой игрой. Теперь она забыта. Вист, преданный тогда остракизму, опять вступил в свои права и уже вновь трепещет перед преферансом, ерлашем и тому подобными великими изобретениями.

Кюль приводил к нам иногда побочного сына своего Андрея: он был постарше меня, не глуп, но очень резв, ленив и дерзок. Добрумы от него не научились.

Близкими нам приятелями были А. М. Брискорн и Егор Астафьевич Брюммер, друг и товарищ дядюшки Александра Яковлевича Фрейгольда, любимый им, могу сказать, страстно. Я писал выше, каким образом бабушка Христина Михайловна испортила службу и всю судьбу своего сына. Не кончив еще польского похода, в 1794 году, Александр Яковлевич прибыл в Петербург и остановился в доме моего отца, в отдельной квартире, которая принадлежала к нашей. Он занялся мною и стал учить меня тому, что знал сам — арифметике, по старым своим корпусным

тетрадам. Он толковал мне правила математические ясно и основательно. Я учился охотно и с успехом, но не мог пристраститься к точным наукам. Все бы читать что-нибудь и составлять самому. Действительно, у меня занятия сочинениями предупредили грамоту.

Величайшим удовольствием моим было, проснувшись рано утром, рассказывать брату Александру не минувшие, а будущие приключения наши. Мы служили с ним то в статской, то в военной службе, воевали, страдали от ран, получали награды, возвышались чинами; я женился на Анне Ивановне Нордберг, а он на другой красавице, и т. д. Он слушал меня с восторгом и иногда смягчал или усиливал вымышляемые мною удары судьбы, но вообще им покорялся. Он был очень резв и не любил занятий, но слушанье этих сказок его укрощало. Видя, что я расположен сочинять, он вызывал меня словами: "давай говорить", которые впоследствии, от частого употребления, превратились в звуки "дауэги"...

Скудное, одностороннее воспитание, скажете вы, но оно не мешало свободному развитию понятий, не стесняло их формами.

Неужели полезнее было бы склонять mensa, mensae?

Не должно, однако, думать, чтобы Александр Яковлевич Фрейгольд был только сухой математик: нет, он любил чтение книг и сам писал очень умно, хотя и не совсем правильно. Если б он получил порядочное, классическое образование, то непременно сделался бы хорошим литератором. Он писал и стихи в шуточном и сатирическом роде, но они оставались в тесном кругу его друзей. Однажды, при возвращении друга его Брюммера из какой-то командировки, прождав его целый день, он вышел из терпения и написал экспромт на рябого своего друга:

*Скверна Брюммерова рожка,
Никуда она не гожа,
Словно, словно как рогожа
И на дьявола похожа.
Вся источена червями
Иль царапана ногтями;
Сердась морщит он бровями,
Что изрыт он так свиньями.
Это шутка, всеконечно,
Ты, приятель, это знай,
И от любящих сердечно*

*Ты хвалу днесь принимай.
Хоть наружностью ты скверен,
Но душа в тебе добра;
Ты друзьям своим всем верен,
Никому не сделал зла.
Чти, приятель, добродетель
Так, как должно ее чтить:
Добрых дел твоих свидетель
Не оставит наградить.*

Стихи эти теперь кажутся очень плохими; они и тогда были не слишком хороши, но я не мог не привести их: всякая строчка, всякое слово, напоминающие мне о благородном, незабвенном Александре Яковлевиче, для меня неоцененны. Жаль, что я не помню стихов его на курьезную коллекцию бывшего впоследствии отчимом его, Ивана Егоровича Фока:

*Как комодик свой откроет
И бумажки все разроет,
Сколько, сколько там вещей,
Молотков разных, клещей.
Там старинные антики,
Хоть ценою не велики, и т. д.*

«Подумаешь и посравнишь век нынешний

и век минувший! Свежо предание, а верится с трудом». Ныне не поверят, как отправлялась военная служба «в тот громкий славою Екатеринин век!».

Александр Яковлевич Фрейгольд раза два в месяц ходил в караул, на арсенальную гауптвахту. Этот день был для нас, детей, праздником. Утром дядюшка надевал мундир, красный с черными бархатными отворотами, и отправлялся на службу. Обеденное кушанье вносили к нему на гауптвахту, а после обеда вся фамилия с гостями, какие случались, отправлялась к нему на вечер. Он принимал гостей в утреннем сюртуке, похожем на халат, в красных сафьянных сапогах. Раскрывались ломберные столы, и бостон вступал в свои права. Николай Михайлович Кудлай приносил скрипку и играл в антрактах; братья его пели стихи Державина на свадьбу великого князя Александра Павловича: «Амуру вздумалось Психею резвясь поймать», и пр.

За круглым столом маменька разливала чай, а мы бегали по комнате и резвились. В девятом часу являлся сержант, рапортовал,

что все обстоит благополучно, и получал приказание бить зорю. Часу в одиннадцатом подавали холодный ужин, потом гости расходились, и денщик стлал постель караульному офицеру.

Солдатами помыкали офицеры, как крепостными людьми, и наряжали их в частную службу. У нас случилась покража. Что ж? В продолжение целой зимы из роты Александра Яковлевича наряжали к нам на каждую ночь двоих часовых. Солдаты были очень рады этой службе: их кормили и поили вдоволь и, под предлогом охранения дома, они спали преспокойно всю ночь. Нам, детям, этот постой был очень приятен: мы заставляли солдат рассказывать о походах и слушали их со вниманием и восторгом. В числе их случались и барабанщики: от них мы выучились мастерски бить в барабан, и я однажды изумил до чрезвычайности детей моих, ударив дробь на барабане с большим искусством. Они не подозревали во мне этого военного художества и не так бы удивились, если б я заговорил по-китайски.

Дома для нас праздничным днем была се-

реда. И почему? Батюшка в этот день обыкновенно обедал не дома, а у некоей мадам Михельц, богатой, умной, образованной вдовы немецкого купца, жившей в довольстве и добре на Невском проспекте, в доме Петровской церкви. Она собирала у себя по средам хорошую компанию, преимущественно мужчин, потчивала их хорошим обедом и находила удовольствие в их беседе. Все старались ей угождать, прислушивались к ее желаниям и т. п., особенно по той причине, что она, не имея ни детей, ни других родственников, давала знать, что раздаст после смерти свое имение своим приятелям и знакомым. Она скончалась в исходе девяностых годов, распределив действительно всем своим середовым гостям имение свое по равной части, так что каждому досталось понемногу. Наследство разделили не вскоре после смерти, потому что нужно было списываться с чужими краями. Доля моего отца была ему выплачена в 1802 г., когда он был в крайности, и это обрадовало матушку и всех нас.

Нрав моего отца был так неровен, что мы считали тот день счастливым, когда обедали

без него. Матушка была строже его, но она была справедлива и всегда одна и та же: мы и любили ее больше, и боялись. Его же только опасались.

На восьмом году от рождения испытал я первое сильное горе: в феврале 1795 года умер брат мой Павел, на пятом году жизни, — как полагают, вследствие застуды бывшей на нем оспы. Все мы были до крайности огорчены потерей. До сих пор не могу я сносить запаху мускуса, которым пахло последнее данное ему лекарство. В искренней печали моей я написал на этот случай стихи, без меры, без грамматического толку, но с рифмами и — с чувством, которое глубоко тронуло матушку... Не понимаю, как отец мой не употребил всех средств, чтоб дать мне воспитание литературное. Меня все в доме звали профессором, но отнюдь не в похвалу, а в насмешку, разумея под этими словами тяжелого педанта, горбатого и безобразного.

Некоторые тогдашние связи и примеры имели неблагоприятное влияние на нравственность нашу. У сестры Кати была няня, офицерская вдова, обедавшая с нами за сто-

лом, Пелагея Тихоновна Верещагина. С нею жил у нас и сын ее, детина лет двадцати, служивший в Экспедиции о доходах, человек очень шаткой нравственности и вредный своим образом жизни. Еще невыгодно было для нас обращение с негодным мальчишкой, сыном жившего в одном с нами доме булочника. Впрочем, трудно уберечь мальчиков от дурных знакомств, да и, может быть, было бы бесполезно: обращение с людьми разных характеров заставляет узнавать людей и развивает понятие об общежитии. Люди, которые обходятся только с честными и благородными людьми, становятся односторонними и привыкают считать всех людей или ангелами или чертями.

Рассудок и память моя укреплялись. Очень памятен мне 1796 год. У отца моего был близкий приятель, инженер-полковник Самуил Иванович Крейц, родом голландец, поступивший в русскую службу с Сухтеленем, де Волантом, де Виттом и другими нидерландскими инженерами, человек очень умный и образованный. Он был вдов, имел одного сына, большого болвана, и намерен был жениться

на тетушке Елене Ивановне. Вдруг, в марте 1796 г., он заболел и неожиданно умер. Опекун над ним вверили моему отцу, который оттого имел много забот и досад. По этому случаю мы, т. е. я и брат Александр, ездили с ним в Царское Село, к генералу Сухтелену, который жил в Софии, в доме, занимаемом потом Александровским кадетским корпусом. У Сухтелена видел я Баркляя-де-Толли, бывшего, помнится, в то время подполковником; он произвел сильное во мне впечатление строгой и умной своей физиономией и Георгиевским крестом, который я увидел на нем в первый раз в жизни. Гуляя по саду, встретились мы с прогуливающейся императрицей. Ее вел под руку какой-то генерал. Великие князья, Александр и Константин, шли подле нее. За ними шла толпа придворных и народа. Музыка играла польский. Зрелище это затаилось в моей памяти вместе с сопровождавшими его звуками. Лет через двадцать И. К. Борн заиграл этот польский (Козловского, из оперы «Adele et Dorsan»), и знакомые тоны вызвали из глубины души моей зрелище, виденное мною в детстве.

25 мая 1796 года все наше семейство отправилось на острова. Помню Каменный остров с каменной тоней, сад Строганова... Мы прошли на Черную речку. Ныне там ряд великолепных и изящных домов. Тогда это была простая деревня, к тому же еще до половины выгоревшая. Мы расположились в одном крестьянском доме, чтоб напиться чаю. Хозяйка предложила отдать его нам внаймы. «А что цена?» — спросил батюшка. — «Двадцать пять рублей, сударь, ни копейки менее», — отвечала она. Ей дали в задаток пять рублей, и через неделю мы переехали. Кроме нас, никого не жило в деревне. Все помещались в одной избе. Кухня устроена была на берегу в яме, обведенной рогожами на шестах. Скучно, бедно, неловко, а весело. Этот год кажется мне самым счастливым в моем детстве.

Дядюшка Александр Яковлевич приезжал к нам частенько и привозил других гостей. Мы ходили гулять по окрестностям, катались на яликах, причем я выучился мастерски действовать веслом. В воскресенье бывала музыка в саду Строганова. Туда стекалась многочисленная публика. Сам старик, граф Алек-

сандр Сергеевич Строганов, сидел со своей компанией на крыльце и любовался картиною движущегося народа. Батюшка служил секретарем департамента, в котором он, Строганов, был сенатором, следовательно, был ему знаком; к тому же он пользовался большим с его стороны благоволением. Граф крестил сестру Лизу и брата Павла (меньшого). Граф жаловался однажды, что ни один из посетителей не вздумает пить чай на пригорке, за озером, перед его домом. Батюшка сделал ему это удовольствие: в одно воскресенье принесли туда столик, самовар и чайный прибор, и мы расположились на пригорке.

В саду не было ни кофейни, ни трактира. Графские люди продавали все съестное и питьевое, и очень дешево, потому что запасались провизиею из графских кладовых. В одной стороне сада устроена была галерея для танцев; в ней играла музыка. Вокруг нее разбиты были палатки, в которых можно было иметь кушанье и напитки. Раз проходили мы мимо графа, сидевшего на крыльце.

— Что твои немцы, — спросил он у батюшки, — веселятся ли?

— Нет, ваше сиятельство, ждут вас, чтоб открыть бал.

И почтенный старичок сам отравился в галерею, велел играть польский и, подняв первую немку, пошел танцевать с нею. За ним последовали прочие, и бал закипел.

В последние годы жизни Екатерины уже не было тех празднеств, турниров и т. п., которыми блистали первые годы, когда все еще веселье было большое и искреннее. Однажды государыня приказала князю Зубову привести к ней графа Строганова. Он отправился на большом катере с пушками, атаковал его дачу, сделал десант. Граф отпаливался своими пушками, наконец спустил флаг, был взят в плен и отвезен во дворец. Строганов, Нарышкин и т. д. были представителями забав аристократии благородной и чувствующей свое достоинство. Но Безбородки, Завадовские, Храповицкие и прочие выскочки тешились не самым приличным образом.

Безбородко был то же, что ныне бык Вронченко, только в большем размере. Каждую субботу после обеда надевал он синий сюртук, круглую шляпу, брал трость с золотым

набалдашником и клал сто рублей в карман. Вооруженный таким образом, посещал он самые неблагопристойные дома. Зимой по воскресеньям бывал он всегда в маскарадах у Лиона (в нынешнем Энгельгардтовом доме, где магазин русских изделий) и проводил время среди прелестниц часов до пяти утра. В восемь часов его будили, окачивали холодной водой, одевали, причесывали, и полусонный он ездил во дворец с докладом, но, перед входом в кабинет государыни, стряхивал с себя ветхого человека и становился умным, серьезным, дельным министром. Однажды государыня прислала за ним из Царского Села. Гонец застал его среди пламенной оргии. Безбородко приказал пустить себе кровь из обеих рук, протрезвился и отправился. Государыня спросила у него: готова ли такая-то бумага?

— Готова, ваше величество, — отвечал он и, вынув из-за пазухи другую какую-то бумагу, прочитал чего требовала государыня.

— Хорошо, — сказала она, — только мне хотелось бы пройти самой эту бумагу с пером. Подай ее!

Он упал на колени и признался в обмане. Наконец государыне надоела эта гениальная распущенность, и она очень деликатно дала графу Безбородко почувствовать, что он стареет, что ему трудно рано вставать, и просила его присылать к ней, вместо себя, кого-нибудь из своих секретарей. Граф выбрал коллежского советника Дмитрия Прокофьевича Троцинского. Он ездил с докладами к государыне и вскоре заслужил се благоволение. Она пожаловала ему (в этом чине) второго Владимира под предлогом, что не привыкла работать с секретарем без звезды, и потом, узнав, что он небогат, пожаловала ему три тысячи душ. Троцинский был человек умный, сметливый, трудолюбивый и очень добрый. Наружность его была самая приятная. Он сгубил себя связью с какой-то гадкой бабой, известной под именем Матрешки, на которой впоследствии женился. Тогдашние министры были не ангелы: высокомерны, не очень доступны, иногда пристрастны, но в них было более добродушия и простоты, более человеколюбия и снисхождения к слабостям людским. В то время не было этих монархических Робес-

пьеров, которые готовы, на основании законов, казнить отца родного, только бы не прослыть человеком слабым и подкупным. Они хотят быть справедливыми, но справедлив один Бог, а мы, люди, должны быть терпеливы и снисходительны.

Другие новоиспеченные вельможи были таковы же: Завадовский был пьяница и умер (в янв. 1812), вспомнив старинку, как говорили, с старым другом своим, князем Лопухиным. Храповицкий, человек большого ума и дарований, был большой гуляка. Однажды приехал в Петербург какой-то степняк по делам своим и, имея письмо к Храповицкому от одного важного человека в провинции, отправился к нему, но не застал дома. Оттуда поехал он на Крестовский остров, вошел в трактир и, видя накрытый стол, сел и велел подавать обедать. Прислужник, полагая, что он принадлежит к компании, заказавшей обед, исполнил его требование. В это время вошла эта компания и расположилась за столом. Один из ее членов, увидев чужого и заметив по его приемам, что он приезжий провинциал, стал над ним подтрунивать. Стран-

ник сначала отшучивался, но потом, когда нападения усилились, стал браниться, а, наконец, отвечал за дерзость пощечиной. Завязалась драка, из которой степной герой вышел победителем, оставив под глазами краснорожих своих супостатов багровые следы своей храбрости. Выспавшись на другой день, он поспешил пораньше отправиться к Храповицкому. «Барин дома, — сказали ему, — но не очень здоров и никого не принимает». Приезжий приказал, однако, доложить о себе и сказать, что привез письмо от такого лица, которому Храповицкий ни в чем не откажет. Он был принят. Его ввели в спальню, завешенную со всех сторон. Приблизившись к постели, он с низким поклоном отдал письмо и прибавил комплимент от себя, но, лишь только раздались звуки его голоса, Храповицкий сказал ему:

— Ваш голос мне что-то знаком. Я вас видел, а где не помню.

— Быть не может, — отвечал тот, — чтоб я имел это счастье. Я только вчера приехал в Петербург.

— Нет, точно я вас знаю, — сказал Храпо-

вицкий и велел поднять штору.

Степняк взглянул на него и обмер: это был тот самый человек, которого он приколотил накануне. Храповицкий, позабавившись его смущением, подал ему руку и сказал: «Ну полно, помирися. Сделаю для вас что могу, а кто старое помянет, тому глаз вон». Он не только сделал все что мог для посетителя, но и принимал его с тех пор как друга...

Все это рассказываю я вам на лугу перед домом графа Строганова. Жизнь на Черной речке до того понравилась всему нашему семейству, что отец мой решился провести там и следующий год: наняли другой, просторный дом с садиком; пристроили к нему галерею; подле соорудили кухню и, в ожидании будущих благ, отправились осенью в город...

L'homme propose...[7] 6-го ноября скончалась Екатерина, воцарился Павел, и не только наш дом на Черной речке, но и весь Петербург и вся Россия опрокинулись вверх дном. Кроме того, что надлежало быть всегда наготове в городе, нужно было для проезда через воздвигнутые тогда шлагбаумы предъявлять паспорт; впоследствии всяк, кто выезжал за

город, обязан был трижды публиковаться в газетах, как отъезжающий за границу. Это называлось порядком и благоустройством.

Кончиной Екатерины прекратился славный, счастливый век России, но и этот век был не без пятен, не без страданий общих и частных. Главной помехой совершенному успеху царствования Екатерины была несправедливость и противозаконность вступления ее на престол. Венец царский принадлежал ее сыну. Она должна была тяжким трудом, великими услугами и пожертвованиями, действиями, противными ее сердцу и нраву, искупать то, что цари законные имеют без труда. Между тем, может быть, эта самая необходимость и была отчасти пружиной великих и блистательных дел ее. Мне кажется, что она, успев во многом, ошиблась в одном: она жила слишком долго. Умри она по совершении двадцатипятилетия царствования ее, в начале 1787 года, тогда не имели бы мы второй войны турецкой, войны шведской, может быть, не последовало бы окончательного раздела Польши, вредного и пагубного для России. Сын ее вступил бы на престол не

на 43-м, а на 32-м году от рождения, еще не совершенно раздраженный и выведенный из терпения ее любимцами... Но — судьбы Божие неисповедимы[8].

Не хочу писать здесь историю Екатерины, упомяну о некоторых чертах ее жизни и характера, не всем известных. Царствование ее было не только славное и громкое; оно было вполне народное. Немецкая принцесса... Позвольте здесь ввести достойный внимания эпизод.

Эта немецкая принцесса происходила от русской крови. Отец ее, принц Ангальт-Цербстский, был комендантом в Штеттине (как впоследствии и отец Марии Федоровны) и жил с женой в разладе. Она (урожденная принцесса Гольштинская) проводила большую часть времени за границею, в забавах и в развлечениях всякого рода. Во время пребывания ее в Париже, в 1728 году, сделался ей известным молодой человек, бывший при русском посольстве, Иван Иванович Бецкий, сын пленника в Швеции князя Трубецкого, прекрасный собой, умный, образованный. Вскоре по принятии его в число гостей княги-

ни Ангальт-Цербстской, она отправилась к своему мужу в Штеттин и там, 21 апреля 1729 года, разрешилась от бремени принцессой Софиею Августой: в святом крещении Екатерина Алексеевна. Связь Бецкого с княгинею Ангальт-Цербстской была всем известна.

Екатерина II была очень похожа лицом на Бецкого (ссылаюсь на прекрасный его портрет, выгравированный Радигом). Государыня обращалась с ним как с отцом, поручила ему все благотворительные и воспитательные заведения. Он основал воспитательные дома, Смольный монастырь, был президентом Академии художеств и т. п. Воспитанницы первых выпусков Смольного монастыря, набитые ученостью, вовсе не знали света и забавляли публику своими наивностями, спрашивая, например: где то дерево, на котором растет белый хлеб? По этому случаю сочинены были к портрету Бецкого вирши:

*Иван Иваныч Бецкий
Человек немецкий,
Носил мундир шведский,
Воспитатель детский,
В двенадцать лет*

*Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур.*

Известно, что он дожил до глубокой старости. Екатерина была при нем в последние минуты его жизни.

Продолжаю: немецкая принцесса, прибывши в Россию, вела жизнь незавидную, но умела победить все препятствия. Граф Николай Петрович Румянцев, бывший при ней статс-секретарем и докладывавший ежедневно по делам иностранной политики, рассказал мне о ней следующий анекдот.

«Дивятся все, — сказала она однажды, — каким образом я, бедная немецкая принцесса, так скоро обрусела и приобрела внимание и доверенность русских. Приписывают это глубокому уму и долгому изучению моего положения. Совсем нет! Я этим обязана русским старушкам. Не поверишь, Николай Петрович, какое влияние они имеют при всяком дворе. Я приехала в Россию, страну мне вовсе неизвестную, не зная, что меня там ожидает. Муж мой не терпел меня и сам не мог внушить мне ни любви, ни уважения. Тетка, Елисавета

Петровна, обходилась довольно ласково, но чуждалась сблизиться со мной и мало мне доверяла. Все глядели на меня с досадой и даже с презрением. Дочь прусского генерал-майора собирается быть российской императрицею.

Однажды, в большом доме, в многолюдном обществе, когда речь зашла обо мне, стали меня осмеивать, унижать, только что не бранить. Вдруг бабушка хозяина, современница Петра Великого, за меня вступилась, стала уверять, что при дворе еще не бывало подобной мне принцессы и что я предназначена судьбой составить счастье и славу России. Все приутихли, все безусловно согласилось со старушкой, и с тех пор ни одно оскорбительное слово не было произнесено на мой счет в этом доме. Я заметила это обстоятельство и вознамерилась им воспользоваться. И в торжественных собраниях, и на простых сходбищах и вечеринках я подходила к старушкам, садилась подле них, спрашивала о их здоровье, советовала, какие употреблять им средства в случае болезни, терпеливо слушала бесконечные их рассказы о их юных летах, о нынешней скуке, о ветрености молодых лю-

дей; сама спрашивала их совета в разных делах и потом искренно их благодарила. Я знала, как зовут их мосек, болонок, попугаев, дур; знала, когда которая из этих барынь именница. В этот день являлся к ней мой камердинер, поздравлял ее от моего имени и подносил цветы и плоды из ораниенбаумских оранжерей. Не прошло двух лет, как самая жаркая хвала моему уму и сердцу послышалась со всех сторон и разнеслась по всей России. Самым простым и невинным образом составила я себе громкую славу и, когда зашла речь о занятии русского престола, очутилось на моей стороне значительное большинство».

В другой раз, говорил Николай Петрович, государыня, подписав, в веселом расположении духа, несколько поднесенных ей бумаг, одну за другой, спросила у него:

— Как ты думаешь, Николай Петрович, трудное ли дело управлять людьми?

— Думаю, государыня, что труднее этого дела нет на свете.

— И! пустое, — возразила она, — для этого нужно наблюдать два-три правила, не боль-

ше.

— Согласен, ваше величество, но эти правила составляют достояние и тайну великих и гениальных людей.

— Нимало. Эти правила довольно известны. Хочешь ли, я сообщу их тебе?

— Как не хотеть, ваше величество!

— Слушай же: первое правило — делать так, чтоб люди думали, будто они сами именно хотят этого...

— Довольно, государыня, — сказал тонкий царедворец. — Если сумею употребить это правило на деле, мне прочие уже не нужны.

И действительно, Екатерина умела употреблять это правило в совершенстве. Вся Россия уверена была, что императрица, во всех своих делах, только исполняет желание народа.

Сообщу еще два истинные случая из ее царствования.

В девяностых годах произошла в одном петербургском трактире драка между армейскими офицерами и мастерами, причем несколько последних были изувечены и один убит. Произвели следствие и суд. По мнению

всех инстанций, трое из подсудимых были виноваты кругом, а один в меньшей степени. На докладе Сената государыня смягчила наказание, к которому присуждены были трое первых, но приговор над последним приказала исполнить. Генерал-прокурор, полагая, что эта резолюция положена по ошибке, доложил о том государыне и получил в ответ: «Нет, я не ошиблась. Трое не так виновны, а последний злодей». Его сослали в Сибирь. Лет через двадцать обратился он к императору Александру Павловичу с просьбой о облегчении судьбы его. Дело пересмотрели в Совете, донесли государю, что люди, более виновные, давно получили прошение, и испрашивали помилования остальному. Государь согласился. Помилованный прибыл в Петербург и с жаром благодарил государственного секретаря А. Н. Оленина за его предстательство. И что же! Через полгода он оказался сущим извергом и опять был сослан в Сибирь. Екатерина, из производства дела, увидела, что трое виновников поступали в жару гнева и страсти, а этот действовал хладнокровно. Это ускользнуло из виду всех следователей и судей.

Теперь другой анекдот. Один повытчик 1-го департамента Сената, запечатывая и надписывая пакеты с высочайшими подписными указами, рвал в то же время негодные бумаги и в рассеянности разорвал один подписной указ. Это считалось в то время преступлением уголовным и государственным. Что ж! Он переписал изорванный указ вновь, нанял извозчика, отправился в Царское Село и остановился в аллее, по которой государыня обыкновенно гуляла по вечерам. Завидев ее, он бросился на колени и вскричал:

— Матушка государыня! Спасите меня!

Она подошла к нему и выслушала рассказ о его несчастии.

— Вот, ваше величество, — сказал он, — изорванный указ, а вот и вновь переписанный. Потрудитесь подписать, а то обер-секретарь меня сгубит.

— Да как и чем подписать? — спросила она в недоумении.

— Вот перо и чернила, — сказал он, вынимая склянку, — вот на этой скамейке.

Государыня исполнила его просьбу. Он поцеловал полу ее платья и ударился бежать к

своему извозчику.

Через несколько дней, при докладе генерал-прокурора кн. Вяземского, Екатерина спросила у него:

— Есть ли в канцелярии 1-го департамента чиновник такой-то?

— Есть, ваше величество.

— Что он за человек?

— Честный и прилежный, но как он сдѣлался известным вашему величеству?

Она рассказала о случившемся.

— Ах, он негодяй, дерзкий! — закричал князь. — Да как он смел! Вот я его!

— Не горячись, — возразила Екатерина, — и не делай ему ничего; не показывай даже, что знаешь об этом. Ты не поверишь, как меня порадовала и утешила доверенность этого человека: он трепетал перед обер-секретарем, а на меня надеялся! Любовь и доверие народа мне всего дороже!

Большой помехой славе Екатерины и совершению ее великих планов была любовь ее к красивым мужчинам.

Карл Массон («Memoires secrets sur la Russie») сохранил нам имена этих баловней

счастья. Теперь это кажется безнравственным и едва возможным, а тогда находили такой образ жизни весьма обыкновенным и не требующим извинения. Притом, Екатерина умела и слабости свои облекать изяществом и величием. Не менее того Россия страдала от ее фаворитов и еще более от тех людей, которых вывели эти фавориты. По артиллерии, например, был у князя Зубова правитель канцелярии Овечкин, который делал величайшие несправедливости и мерзости. Особенно теснил он заведовавшего постройками по артиллерийскому ведомству вотчима матушкина, Ивана Егоровича Фока, который был человек не дальний, но честный и бескорыстный. При вступлении на престол Павла, Овечкин был предан суду за разные злоупотребления, и Фок был в числе членов комиссии, судившей его. Узнав об этом назначении, Овечкин сказал: «Члены комиссии были мной облагодетельствованы, но они подлецы, и я от них ничего не ожидаю. Ивана Егоровича я обижал, но он человек благородный: на него вся моя надежда». И действительно, он употреблял все средства, чтоб спасти прежнего сво-

его гонителя, но это было невозможно: злоупотребления были слишком велики и очевидны, да и свыше велено было осудить. Овечкина разжаловали в солдаты. Многие другие подобные злоупотребители власти были изобличены и наказаны, но самые хитрые уцелели и еще усилились.

Последний день царствования Екатерины и первый царствования Павла. Я помню этот день очень хорошо. Батюшка приехал, по обыкновению, из Сената к обеду часу в третьем и, вошедши в гостиную, где были матушка и все домашние, сказал с поклоном:

— Поздравляю с новым императором Павлом. Государыня скончалась.

Все изумились и начали расспрашивать, как это было.

Я бросился в детскую и сообщил весть эту Пелагее Тихоновне.

— И, батенька, Николай Иванович, — отвечала она, — с утра знаем, да боимся говорить. Ведь и фалеторы приутихли.

— А нужно знать, что в те времена мальчишки-форейторы кричали «пади» с громким продолжительным визгом и старались выка-

зять этим свое молодечество. С этого дня они утихли, и варварская мода более не возобновлялась.

Батюшка рассказывал о присяге в Сенате и о глубокой печали, в которую погружены были сенаторы граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Александрович Соймонов. «Нельзя было удержаться от слез, — говорил он, — видя искреннюю горесть этих почтенных людей. Признаюсь, я старался сдерживать свои чувства, чтоб их не приписали лицемерию». Эти господа имели повод к слезам. С Екатериной закатилось для них блистательное и благотворное солнце XVIII века. Наступил век штиблет, кос и т. п. воинских украшений; век безотчетного самовластия, варварства и произвола.

В первые минуты нового царствования заговорили было о благих намерениях государя, повторяли его счастливые, утешительные слова; изъявляли надежду, что долговременный опыт и размышление научили его науке царствовать; но вскоре все это исчезло, и истина явилась во всей своей, на этот случай неприятной, наготе.

Дня через три собрались у нас военные, дядюшка Александр Яковлевич Фрейгольд, Шванебах и др. Стали рассказывать о новой военной церемонии, называемой вахтпарадом, о гнусном Аракчееве, о Котлубицком, о Капцевиче, о Куприянове и о других гатчинских уродах, появившихся в свите государя в своих карикатурных прусских костюмах, которые долженствовали сделаться мундирами всей русской армии, смеялись над нелепым «вон» (heraus), которое должно было вытеснить прекрасное русское «к ружью».

Разумеется, к этому примешивали выдумки и пуфы. Вот маленький пример. Все офицеры должны были носить камышовые трости с костяным набалдашником. У дядюшкиной трости отскочила верхняя крышка набалдашника. Он вздумал приклеить ее сургучом.

Вдруг входит к нему немецкий педант, инженер-майор Зеге-фон-Лауренберг, и спрашивает, не новая ли эта форма. «Точно, — отвечал дядюшка, — вышел приказ, сняв верхушки с набалдашников, наполнить пустоту их сургучом и сверху отпечатать на нем свой герб, и когда, при представлении государю

или другому начальнику, он спросит у офицера: из дворян ли вы, — следует, не говоря ни слова, поднять трость и показать свой герб».

И этому верили! Естественно верили потому, что иные действительные предписания были еще нелепее этого. Помню, какое сильное действие произведено было в военной публике арестованием двух офицеров за какую-то неисправность во фронте. Дотоле подвергались аресту только отъявленные негодяи и преступники закона. Арестованные были в отчаянии и хотели застрелиться со стыда. Для них арест был то же, как если б ныне раздели офицера перед фронтом и высекли. Эти нелепости и оскорбления в безделицах заглушили и действительное добро нового царствования.

Приведу пример материальный. В арсеналах стоят еще, вероятно, громоздкие пушки Екатерининских времен на уродливых красных лафетах. При самом начале царствования Павла и пушки, и лафеты получили новую форму, сделались легче и поворотливее прежних. Старые артиллеристы, в том числе люди умные и сведущие в своем деле, возопи-

ли против нововведения. Как-де отменять пушки, которыми громили врагов на берегах Кагула и Рымника! Это-де святотатство. Самый громкий ропот, смешанный с презрительным смехом, раздался, когда вздумали стрелять из пушек в цель! Этого-де не видано и не слыхано! Между тем это было первым шагом к преобразованию и усовершенствованию нашей артиллерии, перед которой пушки времен очаковских и покоренья Крыма ничтожны и бессильны.

Скажу несколько слов об императоре Павле. Злоба и ненависть, возбужденные не столько несправедливостью его, сколько мелкими притеснениями и требованиями, преследуют его и за гробом и заставляют выдумывать на него всякие нелепости. Так, например, вздумали утверждать, что он не сын Екатерины, а подкидыш. Неправедливость этого можно доказать физическими доводами. Все согласны в том, что граф Бобринский был действительно сын Екатерины. Подите к графу Алексею Алексеевичу Бобринскому и посмотрите на портрет его отца. Вылитый Павел Первый. Еще одно доказательство, также

с левой стороны: у Бобринского был побочный сын, по прозвищу Райко — он разительно похож на императора Александра, и это неудивительно: он ему двоюродный брат.

Нелюбовь Екатерины к Павлу отнюдь не доказывает, чтоб он был не сын ей. Я уже говорил выше о замеченной мной нелюбви матерей к детям, которые своим существованием напоминают им утехи юных лет.

Итак, по батюшке Павел не Петрович, ибо известно, что Петр III был, что называется в просторечии «курея», неспособный к сожитию или по крайней мере к произведению плода, хотя он впоследствии и имел любовниц. Екатерина, сделавшись великой княгиней, долго была на деле княжной. Массой говорит, что первым, по времени, другом ее сердца был Сергей Салтыков и что Павел был его сын. Может статья. Салтыков удален был от двора еще при Елисавете Петровне и жил в своих деревнях до кончины своей, последовавшей в 1807 году. Я знал племянника его Сергея Васильевича Салтыкова, человека богатого и доброго, большого библиомана — он проводил целое утро в книжном магазине

Сен-Флорана и Беллизара, надоедая и хозяевам и покупателям своею болтовней, который наследовал имение своего дяди. Дочь его пожалована была во фрейлины в 1826 году, и когда явилась, во время коронации Николая Павловича в Москве, на бал, обратила на себя общее внимание медалионом, в котором вделана была редкая и известная по истории искусства камья, исчезнувшая из придворной коллекции в сороковых годах XVIII века: она досталась ей от покойного дяди. Как она ему досталась, догадаться не трудно.

Павел I был воспитан рачительно, под попечительством графа Н. И. Панина: это видим из любопытных «Записок Порошина», но из этого же источника явствует, что нравственная сторона была пренебрежена совершенно: одиннадцатилетнего отрока поощряли к страсти его к фрейлине Чоглоковой. Хорошо ли это? Из тех же записок видно доброе сердце Павла, виден ум его и способности, но в то же время проглядывает нрав его, горячий, вспыльчивый, упрямый, вздорный. И этого человека лишили принадлежавшего ему трона; до сорокалетнего возраста держали его в

удалении и взаперти; детей отнимали у него вскоре по рождении их и воспитывали отдельно. Сама Екатерина осмеяла его страсть к вахтпарадной службе в комедии «Горе-богатырь». Удивительно ли, что он сделался таким, как был. Должно еще благодарить Бога, что он не был хуже.

Сообщу историю двух супружеств его, подчерпнутую мной из достоверного источника. В 1765 году приезжал в Россию посол датского двора, барон Ашац-фон-Ассебург, прусский подданный, для решения дела о наследстве голштинском, которое принадлежало Павлу I. Известно, что это дело кончено было к обоюдному удовольствию трактатом между Россией и Данией в 1773 году. Ассебург воротился в Данию еще ранее этого времени, нашел там владычество временщика Струэнзее, не согласился ему повиноваться, вышел из датской службы и поселился в своем родовом поместье. Екатерина, заметившая ум и способности Ассебурга в производстве дела о Гольштинии, велела узнать, не желает ли он вступить в ее службу, и когда он с радостью принял это предложение, она объявила, что жалует ему

чин тайного советника и назначает соответственное с тем содержание, но желает, чтоб это поступление его в русскую службу оставалось до времени в секрете. В то же время поручила она ему предпринять путешествие по Германии, высмотреть тамошние дворы и найти невесту великому князю. Ассебург принял и исполнил это поручение.

Через несколько времени донес он государыне, что из всех немецких принцесс нашел он достойными сего избрания только трех сестер принцесс Гессен-Дармштадтских, особенно среднюю из них. Между тем изъявил он сожаление, что государыня торопится бракосочетанием сына: в Штеттине видел он дочь тамошнего коменданта, герцога Виртембергского, Софию, которая красотой, умом и образованием достойна была бы этого сана, но она слишком молода: ей только четырнадцатый год от роду. По донесению Ассебурга, три Дармштадтские принцессы были приглашены приехать в Петербург, и одна из них, под именем Наталии Алексеевны, сделалась великой княгиней. Брак совершен был с торжеством невиданным и неслыханным, но он не

был счастлив; великая княгиня скончалась в родах. Носятся темные слухи о том, будто Екатерина извела ее из ревности и боясь ее ума и характера, будто великая княгиня была в преступных связях с камергером великого князя графом (впоследствии князь) Андреем Кирилловичем Разумовским. Не знаю, есть ли основание этим преданиям, и думаю, что они приближаются к тем выдумкам, которые возникают при кончине всякой высокой особы.

Павел был неутешен, и Екатерина решилась скорее женить его вторично. Вспомнив о принцессе Софии, проживавшей в Штеттине, она отнеслась прямо к другу и союзнику своему, Фридриху II, с просьбой совета и содействия.

Он дал, в Сан-Суси, под каким-то предлогом, придворный бал, на котором раз в жизни был в башмаках, и пригласил штеттинского коменданта с женой и дочерью, которая между тем помолвлена была с принцем Гесен-Дармштадтским. На бале беседовал он долго с принцессой, потом поговорил с принцем и, обратившись к одному из своих генералов, сказал: «Малый глуп; она должна стать

русской императрицей». Говорят, что принц, услышав это решение, горько разревелся.

Фридрих написал государыне, что невеста достойна ее сына, и просил прислать к нему молодого человека. Екатерина отправила цесаревича в Берлин с многочисленной и блистательной свитой. Первым его ассистентом был Румянцев, увенчанный свежими лаврами турецкой войны. Фридрих принял Павла с большим уважением и в честь фельдмаршала представил в маневрах кагульскую битву. В Румянцевском музее есть картина, представляющая эти маневры. Фридрих II в синем прусском мундире, с Андреевской лентой, великий князь в белом мундире генерал-адмирала и в ленте Черного Орла, а Румянцев в тогдашнем артиллерийском мундире, красном с черным воротником и лацканами; все они изображены верхом. Эти маневры знаменуют начало незавидного для России периода. Павел пристрастился там не к гению Фридриха, не к победам и славе его, а к фрунту, к косам, к пуклям, ботфортам и прочим мелочам военной или штаблетной службы, и в этом остался не без преемников.

В начале 1816 года нынешний король Виртембергский, бывший тогда кронпринцем и женихом великой княжны Екатерины Павловны, обедал с императорской фамилиею. Речь зашла о Фридрихе II, все наперерыв хвалили и превозносили его. Кронпринц вообще соглашался, но прибавил: «Жаль только, что он слишком был пристрастен к пустякам солдатской формы. От этого все последовавшие государи сделались капралами!» Эти слова произвели самое неприятное действие. Александр I не показал этого в ту минуту, но с тех пор крайне охладел к принцу. Слова эти были тем разительнее, что принц, как известно, был сам умный и искусный полководец.

В Павле эта страсть доходила до крайних пределов смешного. Малейшая ошибка против формы, слишком короткая коса, кривая пукля и т. п. возбуждали его гнев и подвергали виновного строжайшему взысканию. Но у нас где строгое, там и смешное. Павел приказал всем статским чиновникам ходить в мундирах, в ботфортах со шпорами. Однажды встречается он с каким-то регистратором, который ботфорты надел, а о шпорах не позабо-

тился. Павел подозревал его и спросил:

— Что, сударь, нужно при ботфортах?

— Вакса, — отвечал регистратор.

— Дурак, сударь, нужны шпоры. Пошел!

На этот раз выговор этим и ограничился, но могло бы быть гораздо хуже.

Я сказал, что статские должны были ходить в мундирах. Должно знать, что фраки были запрещены: носили мундир или французский кафтан, какие видим ныне на театральных маркизах. Жесточайшую войну объявил император круглым шляпам, оставив их только при крестьянском и купеческом костюме. И дети носили треугольные шляпы, косы, пукли, башмаки с пряжками. Это, конечно, безделицы, но они терзали и раздражали людей больше всякого притеснения. Обременительно еще было предписание едущим в карете, при встрече особ императорской фамилии, останавливаться и выходить из кареты. Частенько дамы принуждены были ступать прямо в грязь. В случае неисполнения, карету и лошадей отбирали в казну, а лакеев, кучеров, фореиторов, наказав телесно, отдавали в солдаты. К стыду тогдашних

придворных и сановников должно знать, что они, при исполнении, не смягчали, а усиливали требования и наказания.

Однажды император, стоя у окна, увидел идущего мимо Зимнего дворца пьяного мужика и сказал, без всякого умысла или приказания: «Вот скотина, идет мимо царского дома, и шапки не ломает!» Лишь только узнали об этом замечании государя, последовало приказание: всем едущим и идущим мимо дворца снимать шапки. Пока государь жил в Зимнем дворце, должно было снимать шляпу при выходе на Адмиралтейскую площадь с Вознесенской и Гороховой улиц. Ни мороз, ни дождь не освобождали от этого. Кучера, правя лошадьми, обыкновенно брали шляпу или шапку в зубы. Переехав в Михайловский замок, т. е. незадолго до своей кончины, Павел заметил, что все идущие мимо дворца снимают шляпы, и спросил о причине такой учтливости. «По высочайшему вашего величества повелению», — отвечали ему. — «Никогда я этого не приказывал!» — вскричал он с гневом и приказал отменить новый обычай. Это было так же трудно, как и ввести его. Поли-

дейские офицеры стояли на углах улиц, ведущих к Михайловскому замку, и убедительнейше просили прохожих не снимать шляп, а простой народ били за это выражение верно-подданнического почтения.

Можно наполнить целые тома описанием тогдашних порядков и приказаний. Люди, которые в царствование Екатерины не только не оказывали уважения к Павлу, но и с умыслом его оскорбляли, сделались теперь, разумеется, подлеjšíими его рабами. Таков был в особенности тогдашний генерал-губернатор петербургский Николай Петрович Архаров. Он служил несколько лет обер-полицмейстером и отличился расторопностью, сметливостью, услужливостью и подлостью. Всячески старался он узнать все желания и причуды Павла, предупреждал выражение его воли, преувеличивал его при исполнении.

Имя его будет жить в списке извергов, вредящих государям более самых отъявленных революционеров, лишая их любви и доверенности народной, — Бирона, Аракчеева, Клейнмихеля. Но усердие и сгубило его. Павел вскоре заметил истинную пружину его действий

и уже в 1797 году исключил его из службы. Достоянным его помощником был полицмейстер Чулков, выслужившийся такими же деяниями из сдаточных.

Когда Павел, при вступлении на престол, ввел безобразную форму мундиров и т. п., один бывший адъютант князя Зубова, Копьев [9], послан был с какими-то приказаниями в Москву. Раздраженный переменой судьбы, он вздумал посмеяться над новой формой: сшил себе, перед отъездом, мундир с длинными, широкими полами, привязал шпагу к поясу сзади, подвязал косу до колен, взбил себе преогромные пукли, надел уродливую треугольную шляпу с широким золотым галуном и перчатки с крагами, доходившими до локтя. В этом костюме явился он в Москве и уверял всех, что такова действительно новая форма. Император, узнав о том, приказал привезти его в Петербург и представить к нему в кабинет.

— Хорош! Мил! — сказал он, увидев этот шутовской наряд. — В солдаты его!

Приказание было исполнено, Копьеву в тот же день забрили лоб и зачислили его в

один из армейских полков, стоявших в Петербурге. Чулков, прежде того нередко ставивший у него в передней, вздумал над ним потешиться, призвал его к себе, осыпал ругательствами и насмешками и наконец сказал:

— Да говорят, братец, что ты пишешь стихи?

— Точно так, писывал в былое время, ваше высокородие!

— Так напиши теперь мне похвальную оду, слышишь ли! Вот перо и бумага!

— Слушаю, ваше высокородие! — отвечал Копьев, подошел к столу и написал: «Отец твой чулок; мать твоя тряпица, а ты сам что за птица!»

Не знаю, что сказал и сделал Чулков, только эти стихи мигом разнеслись по городу. Чулков пал вместе с Архаровым, за непомерное вздорожание сена в Петербурге, вследствие его глупых распоряжений. На общее их падение была сделана карикатура: Архаров был представлен лежащим в гробе, выкрашенном новой краской полицейских будок (черной и белой полосой); вокруг него стояли свечи в новомодных уличных фонарях. У ног

стоял Чулков и утирал глаза сеном. Архаров, с исключением из службы, сослан был в свои поместья, а в 1800 г. получил позволение жить в Москве, где и умер в начале 1814 г., сопровождаемый до гроба общим презрением.

Достойный внук его Андрей Александрович Краевский[10] поставил ему монумент на 248-й странице III тома «Энциклопедического Лексикона». С Николаем Петровичем не должно смешивать брата его, Ивана Петровича (1815 г.), человека доброго и благородного, отца Александры Ивановны Васильчиковой и деда писателя графа В. А. Соллогуба.

Мало ли что предписывалось и исполнялось в то время! Так, например, предписано было не употреблять некоторых слов, например, говорить и писать «государство» вместо «отечество»; «мещанин» вместо «гражданин»; «исключить» вместо «выключить». Вдруг запретили вальсовать или, как сказано в предписании полиции, употребление пляски, называемой вальсеном. Вошло было в дамскую моду носить на поясе и через плечо разноцветные ленты, вышитые кружками из блесток. Вдруг последовало запрещение носить

их, ибо-де они похожи на орденские.

Можно вообразить, какова была цензура! Нынешняя Шихматовская глупа, но тогдашняя была уродлива и сопровождалась жестокостью. Особенно отличался рижский цензор Туманский, кажется, Федор Осипович, о котором я буду говорить впоследствии. Один сельский пастор в Лифляндии, Зейдер, содержащий лет за десять до того немецкую библиотеку для чтения, просил, через газеты, бывших своих подписчиков, чтоб они возвратили ему находящиеся у них книги, и между прочим повести Лафонтена «Сила любви». Туманский донес императору, что такой-то пастор, как явствует из газет, содержит публичную библиотеку для чтения, а о ней правительству неизвестно. Зейдера привезли в Петербург и предали уголовному суду как государственного преступника. Палате оставалось только прибрать наказание, а именно, приговорить его к кнуту и к каторге. Это и было исполнено. Только генерал-губернатор граф Пален приказал, привязав преступника к столбу, бить кнутом не по спине его, а по столбу. При Александре I Зейдер был возвра-

щен из Сибири и получил пенсию. Императрица Мария Федоровна определила его приходским пастором в Гатчине. Я знал его там в двадцатых годах. Он был человек кроткий и тихий и, кажется, под конец, попивал. Запьем при таких воспоминаниях!

Кончилось тем, что все иностранные книги были запрещены к привозу без изъятия. И поделом! А к чему это послужило? Продолжили ли эти стеснительные меры на один день несчастную жизнь Павла? Согласен, что есть книги, которых распространения правительство допускать не должно и не смеет, но их число не велико, да и те следует запрещать, удерживать без шума, а то они найдут себе путь в Россию в большем числе, нежели если бы были позволены. Запрещенный плод вкуснее и приманчивее всякого другого. Некоторая свобода тиснения бывает очень полезна правительству, показывая ему, кто его враги и друзья. Таким образом, гнусные «Отечественные Записки», до 1848 года, могли служить лучшим телеграфом к обнаружению, что за люди Белинский, Достоевский, Герцен (Искандер), Долгорукий и т. п.; публика это

видела; молодежь с жадностью впивала в себя яд неверия и неуважения к святыне и власти. Один фанфарон Уваров не видал и не знал ничего. Когда разразилась февральская революция (1848), тогда только хватились. Я не называю Краевского в числе людей опасных: он возбуждал молодых людей и распространял вредные учения вовсе не с революционным намерением, при всем радикализме своего образа мыслей, он употреблял несчастных вралей орудиями к своему обогащению, видя, что публика падка на смелые вещи. Сам же он, конечно, охотно потянул бы за веревку, если б их стали вешать.

Опять отступление, — виноват! Сию минуту прочитал я брошюру скота Герцена, Искандера (*Sur le developpement des idees revolutionnaires en Russie*[11]), и подивился бессовестности, с какой он предаёт нашему правительству секреты своей партии, оправдывает все меры, которые приняты против его друзей и собратий, и доносит на Московский университет о распространении зловредного учения в России. Возможно ли вообразить подобную гнусность?! Вот люди, кото-

рые жалуются на государя и хотят переделать Россию!

Я пишу не историю того времени и не историю моей жизни, а только воспоминания и замечания. Потому и считаю не излишним сообщать подробности, может быть, мелочные, но которые не пропадут таким образом совершенно.

Нельзя вообразить, как сумасбродно Павел воевал внутри России. Вдруг нажалует тьму народа полковниками, генералами всех сортов, а через полгода всех, без просьбы, уволит в отставку; такой участи подвергся вотчим матушки, Иван Егорович фон-Фок. Он в два года с половиной выскочил из майоров в генерал-майоры, а потом был всемилостивейше уволен с мундиром.

Видя, что число отставных в Петербурге усиливается, император вдруг велел выслать всех их из города, если они не имели недвижимости, процесса и т. п. Теперь легко это написать, а каково было тогда! Однажды едем мы, с семейством, ночью, от тетушки Елисаветы Яковлевны, дорогой встречаются обозы легковых извозчиков. Что бы это значило?

Один извозчик нечаянно задавил кого-то. По донесении о том государю последовал приказ: выслать из города всех извозчиков. Потом их воротили, видя крайнюю в них необходимость, но запретили дрожки, а велели им иметь коляски. Нет спора, что запрещение этого гнусного экипажа было бы очень полезно, но не вдруг, не в один день. Что сделали извозчики?

Сняв подушку с дрожек, навязали на них сверху сани — вот-де и коляска!

Павел обожал Генриха IV и старался подражать ему, — удачно ли, пусть скажет история. У него были и прекрасные Габриели, хотя он вообще любил и уважал свою супругу. Первой, по времени, была Катерина Ивановна Нелидова, тетушка нынешней Варвары Аркадьевны, но главной и блистательной явилась Анна Петровна Лопухина. Милости всякого рода посыпались на ее отца и всю фамилию. Он был пожалован светлейшим князем, получил место генерал-прокурора, правда, не надолго. Ее выдали замуж за князя Павла Гавриловича Гагарина[12], выстроили для нее великолепный дом на Дворцовой набережной. До-

гадавшись, что имя Анна значит по гречески «благодать», назвали им самый большой корабль русского флота; «Благодать» и «Анна» красовались на гренадерских шапках и на корабельных флагах, Но должно отдать справедливость княгине Анне Петровне: она не употребляла своей власти во зло, а делала добро, сколько могла, уклоняясь от осрамительного прославления ее особы и имени. Некоторые лица, достойные доверия, уверяют, что любовь к ней Павла была чисто платоническая.

Фаворитизм Кутайсова был еще удивительнее, хотя и имел пример в брадобрее Людовика XI. Пленный турчонок мало-помалу сделался обер-шталмейстером, графом, Андреевским кавалером и не переставал брить государя. Наскучив однажды этим ремеслом, он стал утверждать, что у него дрожит рука, и рекомендовал, вместо себя, одного гвардейского фельдшера, очень искусного в этом деле и исправлявшего свою должность у многих генералов. Но таков был взгляд Павла, что у бедного унтер-офицера, со страху, бритва вывалилась из руки, и он не мог приступить к делу. «Иван! — закричал император, — брей

ты!» Иван, сняв Андреевскую ленту, засучил рукава и, вздохнув, принялся за прежнее ремесло.

Кутайсову обязан своим счастьем другой гриб, не турецкий, а шотландский. Джемс Виллие прибыл в Россию в звании подлекаря и определился в Семеновский полк батальонным врачом. Он успел оказать важную медицинско-секретную услугу шефу полка, Александру Павловичу, который обещал ему свое покровительство, но не мог ничего в то время сделать. Вдруг Кутайсов заболел нарывом в горле. Его лечили первые придворные медики, но не смели сделать операции надрезом нарыва и ждали действия природы (природы), а боль между тем усиливалась. По ночам дежурили у него полковые лекаря. Виллие явился в свою очередь и за ужином порядочно выпил даровой мадеры, сел в кресло у постели и заснул. Среди ночи сильное храпение разбудило его. Он подошел к больному и видит, что тот задыхается. Не думая долго, он вынул ланцет, и царап по нарыву. Гной брызнул из раны; больной мгновенно почувствовал облегчение и пришел в себя. Пьяный Вил-

лие спас его. Можно вообразить радость императора Павла: Виллие пошел в гору, был принят ко двору и сделался любимцем Александра.

Предвидя ожидающую его фортуна, он выучился латинскому языку и по секрету прошел курс медицины и хирургии. Смелость, быстрый взгляд и верность руки много способствовали его успехам. Дальнейшее поприще его известно: он сделался лейб-медиком и любимцем Александра и, может быть, своею отважностью и самонадеянностью был причиной его преждевременной кончины. Он был начальником военно-медицинской части в России и во многом ее поднял, возбудил в русских врачах чувство собственного достоинства и даровал им права, обеспечивавшие их от притеснений военных начальств. Он проложил путь многим людям с талантами, коль скоро они ему покорялись и льстили. Всех непокорных, кто бы они ни были, преследовал и терзал всячески. Эгоизм и скупость его невероятны. Богатый и бездетный, он брал ежедневно по две восковые свечи из дворца, следовавшие дежурному лейб-меди-

ку, и во всем поступал по этой мерке. Ему теперь (в сентябре 1851 года) более восьмидесяти лет, и он проживет еще долго[13].

Воротимся к Кутайсову. По смерти Павла, поселился он в Москве и умер в 1834 году. Сын его Павел Иванович был человек добрый и ординарный: он умер сенатором в 1840 году. Младший сын его, бывший 16-ти лет полковником артиллерии, убит в чине генерал-майора, при Бородине. Он был человек гениальный и благородный. Россия много в нем потеряла.

Самым знаменитым из любимцев Павла был граф Алексей Андреевич Аракчеев. Так как я бывал с ним в сношениях и знал его коротко, то буду говорить о нем в своем месте.

При всей тягости ига, которое лежало на России в царствование Павла, нельзя сказать, чтоб он умел заглушить голос общего мнения. Приверженцы его, приближенные, поддѣцы, хвалили все дела его и самые жестокие; оптимисты старались его извинять и оправдывать, ухватывались за всякое обстоятельство, самое ничтожное, чтоб возвысить его добродетели и прикрыть пороки, но боль-

шинство народа, масса, его ненавидела, и редко кто скрывал эти чувства.

Все твердили надпись Карамзина к Исаакиевскому собору:

*Сей храм есть памятник двум
царствиям приличный:
Фундамент мраморный, а верх
его кирпичный[14].*

Все знали наизусть пародию Марина (Сергея Никифоровича, умер в 1814-м) оды Ломоносова:

*О ты, что в горести напрасно
На службу ропщешь, офицер!
Кричишь и сердишься ужасно,
Что ты давно не кавалер!
Внемли, что Царь к тебе вещает:
Он гласом сборы прерывает,
Он в правой держит эспонтон.
Смотри, в каких штиблетах он.*

Это наблюдение должно было бы научить всякое правительство, что лучшая оборона от бранных и обидных сочинений — не цензура, а благоустроенное, справедливое, кроткое правление. В. М. Головнин, во время пребывания своего в Мексике (в последние годы ис-

панского там владычества), спросил у одного тамошнего консула, много ли Испания имеет врагов в Мексике. «Довольно, — отвечал консул, — и вы их можете узнать по наружности: у кого здесь нос над ртом, тот враг Испании». Так было и в России при Павле.

Мы все еще, по порядку повествования, в начале царствования Павла. Это время было ознаменовано некоторыми подвигами ума и благородства, составлявшими основу характера Павла. Он почтил память отца своего Петра III, которого, под тем предлогом, что он умер некоронованный, погребли не в Петропавловской крепости, а в Невском монастыре. Павел отправился туда, велел вскрыть склеп, в котором погребен был несчастный император, и оросил его останки горькими слезами. Говорят, что тела не было вовсе: оно истлело; остались только некоторые части одежды. Эти останки были вынуты из склепа и поставлены в другой гроб, царски украшенный. Сначала отвезли гроб со всею подобающею церемонией в Зимний дворец и поставили на катафалке подле тела Екатерины II. Я видел шествие это из окна квартиры мадам Михелис, в

доме Петровской церкви. Гвардия стояла по обеим сторонам Невского проспекта. Между великанами гренадерами, в изящных светло-зеленых мундирах с великолепными касками, теснились переведенные в гвардию мелкие гатчинские солдаты в смешном наряде пруссаков Семилетней войны. Но общее внимание обращено было на трех человек, несших концы покрова, — это были: граф Алексей Орлов, князь Барятинский и Пассек, убийцы Петра! Мщение справедливое и благородное: они занимали места, подобающие первым лицам империи, и притом выставлены были у позорного столба, с печатью отвержения на челе.

Потом видел я оба гроба на одном катафалке, видел и шествие обоих гробов по Миллионной и по наведенному на этот случай мосту от Мраморного дворца в крепость. Достойны замечания надписи на гробницах: «Император Петр III родился 16 февраля 1728 года, погребен 18 декабря 1796 года», «Екатерина II родилась 21 апреля 1729 года, погребена 18 декабря 1796 года». Подумаешь, говорит один писатель, что эти супруги провели всю жизнь

вместе на троне, умерли и погребены в один день. Пожалуй, это скажут будущие историки, истолковывая уцелевшие надписи на неизвестном тогда русском языке! Это в истории бывает частенько.

Этими воспоминаниями виденного принимаюсь вновь за нить моей собственной жизни.

Глава четвертая

Мне был от роду десятый год, брату Александру восьмой; надлежало подумать серьезно о нашем воспитании. Батюшка, к большому моему, впоследствии, сожалению, оставил мысль отдать меня в Петровскую школу, где я мог бы приобрести основательные первоначальные сведения, привыкнуть к труду и порядку. Вместо того, по совету, кажется, г-на Дорезона, приятеля его, он вздумал взять французского гувернера из многочисленных эмигрантов, наводнивших тогда Россию. И действительно взяли человека средних лет *monsieur Delagarde*, умного, любезного, образованного, но неопытного и несведущего в деле воспитания и обучения. Он одевался и пудрился со вкусом, называл меня *monsieur Nicolas* и заставлял читать из азбуки, поправляя произношение. Тем уроки оканчивались. Механическое чтение надоело мне. На третьей странице я начинал зевать и закрывал книгу. Мусье Делагард не противоречил, и урок тем кончался. Его любили в доме за любезность и веселость: он с

утра до вечера играл на фортепиане и распевал французские арии. Особенно любил он одну: «O Richard, o mon roi!» Вскоре, однако, увидели, что такое ученье не ведет ни к чему. У него с батюшкой была крупная экспликация (разборка), но вскоре потом он заболел от простуды и умер. Грустно и теперь вспомнить, как бедный француз умирал на чужбине.

Вместо него был взят другой француз, monsieur de Morencourt, уже обжившийся в России, тяжелый, ленивый, любитель чарочки и порядочный невежда. Все уроки ограничивались механическим чтением и письмом; о языке и грамматике ни слова. Он как-то повздорил с батюшкой и получил увольнение. Уроки дядюшки Александра Яковлевича Фрейгольда также прекратились. Только занимался нами Дмитрий Михайлович Кудлай, также не весьма грамотный, но по крайней мере добрый и усердный к делу, с неразвращенной нравственностью. Матушка делала что могла, но она могла немного, притом же я вырастал из гаремного воспитания, и следовало заняться мной серьезнее.

Упомяну здесь о некоторых эпизодах. В 1797 году прибыл к нам из Кронштадта доктор Карл Иванович Борн, по кончине жены его, Катерины Карловны, урожденной Врангель, о которой я упоминал выше, при исчислении родословной Фрейгольдовой фамилии. Он остановился у нас в доме с детьми своими: Иваном, Терезой и Екатериной, на перепутье в Новгород, куда он был перемещен. Я говорил о нем выше. Он очень любил и уважал мою матушку и первый заметил мои дарования: понятливость, воображение, счастливую память. Забавляясь со мной беседой на ломаном русском языке, он спрашивал у матушки, что она делала тогда, когда была беременна мною.

— Спала очень много, — отвечала она.

— Вот и причина ума этого мальчика, — говорил он, — вы спали, ум ваш покоился и беспрепятственно действовал на плод вашего чрева.

С тех пор он непрерывно посылал спать жену свою, когда она была беременна.

Борн отправился в Новгород и умер в 1799 г. Дети его были привезены в Петербург

и подпали опеке Христины Михайловны.

Другая, важнейшая перемена последовала у нас в доме от сношений отца моего с бароном Людвигом. Статский советник, барон Иван Христофорович Людвиг, президент Юстиц-коллегии лифляндских и эстляндских дел, был человек добрый, умный и почтенный, но большой колпак и флегма. Жена его, Софья Ивановна, урожденная Буше, — женщина умная, ласковая и большая кокетка. У них было пятеро сыновей (Петр, Карл, Яков, Александр и Алексей), из коих в то время старшему было семнадцать лет, а младшему год, и четырнадцатилетняя дочь Александра Ивановна.

Отец мой уважал барона и увлекался любовью баронессы, которая, как было слышно, не отвергала ничьего фимиама: говорили даже, что только старший сын был действительно сын ее мужа, а у остальных были разные отцы, которых называли по именам. По прозвищу Voucher можно бы было подумать, что она француженка. На деле выходило противное. Отец ее был немец, по прозванию Флейшер. Не знаю, каким образом

он попал во Францию и в Вест-Индию, только там находит его история. Он был человек очень умный, добрый, любезный, но большой прожектер и ветреник. В молодых летах, на Мартинике, влюбился он в одну прекрасную креолку и понравился ей, но она не хотела носить варварской фамилии Флейшер. Он назвался Флейшер де Буше, а потом слыл просто monsieur Boucher.

В начале царствования императрицы Екатерины прибыл он в Россию, вошел в связи с значительными людьми, получил привилегию на продажу изготовляемого им табаку во всех городах России, потом выдумал способ кормить лошадей не сеном и овсом, а какими-то дешевыми катышками и т. п. Буше принадлежал к особому роду людей, называемых прожектерами: имея острый ум и некоторые сведения, они выдумывают, по внушению своего воображения, разные штуки и средства, рассчитывают на миллионы барыша, принимаются за дело с пламенной ревностью, но, еще не кончивши, охлаждаются к нему и бросаются на иное, иногда совершенно противоположное. Вся жизнь их проходит

в таких обаяниях и разочарованиях; они находятся всегда накануне несметных выигранных, а в настоящем нуждаются и голодают. Таковы были впоследствии Гаттенбергер и Пуадебар.

Вижу еще теперь перед собой Буше, этого милого, невысокого роста старичка, в старомодном кафтане, с развевающимися седыми волосами, с приятной на устах улыбкой, с мечтательностью во взоре. Он был всегда весел и любезен, терпел нужду, не жалуясь на судьбу, и был благодарен за всякое добро. В конце 1800 года он затеял добывание кремней в Подольской губернии и, не имея нужного на то капитала, женился, имея около семидесяти лет, на какой-то зрелой деве, мамзель Эльсон, чтобы воспользоваться ее приданым для осуществления своих предположений. Он уехал с ней в Подолию и вскоре умер. Говорят, что милая супруга доколотила старика. И поделом! Дочь его, София Ивановна, была баронесса фон Людвиг.

Не знаю, как наша фамилия с ними познакомилась; кажется, через барона Клодта. Батюшка, как я говорил, увлечен был любезно-

стью баронессы; но матушка ее не жаловала, хотя и принимала ее учтиво и ласково. Помню одну слабость баронессы: она не терпела кошек, и, когда бывала у нас, нашего доброго кота Ваську запирали в чулан.

Однажды за ужином, в самом разгаре веселой и шумной беседы, баронесса вдруг побледнела и задрожала.

— Что с вами? — спросила у нее матушка с участием. Она с трудом произнесла:

— Кошка, здесь находится кошка.

Посмотрели — Васька ушел из-под ареста и сидел под столом. Она услышала близость кошки чутьем.

В жестокую зиму баронесса простудилась и впала в чахотку. Употреблены были все средства дня излечения ее, но безуспешно. Переехав весной на дачу, на Карповке, она сказала, вошедши в гостиную: «Кажется, довольно будет места, чтобы поместить мой гроб!»

Но не ее гроб следовало помешать. Муж ее, человек толстый и сырой, вдруг поражен был апоплексиею и в несколько минут умер. Умирающая вдова умоляла батюшку принять на

себя опеку над детьми, которые вскоре сделаются круглыми сиротами. Он имел неосторожность согласиться. Обремененный службой, он не имел ни досуга, ни охоты заниматься своими собственными делами, которые были в непрерывном расстройстве, и, по влечению доброго своего сердца, навязал на себя чужие дела с тягостной ответственностью. Не стану входить ближе в эти неприятные обстоятельства, прикрытые временем и давностью; скажу только, что эти заботы и труды имели бедственное влияние на его физику и мораль, подкопали его здоровье и были отчасти виной его рановременной кончины. Опыт опекунства над молодым Крейцем не научил его: он ринулся, очертя голову, в другую пучину.

Мы жили в доме Быкова, на Литейной. Это было очень неудобно. Батюшка должен был ездить каждый день в Сенат и нередко попадался навстречу императору. Вот уж подлинно можно было сказать: «Близ царя, близ смерти!»

В мае 1798 года нанял он дом барона Людвига, в нынешней Ново-Исаакиевской ули-

це, принадлежавший потом Коростовцову. Тогда на месте нынешних Конногвардейских казарм простираясь перед этим домом площадь до самого Крюкова канала, теперь засыпанного, с устроенным над ним бульваром. Дом этот был тогда в один этаж с погребом, в котором помешалась кухня. Часть его, выходящая на Почтамтскую улицу, занимаема была извозчичьим двором. Главным достоинством этого дома был сад, разведенный на том месте, где теперь американская церковь. Уцелели еще два-три клена, под которыми я играл в детстве с братом и сестрой.

И действительно, один этот сад оставил во мне приятное впечатление о тогдашнем времени. Оно было тяжело вообще и в частности. Бестолковое, тиранское правление Павла тяготело над Россией: надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастья, слепого случая: тогда жили точно с таким чувством, как впоследствии во времена холеры. Прожили день — и слава Богу.

На дворе у нас нанимал квартиру квартальный комиссар (так назывались тогда по-

мощники надзирателей) 14-го класса Сатаров, сын бывшего сторожа в Экспедиции о расходах. Он был тираном и страшилищем всего дома: его слушались со страхом и трепетом; от него убегали, как от самого Павла. Донос такого мерзавца, самый несправедливый и нелепый, мог иметь гибельные последствия.

Впрочем, доставалось и им, полицейским. В 1798 году, в жестокое зимнее время, Павел совершал тризну или панихиду по тесте своем, герцоге Виртембергском. Служба происходила в католической церкви. Вдоль Невского проспекта стояла фронтом вся гвардия. Мы смотрели церемонию из квартиры нюрнбергского купца Себастиана Гешта, выходящей на площадку перед церковью. В ожидании окончания службы в церкви Павел разъезжал верхом, надуваясь и пыхтя, по своему обычаю. Великие князья Александр и Константин, как теперь их вижу, в семеновском и измайловском мундирах, бегали на морозе перед церковью, стараясь согреться. Один полицейский офицер стоял на краю площадки, во фронте. Вдруг подали сигнал. Все поспешили к местам. Раздались музыка, ружейные

выстрелы, пушечная пальба. Потом войска прошли церемониальным маршем. Все утихло; площадь опустела. Один только этот полицейский стоял на месте. К нему подошел другой, коснулся его, и он упал на снег: несчастный замерз.

Домашние обстоятельства также не были утешительны. Состояние наше поправилось. У нас бывали обеды, вечера; иногда ездили в театр, но истинного удовольствия и отрады не было от переменчивого характера батушки, от его капризов. Матушка удивляет меня, когда я теперь о ней подумаю. Одно ласковое слово со стороны мужа — два дня спокойствия — и она оживала, была весела, принимала участие в удовольствиях. В это время услаждала ее своей дружбой Варвара Ивановна Шванебах; в доме были молодые девицы Людвиг, племянницы барона, дочери умершего брата его, Карла, обладателя секрета шафгаузенского пластыря; Христина Вилимовна Шрейберг, матушкина родственница по тетке Марье Михайловне. Умная, веселая, но безобразная собой, она внушила сильную страсть Карлу Карловичу Людвигу, брату упомянутых

девиц: он женился на ней впоследствии. Присутствие девиц привлекало молодых людей. У нас часто бывали Измайловского полка граф Егор Карлович Сиверс[15], артиллерийский офицер Василий Григорьевич Костенецкий, прославившийся впоследствии своими странностями, плац-майор Бреверн и многие другие.

В то ужасное время и самые невинные удовольствия приправлялись страхом и горечью. Однажды у нас, после танцев, ужинали человек двенадцать. Вдруг послышался звонок, и в столовую комнату вошел плац-майор Бреверн. Один из сидевших за столом молодых офицеров, не знавший, что Бреверн вхож у нас в доме, смутился и побледнел. Бреверн заметил это и вздумал позабавиться: не здороваясь ни с кем, подошел прямо к нему и, потрепав его по спине, сказал: «Не угодно ли, сударь, пожаловать со мною!» Офицер едва не упал в обморок. Матушка, догадавшись, в чем дело, с негодованием обратилась к Бреверну и просила его оставить в ее доме глупые шутки. Он расхохотался, и дело кончилось общим смехом. С тех пор почувствовал я отвращение

к таким глупым мистификациям и сам никогда не позволял их себе. Еще ненавистнее мне, когда кому-либо сообщат приятную новость и, обрадовав его, потом объявят: неправда, этого не было, я только пошутил! Глупо и бессовестно!

От этих эпизодов обращаюсь вновь к самому себе. Батюшка все откладывал помещение нас в какое-либо училище. Причиной тому была беспечность его и — недостаток средств. Следовало для этого одеть и снарядить нас вполне, и внести деньги за пансион вперед, а от доходов его, за исключением содержания дома, оставалось очень немного. К счастью моему, рекомендовали ему одного частного учителя, Якова Михайловича Бородкина, который получил воспитание в Сухопутном корпусе; он был в нем гимназистом, т. е. воспитанником из недворян, готовившихся в учительскую должность. Поверят ли, что этому русскому человеку обязан я немногими сведениями о грамматике французской, о которой, при учителях-французах, и в помине не было! Он притом учил нас и рисовать.

Я сначала оказал было хорошие успехи в

рисовании, но оно мне вскоре надоело: словесность одна занимала мой ум и воображение. Я читал все, что только мог найти. Самым приятным чтением того времени был для меня Жиль-Блаз в старинном переводе. Из этой книги почерпнул я много понятий о свете и людях; но, несмотря на то, вообще был в свете и с людьми, во всю мою жизнь, в разладе.

Французский язык знал я очень плохо. Немецкий слышал в доме чаще, и к тому матушка заставляла меня читать вслух немецкие книги. Однажды, в каком-то немецком сборнике, нашел я описание Солнечной системы, Солнца, планет, неподвижных звезд. Это меня чрезвычайно заняло, и я, для лучшего впечатления этих предметов в памяти, вздумал перевести всю статью на русский язык. Батюшка, видя, что я пишу что-то со вниманием, спросил, что я делаю. «Перевожу с немецкого», — отвечал я. Он не сказал ни слова, но позвал матушку. Она стала за мной и начала читать подлинник, а потом перевод. Это ее восхитило. Со слезами на глазах (помню это очень живо) сказала батюшке:

«Он переводит очень хорошо». Он улыбнулся и похвалил меня. Тем это и кончилось.

Все усилия матушки к доставлению мне больших средств образования были напрасны. Мне на роду было написано оставаться самоучкой. Литературные познания моего учителя, Дмитрия Михайловича Кудлая, франта и модника, были очень ограничены. Он читал с восторгом «Бедную Лизу» и любил везде ставить тире, в подражание модному тогда Карамзину. Величайшим его старанием было обвертывать себе шею бесконечной косынкою: это была последняя парижская мода, наистрожайше запрещенная нашим правительством: если б он попался на глаза Павлу, сидеть бы ему в крепости. Батюшка крепко журил его за эти толстые галстуки, боясь, что и сам попадетса за него в ответ, но ничто не помогало. Он ходил как страждущий жабой. Уроки его были ничтожные, и я ничему у него не научился; напротив, сам чутьем поправлял его ошибки.

Большим препятствием к образованию моих врожденных способностей было то, что в нашем семействе и кругу не было ни одного

литератора, ни одного классически образованного человека. Я не имел склонности ни к военной, ни к гражданской службе. Какая-то непонятная сила влекла меня к грамоте и литературе. На блистательных генералов и офицеров смотрел я равнодушно. И звезды вельмож не действовали на меня. На крестинах сестры Лизаньки были у нас сенаторы граф Александр Сергеевич Строганов и Петр Александрович Соймонов. Я смотрел на них с любопытством, но довольно равнодушно. Зато с каким благоговением глядел я на первого виденного мною в жизни писателя: это был Федор Осипович Туманский, автор «Истории Петра Великого» и издатель «Российского Магазина». Не знаю, зачем-то он приезжал к отцу моему. Оба они разговаривали, ходя по зале. Я глядел на Туманского, не спуская глаз. «Вот писатель, сочинитель, — думал я, — что он вымыслит, напишет, напечатает, то читает вся Россия. Умрет он, и его имя будут с благодарностью вспоминать поздние потомки». И Павла Христиановича Безака уважал я более всех, именно за то, что он занимался литературой.

Еще достойна любопытства страсть моя к книгопечатанию. С детства я разрезывал афишки и другие печатные листы и из отдельных букв складывал слова и речи. В конце 1799 года приехал в Петербург какой-то англичанин и стал продавать типографские буквы, с принадлежащими к ним снадобьями, для пометки белья. Батюшка купил у него такой ящичек и подарил мне. Я был в восторге. Англичанин, заметив это, предложил купить у него ручную типографию, то есть несколько сот букв, с ручными тисками, с маленькими мацами и т. п. У батюшки в то время случились деньги, и он подарил мне эту типографию. Англичанин выучил меня набирать и печатать. Но буквы были французские. Что ж? Я взял «Трехязычную книгу» (повести, басни и т. п., на русском, немецком и французском языках) и стал печатать под заглавием: «Petites Historiettes. St.-Petersbourg, 1799, chez N. Gretsch».

В то время выходила замуж тетушка Елизавета Яковлевна. Старик Буше, по просьбе батюшки, промыслил мне поздравительные стихи следующего содержания:

*Il est donc vrai: ma tante se marie.
Quel compliment, cette tante chérie,
Attendrait-elle de son jeune neveu?
Pour le bien faire il sait encore trop
peu.*

*Mais tout ce que je puise dans mon
âme joyeuse,
Je le fais en formant le vœu:
Qu'elle m'aime toujours et qu'elle soit
heureuse.[16]*

Я напечатал их чистенько и поднес не как сочинитель, а как типографщик! Типография моя вскоре остановилась. Буквы засорились, а я не знал, как их вычистить. Посещая лекции в Академии наук, заходил я нередко в типографию академическую, с любопытством смотрел на набор, выправку и печатание и думал: ах, кабы мне иметь такую типографию и печатать, что хочу. Припомню при этом слова Гёте: Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle — Чего желаешь в юности, то изобильно имеешь в старости. Так, но нет того чувства, которое волнует и радует нашу юношескую душу.

Впрочем, Бог устроил мудро, что не все наши юношеские желания и не тотчас исполня-

ются. Человек, избалованный удачами и счастьем в юности, привыкает к исполнению всех его желаний, притупляет чувства удовлетворением их и в зрелые лета не умеет равнодушно снести несчастья, не умеет пользоваться тем, что есть. Неудачи, нужда, лишения — лучшая школа для образования характера и души человека. Уж если терпеть, так терпеть в молодые лета, когда надежда радуется и подкрепляет человека. На старости же и без того будут страдания, с нею неразлучные, как, например, ужаснейшее из всех — потеря милых нашему сердцу. Для этого нужно закалить душу мелкими страданиями и лишениями молодых лет.

Важной для меня эпохой был 1799 год — кампания Суворова в Италии. Должно знать, что Суворов пользовался до того времени славой искусного и храброго генерала, но большая часть утверждали, что он может бить турок и поляков, а с французами не сладит. Матушка ненавидела его за варварства в Измаиле и Праге и выставляла перед ним своего героя Румянцева.

Другой порицатель его был человек ум-

ный, благородный, образованный, но большой чудака, некто Алерт (Ahlert), бывший некогда купцом, но оставивший торговлю по каким-то причудам. Он купил себе польское дворянство и был прозван Алерт-де-Венгоржевский. Ant (угорь) по-польски называется wengorz (венгорж). Находя, что женщины образованных сословий слишком ветрены и причудливы, он вздумал сочетаться браком с дочерью природы и женился на какой-то глупой эстляндской девчонке, которая преогорчила его жизнь. Детям своим (у него были все дочери) давал он имена самые странные. При одной беременности жены своей он положил назвать дочь, которая родится, Идою и прибавить к тому имя святого греческой церкви, по дню ее рождения. Она родилась 17 августа, в день мученика Мирона, и он назвал ее Ида Мирона! Алерт умер в 1800 году, оставив жене и детям небольшое состояние. При всех этих причудах, был он, как я уже сказал, человек хороший, умный и просвещенный.

Родители мои любили и уважали его. Алерт, как и все порядочные люди, порицал и ненавидел правление Павла и в досаде своей

нередко переходил за границы. Таким образом предсказывал он неминуемую беду нашей армии в борьбе с французами, перед которыми падали воинства и царства. Во мне с самых детских лет был врожденный патриотизм и оптимизм: я досадовал и горевал в душе, слыша такие толки и предсказания. Вообразите после этого восторг мой, когда раздался гром побед Суворова в Италии! Я с жадностью читал реляции и газеты и торжествовал при Кассано, Требии и Нови. Критики и порицатели умолкали и только говорили: счастье его, что молодой генерал — как бишь его? — да, Бонапарте — в Египте, а то бы досталось Суворову. Да лих не досталось, думал я: а хотя б и этот разбойник вступил с ним в бой, наш Суворов победил бы его непременно.

Наступила осень, и с нею стали приходить тяжелые, грустные известия о жалком и бедственном окончании войны, начатой так блистательно. С досады я перестал читать газеты и не знал, что делается в свете. Весной 1800 года прибыл в Петербург Суворов — больной, умирающий. Он остановился в доме племянника своего, т. е. женатого на его племянни-

це, княжне Горчаковой, графа Хвостова, на Крюковом канале, напротив Никольской колокольни. 6 мая он скончался.

Не помню с кем, помнится, с батюшкой, поехал я в карете, чтоб проститься с покойником, но мы не могли добраться до его дома. Все улицы были загромождены экипажами и народом. Не правительство, а Россия оплакивала Суворова. Известно, что подлецы и завистники обнесли его у Павла. Приехав в Петербург, он хотел видеть государя, но не имел сил ехать во дворец и просил, чтоб император удостоил его посещением. Раздраженный Павел послал вместо себя — кого? — гнусного турка Кутайсова. Суворов сильно этим обиделся. Доложили, что приехал кто-то от государя. «Просите», — сказал. Суворов, не имевший силы встать, и принял его, лежа в постели. Кутайсов вошел в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо.

— Кто вы, сударь? — спросил у него Суворов.

— Граф Кутайсов.

— Граф Кутайсов? Кутайсов? Не слышал. Есть граф Панин, граф Воронцов, граф Строга-

нов, а о графе Кутайсове я не слыхал. Да что вы такое по службе?

— Обер-шталмейстер.

— А прежде чем были?

— Обер-егермейстером.

— А прежде?

Кутайсов запнулся.

— Да говорите же!

— Камердинером.

— То есть вы чесали и брили своего господина.

— То... Точно так-с.

— Прощка! — закричал Суворов знаменитому своему камердинеру Прокофию, — ступай сюда, мерзавец! Вот посмотри на этого господина в красном кафтане с голубой лентой. Он был такой же холоп, фершел, как и ты, да он турка, так он не пьяница! Вот видишь, куда залетел! И к Суворову его посылают. А ты, скотина, вечно пьян, и толку из тебя не будет. Возьми с него пример, и ты будешь большим барином.

Кутайсов вышел от Суворова сам не свой и, воротясь, доложил императору, что князь в беспамятстве и без умолку бредит.

Я видел похороны Суворова из дома на Невском проспекте, принадлежавшего потом Д. Е. Бенардаки. Перед ним несли двадцать орденов: ныне, я думаю, их больше у доброго Ивана Матвеевича Толстого, бывшего в свите наследника Александра Николаевича на путешествии его в 1840 году, а тогда это было отличие неслыханное. За гробом шли три жалких гарнизонных батальона. Гвардии не нарядили, под предлогом усталости солдат после парада. Зато народ всех сословий наполнял все улицы, по которым везли его тело, и воздавал честь великому гению России. И в Павле доброе начало наконец взяло верх. Он выехал верхом на Невский проспект и остановился на углу Императорской библиотеки. Кorteж шел по Большой Садовой. По приближении гроба, император снял шляпу, перекрестился и заплакал.

Бог да судит тех, которые в этом добром, благородном человеке заглушили начала благодости и зажгли буйные страсти!

О несчастном окончании голландской экспедиции узнали мы по тому, что главнокомандующий генерал Герман и другие генера-

лы, взятые в плен французами, были исключены из службы, а об окончании кампании швейцарской носились одни темные слухи. С прекращением побед кончилась и страсть моя к политике.

1800 год был для меня и для всего нашего семейства самый грустный. Финансовые дела отца моего приходили все более и более в расстройство. Тщетно матушка убеждала его сократить расходы. Он обещал и тут же изменял слову. Наступал день ее рождения, 29 июня. Как не попить? Но слово было дано. Что же? Он выдумал, что будто Буше дает этот обед. В то время было перемирие с бабушкой Христиной Михайловной. Она обедала у нас в пребольшей компании. В конце обеда Буше провозгласил ее тост: «Милостивая государыня! За тридцать один год перед сим...» Она прервала его речь: «Мне было семнадцать лет от роду!» А матушка была третьим из детей ее. Этот обед был последним в нашем доме.

В Сенате было решено какое-то дело, в котором участвовала родственница Кутайсова или какого-то другого урода. По жалобе ее от-

решили от службы всех сенаторов того департамента и производителей дела. Отец мой был в том числе. Это случилось 16 сентября 1800 г. Помню, как вчера, с каким удивительным равнодушием перенес он это несчастье. Принесли пакет из канцелярии департамента; я принял его от курьера и подал батюшке, стоявшему с трубкой подле окна в сад. Он, распечатав, прочитал и сказал: «Хорошо!» — потом опять устремил глаза в зелень и, не изменяясь в лице, только стал курить сильнее. С того дня все пошло под гору.

Матушка отправилась, по приглашению тетки ее, Екатерины Михайловны, с дочерьми и младшим сыном, в деревню ее, Пятую Гору. Батюшка сдал опеку над семьей барона Людвига и переехал со мной и с братом на Фурштатскую улицу, в дом Крузе, подле фурштатского двора. Здесь мы с братом вытерпели большую нужду и принуждены были слушать упреки слуг, которые ее разделяли. Батюшка все питался надеждой, при посредстве Безака, получить новое место, именно президента одной из ратуш, которые вздумали тогда учредить в губернских городах. Давно ли,

казалось, жили мы в достатке и обилии! В феврале 1800 года вышла замуж тетушка Елисавета Яковлевна. Муж ее не имел ничего, кроме жалованья. Христина Михайловна, смотревшая на этот брак с досадой, хотя Елисавета Яковлевна и была любимой ее дочерью, не дала ей ничего на обзаведение, прибавив по-немецки: «Lass sie darben» — пусть потерпит нужду. Батюшка, и по влечению доброго своего сердца, и назло теще, снабдил молодых всем, что нужно было для домашнего хозяйства, и даже съестными припасами на несколько месяцев. Старик барон, отец Карла Федоровича Клодта, объявил, что не может явиться на свадьбу за неимением невыразимой части одежды. Батюшка одел его с ног до головы. А теперь сам был в горьком положении. Я отнюдь не упрекаю в том наших родных: они всегда готовы были делить с нами последнее, только делить было нечего.

Обучение наше остановилось совершенно. В 1800 году посещал я публичные лекции Академии наук. Императрица Екатерина II пожаловала Академии капитал в 30 000 рублей; из

процентов его выдавалась награда четырем академикам (из русских), которые читали летом публичные лекции о разных предметах в залах Академии и в кунсткамере. В 1800 году читали: Гурьев высшую математику; Захаров химию; Севергин минералогию, а Озерецковский зоологию и ботанику. Я не мог понимать лекции Гурьева, не имев достаточных для того приготовительных познаний, но тем ревностнее следил за другими, особенно за лекциями Озерецковского, который говорил грубо, не разбирая выражений, но умно, ясно и увлекательно. В числе слушателей его были многие морские и горные офицеры.

Я был самым младшим из посетителей, но вскоре обратил на себя внимание академика исправным посещением лекций и постоянным вниманием. Вынув из шкапа чучело животного, он заставлял меня держать его и объяснял признаки. Однажды объяснял он свойства птицы щурка и никак не мог вспомнить, как она называется по-французски. Я поглядел на надпись на подножке и сказал, будто от себя, и с некоторым сомнением: «Кажется, *guerrier*». — «Точно так, — вскричал Озерец-

ковский, — ай да молодец!» С тех пор внимание его ко мне еще увеличилось.

С чувством искренней благодарности вспоминаю я об этих лекциях, доставивших мне случай к развитию моих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых предметах. Через несколько лет скажу, как помогли мне эти уроки на экзамене. Может быть, что нынешняя Академия наук блистательнее и славнее; но тогдашняя была, бесспорно, полезнее. Подле знаменитых иностранцев — Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта, Левина и т. д. — были в ней русские: Румовский, Лепехин, Озерецковский, Севергин, Иноходцев, Захаров, Котельников, Протасов, Зуев, Кононов, Севастьянов. Правда, что не все из этих русских были люди великие и гениальные, многие из них были люди невысокой нравственности, т. е. просто пьяницы; но они трудились и действовали для России, и о них можно сказать с Крыловым: «По мне, так лучше пей, да дело разумей».

Первое место в числе их занимал Озерецковский: человек умный, основательно ученый, но вздорный, злоязычный, сквернослов

и горький пьяница. О них ходило в то время множество анекдотов. Однажды все члены Академии были на свадьбе у одного из своих товарищей: это было летом, на Васильевском острове. Часу в шестом утра шли они домой, гурьбой, в шитых мундирах и орденах и дорогой присели на помост канавки, чтоб отдохнуть и перевести дух. В это время лавочник отворял свою лавочку.

— Братцы! — сказал Озерецковский, — зайдем в лавочку и напьемся огуречного рассолу; славное дело после попойки.

Вся академия согласилась с ним и отправилась за нектаром.

— Лавочник! — закричал Озерецковский, — подавай рассолу огуречного!

— Извольте, ваши превосходительствы и сиятельствы! — отвечал лавочник и, кланяясь, поднес рассолу в ковше.

Напились, отрыгались ученые.

— Хорош у тебя рассол, собака! — сказал Озерецковский. — Ну что же мы тебе должны?

— Ничего, ваши сиятельствы!

— Как ничего!

— Да так, ваши превосходительства! Ведь и с нашим братом это случается.

Один из членов Академии, Лев Васильевич Ваксель, воротившись из Англии, задал попойку товарищам. Это было в глубокую осень, когда уже выпадал снег. Жил он где-то за Владимирской. Часу в третьем ночи гости его, собираясь домой, потребовали, чтоб он достал им извозчиков. Послали искать их; не нашли ни одного.

— Ну, вези как хочешь, собака немец! — сказал Озерецковский.

— Да у меня, Николай Яковлевич, одна лошадь да обшевни.

— Уместимся как-нибудь; вели закладывать, а мы выпьем еще по маленькой, на подковку лошадей!

— И то дело, — сказал хозяин и велел подать свежую миску пуншу.

Гости посоловели; пошли сначала упреки и понасердки, потом примирения, лобзания и слезы. Миска осушена. Докладывают, что экипаж готов. Гостей снесли одного за другим, уложили в обшевни и наказали кучеру свезти господ легонько на Васильевский остров, в

дом Академии, постучаться у дверей каждого и вызвать человека с фонарем, чтобы он отыскал своего барина и снес в постель. Приказание было исполнено в точности. Семерых кучер сдал в академическом доме, а восьмого свез в его собственный дом в 3-й линии, и когда человек вынул его превосходительство, кучер сказал:

— Ну, слава Богу, всех сдал счетом.

— Как всех? — спросил вернувшийся слуга. — Да там, никак, еще один.

— Что ты! — сказал кучер, — я принял счетом восемь человек.

— Нет, ей-ей, там есть еще один.

— Одолжи, брат, фонарика; посмотрим, так ли. Слуга поднес фонарь, и кучер увидел на дне обшивной девятого — это был сам хозяин Ваксель; он улегся с своими друзьями.

— Ну этого знаю, куда везти, — заметил кучер и поплелся домой.

Еще много носилось в свете анекдотов о членах Академии. Они куликали не одни: кученым присоединялись и исполнительные члены Комитета Правления Академии. В числе их был некто Василий Иванович Емс, про-

исхождения английского, родившийся в Архангельске; он говорил городским наречием, как гребец, пил напропалую, ругался, как подлейший извозчик, и участвовал с друзьями своими в самых развратных оргиях.

Мне случилось видеть их на обеде, который давала ежегодно Почтамтская Газетная Экспедиция Комитету Академии за какую-то уступку при подписке на Академическую газету. Экспедициею управлял тогда статский советник Иван Васильевич Мейсман, человек добрый и любезный, служивший сам прежде того в Комитете Академии. И меня приглашали на этот обед, как издателя журнала, от которого кормилась Экспедиция. Обед этот происходил обыкновенно в ресторации Луи, напротив Адмиралтейства, и оканчивался жестоким пьянством, а иногда и дракой. Емс был первым во всех этих мерзостях. В пример скажу, что он однажды, после обеда, спросил у своих товарищей: «Ну, господа, куда теперь поедем: в театр или к девкам?»

Не удивительно, что Емс существовал в моих мыслях как самый гнусный и низкий человек. Однажды, в начале 1817 года, мне

случилась какая-то надобность до типографии Академии наук, которой он управлял. Я отправился к нему поутру в десять часов в квартиру его, на Васильевском острове, в доме лютеранской церкви св. Екатерины. Я думал, что мне укажут куда-нибудь на чердак, в подвал или, по крайней мере, на задний двор. Нет! Он жил в нижнем этаже. У дверей колокольчик. Я позвонил. Отворили двери, и явилась чистенькая служанка.

— Здесь ли живет Василий Иванович? — спросил я.

— Здесь, сударь, пожалуйста.

Она сняла с меня шубу и, по чистым, хорошо убранным комнатам, провела в кабинет. Там, перед письменным столом, сидел в креслах, в парадном шлафроке, Василий Иванович Емс. Все вокруг его было чисто и порядочно. Увидев меня и вспомнив, где и как мы встречались с ним дотоле, он смутился было, но вскоре оправился и принял меня очень учтиво. Между тем как мы разговаривали, вошла в комнату жена его, дородная, милостивая англичанка, и, поклонившись мне учтиво, спросила у него о чем-то по-английски. Он

отвечал ей тихо и ласково, и она вышла. Кончив дело свое, я откланялся. Он проводил меня до передней. Мимоходом видел я дочерей его, хорошеньких, скромных, чисто одетых. Это зрелище изумило меня: неужели этот опрятный, благообразный отец прекрасного семейства и пьяница, развратник, сквернослов Емс — одна и та же особа? Точно так.

Дома он был порядочный англичанин: с приятелями — грубый и развратный мужик архангелогородский. На одной из пьяных пирушек поражен он был параличом. Его свезли домой. Из неблагопристойных выражений его в разговоре с призванным к нему врачом, из разодранной и загрязненной его одежды дочери увидели его гнусное положение и догадались, что это случается с ним не в первый раз. Он вскоре потом умер, а одна из дочерей его, с отчаяния, сошла с ума!

Повторяю, что эти пьяницы были гораздо общепольнее нынешних чопорных всезнаек. Озерецковский и Севергин написали «Естественную историю», в семи томах, изданную на счет казны в 1789–1790 годах, которая доныне сохраняет свое достоинство. Озерецков-

ский писал слогом тяжелым и грубым (о чем свидетельствует его перевод Саллюстия), но знал языки основательно и обогатил терминологию естественной истории. В 1800 году он продолжал свои лекции до глубокой осени, потому что из академической конторы не выдавали ему должной за то платы, а мне это было на руку.

В последние годы своей жизни Озерецковский забавлялся разными причудами. У него был племянник в гимназии. Однажды Озерецковский увидел у него казенный синий клетчатый носовой платок, от которого у него посинел нос. Он дал ему другой платок, а этот повесил между редкостями в кунсткамере с ярлыком: «Платок спб. гимназии, в попечительство Уварова и директорство Тимковского!» Наконец он впал в совершенное расслабление. Грешно Уварову, что он, при праздновании столетия Академии в 1826 году, не дал ему жалкой звезды Станислава за прежние его великие заслуги. Он вскоре потом умер. Память его достойна жить в летописях русской науки. Тогда был иной век: и Петр Великий и Ломоносов жили не по-нынешнему.

Праздное время, а его у меня было довольно, употреблял я на чтение книг исключительно русских, потому что я не понимал достаточно языков иностранных. Их доставлял мне один подчиненный батюшки, Николай Иевлевич Сковычев, сохранивший к начальнику своему благодарность и по смерти его. Ежегодно, 24 ноября, являлся он с поздравлением к матушке.

Я потерял его из виду в конце двадцатых годов. Я любил музыку, охотно слушал игру на инструментах и пение, — может быть, оттого, что в детстве много водился с певчими. Решено было учить меня играть на скрипке. За это взялся Николай Михайлович Кудлай, мастер своего дела, ученик знаменитого Скиати (отца известной учительницы на фортепиано госпожи Мейер). Учение это продолжалось месяца три и кончилось ничем. Мне надоели экзерциции без всякой мелодии. Я немедленно хотел наслаждаться плодами учения и, не видя их, соскучился и, водя смычком по струнам, думал об ином, но и это кратковременное занятие музыкой принесло мне пользу: я познакомился с главными осно-

ваниями нотного письма, узнал размер нот, место каждого тона, что такое такт, ключ и т. д. Это мне было полезно впоследствии, когда я занимался переводом опер.

Все это отрывочное и непостоянное образование прекратилось совершенно по удалении матушки в деревню и по переселении нашем из дома Людвига на Фурштадтскую. Батюшка выходил со двора поутру рано за своими делами и возвращался домой, и то не всегда, к обеду. Иногда обедали мы у тетушки Елисаветы Яковлевны. Все время проводили мы почти в совершенной праздности, с крепостными нашими людьми. О них должен я сказать несколько слов.

Самым древним из этих лиц была эстляндка Елисавета, известная в доме под именем «старой Лизы». Она принадлежала еще бабушке Екатерине Мартыновне, потом перешла к теткам моим и, наконец, к отцу. В молодости, говорят, она была красавицей. Она пленила сердце какого-то семинариста, и плодом этого плена была дочка Мавра, которая, на основании какого-то закона, была свободной и служила в людях у богатых немецких

купцов.

«Старая Лиза» была преискусная кухарка и особенно славилась своими супами. От оригинальных капризов батюшки она терпела очень много. Однажды подали на стол поросенка под хреном. Батюшка, большой охотник до этого блюда, с неудовольствием заметил, что у поросенка обрезаны уши. Призвали к страшному суду бедную Лизу.

— Отчего обрезаны уши у поросенка? — спросил он.

— Не знаю-с.

— Как не знаешь, ты, старая!

— Виновата! Мыши отъели кончики ушей, так я их срезала.

— Мыши! Вот я дам тебе мышей. Садись, старая... и съешь сама всего поросенка, а я после мышей есть не стану. Садись и ешь, а не то я тебя...

Напрасно бедная старуха умоляла его, напрасно вступалась матушка — Лиза должна была съесть; ей подали прибор, и она, отрезав кусочек, положила его в рот. Вдруг раздалось: «Прочь, старая... с глаз долой и с проклятым поросенком». Старуха с трепетом взялась за

блюдо и унесла на кухню. Все мы сожалели о бедной Лизе, и я вечером пробрался в кухню, чтобы увидеть, как она перенесла эти истязания. Что ж? Старуха сидела за поросенком и с аппетитом убирала его. «Дай Бог здоровья Ивану Иванычу, — говорила она, — пожурил, да и помиловал. Славное блюдо». По кончине батюшки, когда я распустил всех наших людей, она переселилась к своей дочери, попала в дом доброй баронессы Раль, долго служила у ней и там скончалась.

Батюшка привез с собой из Италии молоденького мальчика Франческе, но он оставался у нас недолго и перешел к известному итальянскому импрессарио Казаси. После того приятель батюшки, Кретов, прислал к нему из Москвы, в подарок, молодого мальчика, по имени Афанасий. Это был человек сметливый, проворный, услужливый, добрый и довольно трезвый, но имел несчастную страсть к игре. В то время существовали в трактирах и харчевнях азартные игры, называвшиеся фортунками. Кажется, в них катали шариками в отверстия, как на китайских бильярдах. Афанасий пристрастился к этой забаве и

проигрывал все, что мог. Пошлют разменять синюю бумажку — нейдет домой часа два, потом явится бледный, расстроенный: «Вино-ват, как-то обронил». Можно вообразить, как это сердило батюшку, огорчало матушку, особенно когда финансы домашние были в плохом состоянии. А в прочем, Афанасий был слуга преисправный.

Дядюшка Александр Яковлевич Фрейгольд любил этого человека и утверждал, что он шалит оттого, что батюшка обращается с ним слишком строго. «Строго? — спросил батюшка. — Так возьми его себе, любезный друг. Я дарю его тебе, напляшешься с ним».

Александр Яковлевич отвечал, что подарка не принимает, а берет к себе Афанасия в услужение, чтоб доказать справедливость своего мнения. Вскоре потом уехал он с Павлом Ив. Мерлиным в Москву и взял Афанасия с собой. Вот пишет из Москвы: «Афанасий чудо человек: честен, исправен, трезв и т. п.». Вдруг похвалы умолкли. Что же случилось?

После годичной честной и беспорочной службы Афанасия дядюшка и Мерлин отправились куда-то зимой на бал, взяв с собой ге-

роя моего рассказа. Часу в третьем ночью выходят в переднюю, кличут Афанасия, — нет его; ищут шуб — и их нет. Оказалось, что верный слуга забрал шубы своих господ и еще сколько мог захватить, отправился в трактир и проиграл их. Афоньку воротили и отдали в солдаты. Это было в начале 1807 г. Он попал в один из армейских полков, стоявших в Петербурге, помнится, в Кексгольмский, или, как его звали, Кемзольский. После 1814 года явился он ко мне унтер-офицером, с Георгиевским крестом и медалями, и рассказывал о славных своих подвигах. Потом лет через пять пришел опять, но уже простым солдатом и без знаков отличия. Его разжаловали, как он сам говорил, за то, что полковой писарь выскоблил что-то в его бумагах, для доставления ему скорейшего производства, но, вероятно, за новый раздор его с фортуной. В начале сороковых годов явился он вновь ко мне отставным, дряхлым инвалидом. Иван Никитич Скобелев, по просьбе моей, поместил его в Чесменскую богадельню, где он и умер в 1842 г. Я должен был почтить память человека, который пекся обо мне в младенчестве моем. Ли-

тературный монумент поставил я Афанасью Силантьеву в «Черной женщине».

По смерти Крейца остались у него крепостные люди, родом эстляндцы. Две женщины: Мари с сыном Эвертом и Кадри с двумя дочерьми. Батюшка приобрел их покупкою; но они служили нам неохотно, надеявшись, что по смерти Крейца их отпустят на волю. Они непрерывно жаловались на горькую свою судьбу и повиновались только по принуждению. У отца моего не было никаких письменных видов на обладание ими; по кончине его я объявил, что, по малолетству своему, не знаю, кому именно принадлежат эти люди, и таким образом сделались они свободными, получая виды на жительство от полиции. Ныне (1851) нельзя было бы этого сделать, хотя и облегчены способы к освобождению людей из крепостного состояния. Потом я потерял их из виду.

И вот компания, в которой мы находились с братом Александром! Нужду терпели мы порядочную, чаю не пили, а довольствовались сбитнем. Я не жалею на эту бедность, на горький опыт молодых лет. Чего не перене-

сешь в молодости, в надежде будущих благ! Я приобрел этими лишениями независимость в жизненных делах. Обедать или не обедать, напиться чаю или холодной воды, для меня все равно, по крайней мере было так, когда я был помоложе. Зато и радовался я всякому счастливому случаю, доставлявшему мне какое-либо удобство и наслаждение. Лишение было для меня в обыкновенном порядке вещей; сытость и наслаждение — наградой, не всегдашнею. Оттого я доныне не пренебрегаю благами земными, не пресыщен ими, и благодарю Бога за все, что он ни пошлет мне. Зато я и более сострадаю бедным, зная, каково терпеть голод, стужу, унижение, неразлучные с бедностью.

Среди этого быта раздался над головами у нас громовый удар — смерть императора Павла, — но не устрасил нас, а, напротив, оживил, возвестив, что воздух очистится от мглы и затхлости, которыми был преисполнен в течение с лишком четырех лет.

11 марта пришли мы вечером домой от тетушки Елисаветы Яковлевны. На Фурштатской, напротив Аннинской кирки, жила сест-

ра генерал-прокурора Обольянинова. У ворот стояло, как и всякий вечер, множество экипажей. На другой день, часу в десятом утра, разбудили нас с братом громкие слова слуги:

— А молодые господа спят и не знают, что делается в свете.

— Что такое? — спросил я, протирая глаза.

— Да у нас, Николай Иванович, новый государь. Император Павел Петрович приказал долго жить!

— Да как ты это узнал?

— Барин, по обычаю, встал в шестом часу и куда-то отправился. Вдруг воротился он поспешно через полчаса и сказал: «Когда проснутся дети, скажи им, что государь умер». С этими словами он опять пошел со двора.

Мы с братом просидели весь день дома, а вечером пошли к Елисавете Яковлевне. Там было несколько человек гостей: они разговаривали об этом происшествии вполголоса. «Это что?» — спросил я у бабушки. Помню, она сказала мне по-французски: «Это правда, он убит». О обстоятельствах этого случая толки были разные. Часов в десять приехал ста-

рик барон Клодт, отец Карла Федоровича, усердный вестовщик, и все бросились к нему с вопросами, как было дело. Он отравлен, говорил один. — Его задушили, возражал другой.

— Я знаю подробности, — отвечал барон, — было и тои другое: он скушал чего-то за ужином и ночью почувствовал резь в животе, встал с постели и послал за лейб-медиком. «Bums war Pahlen da, Bums war Zuboff da; eins, zwei, drei, todt war todt» (Бац — тут Пален, бац — тут Зубков; раз, два, три — и мертвый был мертв). Достоинно замечания, с какой быстротой распространяются известия важные и неожиданные. Заговорщики, т. е. Пален и проч., приступая к подвигу, разослали приказание по заставам — никого не впускать в город. Полагают, что они хотели удержать за шлагбаумом графа Аракчеева, за которым послал император Павел. По всем дорогам остановились обозы, шедшие в город с припасами, и послужили проводниками живому телеграфу. Казус произошел в первом часу ночи, а в третьем часу разбудили с известием о том дядюшку Александра Яковлевича Фрей-

гольда в Пятой Горе, в семидесяти верстах от Петербурга, куда не могли поспевать ранее десяти часов, особенно в тогдашнюю весеннюю распутицу.

Изумления, радости, восторга, возбужденных этим, впрочем бедственным, гнусным и постыдным происшествием, изобразить невозможно. Россия вздохнула свободно. Никто не думал притворяться. Справедливо сказал Карамзин в своей записке о состоянии России: «Кто был несчастнее Павла?! Слезы о кончине его лились только в его семействе». Не только на словах, но и на письме, В; печати, особенно в стихотворениях, выражали радостные чувства освобождения от его тиранства. Карамзин, в оде своей на восшествие Александра I, сказал:

*Сердца дышать Тобой готовы:
Надеждой дух наш оживлен.
Так милья весны явленье
С собой приносит нам забвенья
Всех мрачных ужасов зимы.*

Державин выражается еще яснее: у него является Екатерина и говорит русским, что они терпели по заслугам, не послушавшись

совета ее взять в цари внука ее, а не сына. Стихотворения Державина представляют любопытную картину поэтического флюгарства. Он хвалил и Екатерину, и Павла, и Александра! Последняя хвала, при вступлении на престол Александра Павловича, была достойна замечания тем, что Державин при этой перемене пал с вершины честей; он лишился места государственного казначея. Государь пожаловал ему за эту оду перстень в пять тысяч рублей. Державин подписал в то время под портретом Александра:

*Се вид величия и ангельской души:
Ах, если б вокруг него все были хороши!*

Князь Платон Зубов отвечал на это:

*Конечно, нам Державина не надо:
Паршивая овца и все испортит стадо.*

А через полтора года эта паршивая овца или паршивый баран был назначен министром юстиции. Комедия!

Не стану распространяться о подробностях этого ужасного происшествия: они описывае-

мы были несколько раз. Тело покойного императора было выставлено в длинной проходной комнате, ногами к окнам. Едва войдешь в дверь, указывали на другую с увещанием: «Извольте проходить». Я раз десять, от нечего делать, ходил в Михайловский замок и мог видеть только подошвы его ботфортов и поля широкой шляпы, надвинутой ему на лоб. В том году светлое воскресенье было очень рано, 24 марта, и Павла похоронили накануне; по обеим сторонам улиц, где везли его тело, стояли войска, но в беспорядке, с большими интервалами. И солдаты и народ непритворно выражали свою радость.

Вступление на престол императора Александра было самое благодатное: он прекратил царство ужаса, уничтожил Тайную канцелярию; восстановил права Сената, дворянства и — человечества, отменил строгую и, разумеется, нелепую и бестолковую цензуру. Россия отдохнула. Но образ вступления на престол оставил в душе Александра невыносимую тяжесть, с которой он пошел в могилу. Он был кроток и нежен душой, чтит и уважал все права, все связи семейные и гражданские, а

на него пало подозрение в ужаснейшем преступлении — отцеубийстве. Всем известно, что он был совершенно чист в этом отношении.

Причуды и действия Павла доходили до сумасшествия: финансы были расстроены, интересы народного богатства, движения торговли и промышленности в нестерпимом стеснении, невинность и честность в ежедневной опасности; злоба, коварство долго имели перед собой широкое поле и действовали неослабно. После ожесточенной ненависти к Франции он восчувствовал нежнейшую дружбу к Бонапарту и готовил свою гвардию быть авангардом французских полчищ для завоевания Индии, т. е. вел ее на верную гибель, без малейшей пользы даже в случае самого блистательного успеха. Составился заговор для спасения России отправлением Павла. Участники его обратились к Александру и, представив все бедствия, терзающие Россию и угрожающие ей в будущем, вынудили его согласие на низложение императора, но с клятвенным обещанием щадить его жизнь и личность. Вышло не то и, вероятно, против

общей воли участников, говорят, от неистовства пьяного графа Николая Александровича Зубова... Неизгладимая грусть залегла в сердце Александра. На прекрасном лице его проявлялась она морщинами между бровями.

Александр был задачей для современников: едва ли будет он разгадан и потомством. Природа одарила его добрым сердцем, светлым умом, но не дала ему самостоятельности характера, и слабость эта, по странному противоречию, превращалась в упрямство. Он был добр, но притом злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно со всеми наружными знаками благоволения и милости: о нем говорили, что он употреблял кнут на вате.

Скрытность и притворство внушены были ему — и кем? Воспитателем его Лагарпом. Умный и строгий республиканец ненавидел сильных и знатных; с негодованием видел, как, при вступлении его в должность воспитателя будущего императора, вся эта подлая русская знать начала ему кланяться, как все перед ним раболепствовало и пресмыкалось. «Видишь ли этих подлецов? — говорил он

Александрю. — Не верь им, но старайся казаться к ним благосклонным, осыпай их крестами, звездами и презрением. Найди друга вне этой сферы, и ты будешь счастлив».

Уроки эти принесли плоды. Сохранилось письмо Александра к графу Виктору Павловичу Кочубею, бывшему тогда в Константинополе, писанное в начале 1796 года. Александр жалуется на свое положение, выражает все свое презрение к царедворцам того времени и говорит, что ужасается мысли царствовать над такими подлецами, что он охотно отказался бы от наследства престола, чтоб жить где-нибудь в глуши с своею женой. А через пять лет он сделался государем и выбрал себе друга, и этот друг был — гнусный Аракчеев. История этого временщика любопытна и поучительна. Я знал его довольно коротко и со временем опишу в точности. Александр видел в нем одного из тех, которые неповинны были в смерти Павла, видел человека, по наружности бескорыстного, преданного безусловно, и сделал его козлицем, на которого падали все грехи, все проклятия народа.

Я сказал, что смерть Павла отравила всю

жизнь Александра: тень отца, в смерти которого он не был виноват, преследовала его повсюду. Малейший намек на нее выводил его из себя. За такой намек Наполеон заплатился ему троном и жизнью. Это изложу впоследствии, а теперь расскажу анекдот, не всем известный. Когда, после сражения при Кульме, приведен был к Александру взятый в плен французский генерал Вандам, обagrивший руки свои кровью невинных жертв Наполеонова деспотизма, император сказал ему об этом несколько жестоких слов. Вандам отвечал ему дерзко: «Но я не убивал своего отца!» Можно вообразить себе терзание Александра. Он не мог излить справедливого негодования на безоружного пленника и велел отправить его в Россию. Его привезли в Москву, где он, как и все пленные французские офицеры высших чинов, жил на свободе. Глупая московская публика, забыв, что видит перед собой одного из палачей и зажигателей Москвы, приглашала его на обеды, на балы. Государь, узнав о том, крайне прогневался, велел сослать Вандама далее, кажется, в Вятку, а москвичам сказать, что они поступали безрассуд-

но и непристойно. Ни труды государственных, ни военные подвиги, ни самая блистательная слава не могли изгладить в памяти Александра воспоминаний о 12 числе марта 1801 года. Всех виновных этого гнусного дела мало-помалу удалили от двора и из столицы. Из них только один, Бенингсен, играл впоследствии важную роль, благодаря своим воинским талантам[17].

Талызин умер в мае 1801 года, объевшись устриц. На памятнике его, в Невском монастыре, начертано было: «с христианской трезвостью живот свой скончавшего». Потом заменили это слово «твердостью», но очень неискусно.

Пален отставлен был, кажется, за грубость, сказанную им императрице Марии Федоровне. Он удалился в курляндское свое поместье, названное им «Милостью Павла» (Paulsgnade), и умер с лишком осьмидесяти лет, сохранив всю бодрость своего ума. Говорят, что в 1812 году хотели было назначить его главнокомандующим армиею против Наполеона.

Князь Платон Зубов удалился в свои поме-

стья в Саксонии. Валериан Зубов оставался на незавидном месте директора 2-го кадетского корпуса, который при нем падал все более и более, оставшись на попечении невежды Клейнмихеля. Адъютант Палена, Франц Иванович Тиран, за неосторожные речи был сослан в Оренбургский гарнизон. Говорят, что не он, а только шарф его был употреблен в этом злодейском случае. Он женился на дочери знаменитого трактирщика Демута, ссорился с женой, жил то в Петербурге, то в Париже, где я видел его в последний раз в 1845 году, — дурак был не последний, но во всех формах светского человека и либерала.

Иван Саввич Горголи в молодости своей, служа в гвардии, был образцом рыцаря и франта. Никто так не бился на шпагах, никто так не играл в мячи, никто не одевался с таким вкусом, как он. Ему теперь (1851) за семьдесят лет, а он в этих упражнениях одолеет хоть кого. Он первый начал носить высокие тугие галстухи (на щетине), прозванные по нем горголиями. В 1800 г. он был плац-майором и состоял в полной команде графа Палена, следовательно, должен был ему повиноваться.

ся и исполнять его приказания беспрекословно. По этой причине его от двора и из города не удаляли, а держали в черном теле: он был лет пятнадцать полковником. В 1808 г. послали его с каким-то поручением к Наполеону, бывшему тогда в Байонне, и, по приезде оттуда, его назначили с.-петербургским обер-полицмейстером. Он от природы добрый и на месте этом зла не делал; только давал много воли своим подчиненным, видя в каждом квартальном и его помощнике офицера. Ну уж офицеры! В 1823 г. сменил его пьяный Гладков, о котором придется мне говорить в свое время. Горголи, пользуясь славою отличного полицейского, был употреблен в начале царствования Николая Павловича для исследования злоупотреблений в Кронштадте и, по глупости своей, наделал много зла. Потом поступил он, как и следовало, в сенаторы. Свидетельством невежества его может служить, что он в 1826 г. спрашивал у меня, какова история Карамзина, которой не случилось ему читать.

Довольно об этом ужасном, гнусном и постыдном для России событии. Прошло с того

времени пятьдесят лет, а страшно об нем вспомнить. Мы ужасаемся, воображая явление частного смертоубийства. Свирепый, необразованный, дикий человек вкрадывается в хижину своего врага, убивает его беззащитного и грабит. Картина отвратительная! А как сравнить с нею зрелище этого адского цареубийства! Особы высшего, образованного круга, воспитанные по указаниям философии и религии, знакомые с правами и обязанностями естественными и положительными, прокрадываются, как тати, в спальную хранину ближнего своего, человека, царя (для многих из них он был и благодетелем), осыпают его оскорблениями и предают мучительной смерти. Россия этого не хотела и не требовала. Зато и прошатались они всю жизнь свою как Каины, с печатью отвержения на челе...

Я сказал уже, что вступление на престол Александра приветствуемо было как самое счастливое и вождеденное событие. И в сане наследника престола был он любимцем и кумиром русского народа. Молодой, красавец, кроткий, любезный, благотворительный це-

саревич привлекал к себе все сердца и царствовал в России еще до вступления своего на престол. Опыт этот имел вредное влияние на характер его, мнительный и недоверчивый. Видев любовь народа к наследнику престола мимо царя, он сам убоился участи отца своего и не позволял, чтоб кто-либо из лиц его семейства, — разумеется, мужеского пола, — мог быть известен народу с хорошей стороны. По этой причине не объявлял он, кто будет его наследником, и не позволял этому наследнику являться народу в истинном своем свете.

Мы не знали великого князя Николая Павловича, или, лучше сказать, знали его с дурной стороны, видели в нем человека честного, строгого в исполнении своих обязанностей, но одностороннего, скрытного, взыскательного в безделицах, совсем не то, что оказалось впоследствии. Если б знали, что он наследник престола, если б знали качества его души и сердца, не было бы постыдного возмущения 14-го декабря, имевшего для России бедственные последствия. Ненависть к великому князю Николаю Павловичу была так ве-

лика, что ему предпочли бестолкового, взбалмошного Константина. Когда, утром 14-го декабря, на ектенью у обедни в церкви Симеона и Анны, провозгласили императора Николая, многие люди, и образованные и простые, со страхом выбежали из храма. В замену того, как просто, благородно, умно обращение императора Николая с своим наследником...

Александр, вступив на престол, удалил Кутайсова, Оболянинова и других царедворцев и призвал государственных мужей, пользовавшихся общей доверенностью: из них первые были Беклешов и Васильев; приказал пересмотреть все судебные приговоры и подобные дела прежнего царствования: возвратил невинно пострадавшим свободу, имущество, честь. Не могу выразить тех чувств любви и благоговения, которые внушали Александр и Елисавета, тогда еще соединенные узами любви и верности супружеской. В делах внешних водворился мир; раскрылись гавани и моря для внешней торговли. Избытки России потекли за границу. Прекратилась жестокая и глупая цензура. Заговорила русская литература, дотоле немая и заклепанная. Служ-

ба военная освободилась от прусского педантизма. Одежда офицеров и солдат сделалась благородной и изящной. Сначала исчезла пудра; вскоре обрезали и косы. При дворе явился посланник Бонапарта, красавец Дюрок, которому было суждено через 12 лет пасть от русского ядра, и прическа наподобие римской вошла в моду под названием а la Ducos. Появились вновь круглые шляпы, фраки (принимавшие вначале разные забавные формы и цвета) и т. п. Немецкая упряжь с шорами осталась за придворными и архиерейскими экипажами, светская публика помчалась на ямских. Лишь только миновал придворный траур, закипели забавы всякого рода: вечеринки, балы, танцевальные и музыкальные собрания. В Петербурге возобновился французский театр поступлением на него двух сестер: Филис-Андриё и Филис-Бертен, Дюкруа, Деглиньи и др. Французский театр процветал и при Павле, несмотря на все его предубеждения против тогдашней Франции. Особенно отличалась мадам Шевалье, урожденная Пуаро (сестра танцовщика Огюста). Муж ее был балетмейстером и получил по

этому месту чин коллежского асессора. Она занимала первые амплуа в операх и блистала своей игрой и пением. Главное же в том, что она была любовницей Кутайсова и делала из него, что хотела. К ней прибегали за протекцией и получали ее за надлежащую плату. И старик барон Клодт просил ее о пособии. Муж ее сидел в передней и докладывал о приходящих. Она принимала их как королева. Одно слово ее Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или к другому сановнику, и дело решалось в пользу щедрого дателя. Достоверное предание гласит, что этим темным каналом Зубовы испросили себе позволение приехать в Петербург (и были определены директорами 1-го и 2-го кадетских корпусов): через год отплатили они и Павлу, и Кутайсову, и предстательнице своей. Мадам Шевалье, вскоре по вступлении на престол Александра, выехала за границу, с дочкою, прижитою с Кутайсовым, и с того времени не выходила на сцену. Я увидел ее случайно в 1817 г., не зная, кто она. С троюродным братом моим И. К. Борном заехал я на пути из Швейцарии в Висбаден, где жила знакомая нам (по Эмсу)

премилая дама, госпожа Гризар (мать нынешнего славного композитора). Мы отыскали гостиницу (Zur Rose), где она остановилась, и вошли в ее комнату; у дверей ее в коридоре стоял лакей с салопами и на вопрос, чей он, сказал — какое-то общее армейское французское прозвище. У госпожи Гризар нашли мы двух дам, одну пожилую, другую молоденькую. После первых приветствий и изливания радости госпожа Гризар извинилась перед старшею дамой в том, что так гласно здоровается при ней, и сказала: «Вот те двое русских, с которыми мы с сестрою познакомились в Эмсе и о которых я с вами говорила». Мы поклонились им, и завязался общий разговор. Ужинать пошли за общим столом. Я сел с одной стороны, между госпожою Гризар и пожилою дамой, а Борн поместился напротив, с молодою, и вскоре разговорился с нею о музыке. Я сказал ему что-то по-русски. Соседка моя сказала, улыбнувшись:

— Мне приятно слышать звуки вашего языка.

— Так вы бывали в России?

— Была, и дочь моя родилась в Петербурге.

Тут я обратился с русским вопросом к дочери, но она посмотрела на меня, не понимая, что я говорю.

— Дочь моя, — сказала дама, — выехала из России на первом году от роду и, следовательно, не может знать по-русски, а я что знала, то забыла.

Потом начала она спрашивать меня о России, о некоторых лицах, о французском театре и т. п. Я отвечал ей, не догадываясь, но и не смел спросить, кто она. На лице ее видны были признаки красоты необыкновенной: умная улыбка, прекрасные глаза, приятный голос, беленькие ручки — все говорило в ее пользу. У дочери же ее был орлиный нос и восточный облик лица, как у турчанки. Отужинали и пошли в комнаты госпожи Гризар. Незнакомка с дочерью отправилась домой. «Кто эта дама?» — спросил я с нетерпением. — «Сама не знаю, — отвечала г-жа Гризар, — я познакомилась с нею как с землячкой, на прогулках и за общим столом. Женщина она умная и очень приятная. Только сегодня она меня изумила. Я зашла к ней, чтоб пойти вместе на воды. Заметив, что я одета

слишком легко по холодному времени, она предложила мне надеть шаль, выдвинула ящик комода, и я увидела в нем коллекцию драгоценнейших шалей на миллионы: она должна быть знатнейшая дама. Не знаю, как ее зовут...» — «Мадам Шевалье», — сказал я. — «Не знаю, — отвечала мадам Гризар, — а вы почему это знаете?» — «Мне сказал это лакей ее, стоявший у ваших дверей». И в ту же минуту догадался я, что это должна быть недавняя владычица России! Я сообщил мое открытие приятельнице моей и рассказал похождения героини. Мы должны были отправиться далее в четыре часа утра, и я не мог продолжать начатого знакомства, очень интересного. Брат ее сказывал мне впоследствии, что она постриглась и вела строгую жизнь в одном дрезденском монастыре.

Года через два возобновилась итальянская опера, в которой отличались мадам Каневас-си-Гарние, Ненчини (друг тетки Булгарина), Ронкони (отец нынешнего), Паскуа и многие другие. Оживилась и немецкая труппа. Русская обогатилась новыми талантами Самойлова, Черниковой, впоследствии его жены,

Семеновою и др. Петербург проснулся от тягостного сна и наслаждался свежим бытием. То же можно сказать и обо всей России. Блистательнейшим проявлением радости и надежд России было коронование Александра (15-го сент.), преданное бессмертию, в русской литературе, речью митрополита Платона.

С этого времени началась служебная и политическая жизнь двух лиц, весьма различных между собой. Николай Николаевич Новосильцев, тогдашний первый любимец императора Александра, просил начальство Московского университета дать ему, на время пребывания его в Москве, какого-нибудь студента в писцы. К нему прикомандировали белорусского поповича Федора Вронченко, нынешнего графа, министра финансов, действительного тайного советника и Андреевского кавалера, о нем непременно буду говорить впоследствии. Другой был Александр Иванович Чернышев, нынешний светлейший князь и председатель Государственного совета. Ему было тогда лет четырнадцать от роду. Как сын сенатора, был он на одном из балов, данных государю, и в одном экосесе очутился в

паре, стоявшей подле танцевавшего Александра. Веселая и приятная его физиономия приглянулась государю. Он стал расспрашивать юношу о разных дамах, бывших на бале, о их свойствах, слабостях и т. п. Юноша отвечал умно, смело и забавно, и очень понравился. На другой день государь велел спросить у отца, чего бы он желал для своего сына. «Определить его офицером в гвардию, если будет милость вашего величества», — отвечал отец. — «Этого нельзя сделать, — возразил государь. — Жалую его в камер-пажи». Через полгода Чернышев был выпущен в офицеры в Кавалергардский полк. Он отличился храбростью при Аустерлице и при Фридланде и получил ордена Владимирский и Георгиевский.

Государь всегда отличал его. В 1808 году отправил он его курьером к послу нашему в Париже, графу Петру Александровичу Толстому, с депешами и изустными приказаниями. Чернышев прибыл в Париж во вторник. Принимая депеши, граф Толстой сказал ему, чтоб он до воскресенья, приемного дня у Наполеона, не выходил со двора. Молодому шалуну было

очень досадно это затворничество в Париже. Вдруг является адъютант Наполеона и объявляет, что император, узнав о прибытии чрезвычайного курьера из Петербурга, просит графа Толстого завтра же привести его в Тюлиери[18]. Чернышев ожил. Наполеон, увидев на нем военные ордена, сказал: «А, вы один из недавних моих врагов! Где вы заслужили эти кресты?» Чернышев отвечал: «При Аустерлице и Фридланде»[19]. Тут Наполеон начал толковать об этих сражениях по своим бюллетеням и критиковать действия наших генералов. Юный поручик, забыв, что говорит с первым полководцем в мире, начал спорить и опровергать его показания. Стоявший за Наполеоном Толстой напрасно подавал ему знаки, чтоб он умерил свой жар. Чернышев, не замечая этого, продолжал отстаивать честь русской армии и принудил Наполеона с ним согласиться. Эта смелость и самоуверенность солдата понравились Наполеону, и он с тех пор видимо отличал Чернышева.

Он находился при Наполеоне и в австрийской кампании 1809 года. Известно, что австрийцы одержали верх над французами при

Асперне и отбросили их за Дунай, Наполеон сам едва не попался в плен. Конвой его сабельными ударами очищал ему дорогу среди толпы бегущих французов. Сев в лодку, он заметил, что нет Чернышева, и велел отыскать его. Ему доложили, что некогда медлить и должно отчалить. «Нет, нет! — возразил он. — Что скажут, когда взят будет в плен находившийся при мне офицер русского императора». Чернышев был найден и вместе с Наполеоном перевезен на правый берег Дуная. Утром, на другой день, Наполеон пригласил его к себе и просил съездить в Вену и узнать о расположении тамошних умов: перед вами-де, русским офицером, скрываться не будут. Чернышев отправился и нашел, что Вена в восторге и ликует о нежданной и неслыханной победе.

— Ну что говорят в Вене? — спросил его, по возвращении, Наполеон с нетерпением.

— Говорят, ваше величество, что вам помешал одержать победу генерал Дунай.

Действительно, разлитие Дуная очень помогло австрийцам.

— Прекрасная мысль! — воскликнул Напо-

леон, — Бертье, внесите это в бюллетень. Послушайте, Чернышев, австрийцы именно ратрубят свою победу, и до вашего императора могут дойти разные ложные слухи. Сделайте одолжение, напишите к нему как было, сущую правду. Подите к Маре, там вам удобно будет заняться.

Нечего было делать! Чернышев отправился в избу статс-секретаря Маре (это было в деревне Энцерсдорфе) и нашел, что его там ждали. Сначала думал он написать по-русски, но рассудил, что этим он огорчит Наполеона, который, впрочем, может при помощи какого-нибудь поляка разобрать его писанье. Итак, он сел за стол и написал полную и совершенно справедливую реляцию; только закончил ее следующими словами: «Словом, государь, французская армия была так разбита, что она теперь не существовала бы, если бы австрийской командовал Наполеон». Запечатав пакет своею печатью, отдал он его статс-секретарю. Часа через два Наполеон пригласил его к обеду и был к нему отменно ласков: видно, он прочитал письмо, и лесть ему понравилась. Это слышал я из уст самого князя

Чернышева в 1835 году. Последовавшие приключения его в Париже расскажу со временем — по иным источникам.

Александр, вступив на престол, окружил себя людьми достойными, в числе которых первое место занимали Александр Андреевич Беклешов и Алексей Иванович Васильев, Первый был назначен генерал-прокурором, последний государственным казначеем, т. е. министром финансов. Быв еще великим князем, Александр окружил себя молодыми людьми отличных дарований. Они были граф Павел Александрович Строганов, Николай Николаевич Новосильцев, князь Адам Адамович Чарторыжский и др. Они, и по вступлении его на престол, остались его друзьями и советниками. Когда подумаешь, как непредвиденна и различна была судьба этих трех лиц! Особенно они занимались с ним изучением политической экономии, и плоды трудов своих печатали в «С.-Петербургском Журнале», которого редакторами были Александр Федосеевич Бестужев (отец Бестужевых) и Иван Петрович Пнин, о котором буду говорить впоследствии. Этот журнал издавался только в

течение одного 1798 года.

Александр, желая облегчить сношения свои с министрами и другими лицами, не жил летом в Царском Селе, а поселился на Каменном острове, где принимал их регулярно и занимался неослабно, но нежная и кроткая душа его не могла долго выносить тогдашней тяжелой службы. К нему привозили большие кипы дел. Надлежало помыслить о сокращении его работ, об упрощении дел вообще, и оттого возникла мысль об учреждении министерств.

Дотоле правление делилось между тремя департаментами: иностранных дел, военно-сухопутным и морским — и генерал-прокурором. Последний был точно верховный визирь: ему подчинены были: юстиция, полиция и финансы, да и во всех прочих департаментах имел он прокуроров. Не постигаю, как могли тогда идти дела, особенно когда вспомню, сколько чиновников составляли канцелярию генерал-прокурора. Теперь погрузились мы в противную крайность: до учреждения Министерств, например, все медицинские дела заведывались Медицинской коллегиею, в

которой президентом был достойный Алексей Иванович Васильев. Ныне разделена она на несколько разных департаментов, с тысячами чиновников. Управление медицинской частью по армии и флоту производилось одним столом, в котором столоначальником был Андрей Константинович Крыжановский. Теперь этот стол раздвинулся на два многочисленных департамента. Более всего выиграли от того бумажные фабрики.

В первые годы царствования Александра два происшествия нарушили обыкновенный порядок и господствовавшую в то время тишину. Первое. Один молодой офицер Семеновского полка, Шубин, вздумал выслужиться и получить награду за открытие небывалого заговора. Однажды летом, в вечернюю пору раздался пистолетный выстрел в одной из куртин Летнего сада. Бросились на выстрел и нашли лежащего на траве молодого офицера, обгаренного кровью; у него прострелена была левая рука выше локтя; подле него лежал пистолет. Его подняли, привезли домой, перевязали. На допросе о том, кем и за что он ранен, Шубин отвечал, что давно уже приглашают

его, безыменным письмом, вступить в тайное общество, имеющее целью убить государя, но что он пренебрегал этими приглашениями. Вчера подошел к нему в Летнем саду неизвестный человек в шинели, повторил эти приглашения, и когда Шубин решительно отказался от вступления в заговор, выстрелил в него из пистолета, который держал под шинелью, и скрылся. Стали искать этого человека, объявили, что за раскрытие его дадут большую сумму: никто не являлся, и все розыски были напрасны. Наконец открылось, что Шубин выдумал всю эту историю и сыграл комедию, чтоб получить награду за верность государю. Его лишили чинов и сослали на житьельство в Сибирь.

Другое происшествие было гораздо гнуснее. В Петербурге жила молодая вдова португальского консула Араужо, и жила немножко блудно. Однажды поехала она в гости к придворной повивальной бабушке, Моренгейм, жившей в Мраморном дворце, принадлежавшем великому князю Константину Павловичу, осталась там необыкновенно долго и, воясь домой в самом расстроенном положе-

нии, вскоре умерла. Разнеслись слухи, что она как-то ошибкой попала на половину великого князя и что он с помощью приятелей своих, адъютантов и офицеров, изнасиловал ее самым злодейским образом. Слух об этом был так громок и повсеместен, что правительство, публичным объявлением, приглашало всякого, кто имеет точные сведения о образе смерти вдовы Араужо, довести о том до сведения правительства. Разумеется, никто не явился.

Цесаревич Константин Павлович вообще представлял собой разительную противоположность Александру: он был суров, груб, дерзок, вспыльчив, не любил никаких полезных занятий, но притом был прямодушен, незлопамятлив и очень добр к приближенным. Однажды сказал он одному из своих любимцев, помнится, графу Миниху:

— Как ты думаешь, что бы я сделал, лишь только бы вступил на престол?

Миних гадал то и другое.

— Все не то: повесил бы одного человека.

— И кого?

— Графа Николая Ивановича Салтыкова за

то, что он воспитал нас такими болванами.

Константин отличался от Александра и на войне. Александр был храбр и неустрашим, хладнокровен и рассудителен в деле. Не знаю, как вел себя Константин в италийском походе: есть слухи, что он отличался тогда не только храбростью, но и величайшим самоотвержением. Впоследствии же он храбрился только до первого выстрела неприятельского, но, почуяв запах пороху, исчезал до конца сражения. Величайшею заслугой его было отречение от престола, свидетельствующее и о благоразумии его. Бог знает, куда бы затащил он Россию. Дай ему Бог за это царствие небесное! Мерилом его ума и понятий, впрочем, может служить то, что, по его мнению, следовало бы запретить *Русскую Историю* Карамзина.

Первые годы царствования Александра, как я уже говорил, были самые счастливые и благодатные. Вообще царствование его может делиться на следующие периоды: 1) От вступления на престол до Аустерлица; 2) от Аустерлица до Фридланда; 3) от Тильзита до начала Отечественной войны; 4) от начала Отече-

ственной войны до Тропшауского конгресса (1821) и 5) от Тропшауского конгресса до кончины его. В эти периоды характер и действия его изменялись чувствительным образом. С 1801 до 1805 года было царствование тишины, мира, кротости и благодати. В это время последовали многие важные и благодетельные государственные постановления, о которых я буду пространно говорить впоследствии. Россия была совершенно спокойна и счастлива. Литература воскресла от благотворных лучей свободы. Все веселилось и танцевало. Государь не участвовал в шумных удовольствиях, но допускал и поощрял их.

Но никто еще не угодил на людей, род гнусный и неблагодарный! Смирение, бережливость, снисходительность Александра наскучили людям, которые недовольны ничем настоящим и или выхваляют прошедшее, или теряются в мечтаниях и планах о будущем. В то время ходила по рукам сатирическая басня: «Орлица, Турухтан и Тетерев». Начиналась она следующими стихами: «Орлица царица над стаей птиц была» — и прославилась умом, победой, щедростью и проч. По

смерти ее, птицы, найдя, что Орлица слишком добра была, выбрали в цари злого и бестолкового Турухтана (морской петушок, *tringa ripnaх*, большой драчун). Он до того в короткое время измучил птиц, что они решились сбить его с рук и «убили Турухтана, избавились тирана».

Выбрали третьего: Тетерева (Александр был несколько крепок на ухо). Вот как он был описан:

*...Тетерев Глухой
Не царствует, корпит над скоп-
ленной добычей,
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов
обогащают.
Их гнусной завистью кто по миру
пошел...
Идет все на коварстве
И сущий стал разврат во всем
зверином царстве.
Чего ж и ожидать от птицы
столь безумной?
Ваш выбор безрассудный
Вам, птицы, дал урок таков,
Не выбирать ни злых, ни глупых
петухов.*

В салате и перец нужен! Александр был слишком кроток, и твердость характера заменил, в первые годы, лаской и снисхождением. Это слишком хорошо для поганого рода человеческого. Вот люблю нашего Николая! Милует, так милует, а как хватит, так поневоле запоют: «Боже, царя храни!». Правда, прямота, откровенность составляют, по мне, величие всякого человека, особенно царя. Что тут хитрить, когда можно велеть и приударить. Приказания не ограничивались такими стихами. Помню, в конце 1804 года обедал я однажды у Федора Максимовича Брискорна, который угощал Петра Степановича Молчанова, бывшего тогда в малых чинах (помнится, чуть ли не коллежским ассессором) и занимавшего важное место. Брискорн, по своему процессу, имел в нем надобность и угостил его щедро. Обедали только четверо: Брискорн, Молчанов, наложница Федора Максимовича, Анна Исааковна, о которой буду говорить в свое время, и я, бедный семнадцатилетний юноша, снискивавший себе пропитание уроками в темном пансионе и переписыванием бумаг Брискорна. Хозяин был в числе недовольных

правительством, и не удивительно, что отзывался о нем неблагоприятно, но Молчанов был в большом ходу. Поразобрав все тогдашние дела, он решил, что Россия падает, и Молчанов сказал: «Прочтите в Наказе Екатерины статью о приметах падения государств: вы все эти приметы найдете в нынешнем нашем положении». Брискорн придакнул с удовольствием.

Я затвердил эти слова. Но вот прошло почти пятьдесят лет с того времени, а Россия все еще держится на ногах и идет вперед. Любопытно было бы узнать, так ли говорил, так ли думал Молчанов, когда впоследствии был статс-секретарем Александра. Впрочем, он был человек умный и благородный и сделался жертвой зависти своих недоброжелателей и глупой, мнимой справедливости бестолкового князя Дмитрия Ивановича Лобанова-Ростовского.

Вообще очень любопытно и поучительно сравнивать произведения ума человека не старого, не знатного, с его образом мыслей и выражений, когда он состарится и выйдет в люди. Таким образом кто подумает, что Алек-

сандр Семенович Шишков, которого мы привыкли считать аристократом, и отнюдь не фрондером или либералом, в 1801 или 1802 году написал стихи на тогдашних министров в виде послания к Александру Семеновичу Хвостову. Они начинались следующими словами: «Реши, Хвостов, задачу. Я шел гулять на дачу».

Он описывает всех тогдашних министров и царедворцев самыми резкими чертами; о Чарторыжском говорит: «Вот Monsieur Bobo! В руке *massue d'Hercule*» (Вот господин Бобо! В руке палица Геркулеса — тогдашняя мода). Хвостов отвечал ему новыми колкостями на людей, дерзнувших без его позволения занять первые места в государстве, и заключал свои стихи замечанием, что умный человек «Считает дурака за тучу. И радуется, как пройдет».

Тогдашние люди скучали спокойствием, довольством, счастьем, словом, бесились с жиру. Вскоре миновали эти дни покоя и тишины. Поднялся ветер, забушевала буря, разразилась гроза. Тогда вспомнили о прежнем времени, да поздно было. Странно, подумаешь, какая судьба ожидает людей в свете. Где

любимцы Александровы, эти либералы и герои начала XIX века, отказывавшиеся от наружных почестей, чтоб придать себе более важности: Новосильцев имел в петлице Владимирский крест, Чарторыжский Анну на шее, а сами раздавали Александровские и Владимирские ленты! Чарторыжский, лишенный чинов и дворянства, влачит ветхую жизнь среди Парижа, потеряв и там все сочувствие к его делу. Новосильцев достиг всех орденов наших, был председателем Государственного совета и под конец спился: за несколько месяцев до кончины своей плясал он, пьяный, бычка в английском клубе. Граф Павел Александрович Строганов жил и умер с честью.

Оканчиваю здесь первую часть моих Записок не политическим событием, а переменой в моей жизни — вступлением в публичное училище, что составило для меня важную эпоху, богатую уроками и последствиями.

Глава пятая

Я уже имел случай говорить о расстройстве, причиненном в нашем доме отставкой батюшки. Матушка отправилась с сестрами моими и с младшим братом, Павлом, в Пятую Гору, к тетке своей Катерине Михайловне, а батюшка со мной и братом Александром переехал в дом Крузе на Фурштатской улице; это было в октябре 1800 года.

Смерть императора Павла разрушила все надежды отца моего на скорое помещение к должности: ратгаузы, предполагавшиеся по губернским городам, не состоялись. Других видов не было. К тому же он поразмолвил с П. Х. Безаком, у которого слуга, не зная господского дяди, заставил его дожидаться в передней. К чести Безака должен сказать, что он воспользовался первым случаем, чтобы объясниться и помириться с ним.

Все предположения о помещении меня в Петровскую школу, а потом в Московский университет рушились. Батюшка решил определить меня в Юнкерскую школу при Сенате, а брата Александра — во Второй кадет-

ский корпус. В мае 1801 года, снабженные рекомендацией Безака, отправились мы к А. Н. Ленину.

Здесь не лишним будет сообщить краткую, но верную историю этого учебного заведения..

Юнкерская школа учреждена была 14 января 1797 года, Для образования чиновников для служения по Сенату. Для этого возобновлен был старинный чин коллегии юнкера (граф А. И. Васильев начал свою службу с этого чина). Эти юнкера считались в 14-м классе, но производимы были прямо в титулярные советники. Во время пребывания их в школе назывались они титулярными юнкерами, состоя в 34 классе. Числом их было в школе пятьдесят, но не воспрещалось принимать и сверхкомплектных.

Юнкерская школа помещалась близ Пяти Углов, в особом доме, напротив Коммерческого училища, по Загородному проспекту. Предметами обучения были, кроме правоведения, преподававшегося в высшем классе, языки русский и немецкий, арифметика, геометрия, геодезия и алгебра, история и география все-

общая и русская и Закон Божий; французскому языку не учили, по причине развращения нравственности во Франции: так сказано в уставе медицинского училища. Латинский язык называли лекарским, неприличным дворянству! Директором школы назначен был обер-прокурор Осип Петрович Козодавлев. По неимению других учебных заведений, эта школа скоро наполнилась, и как ученики были вольно приходящие, то принимали и сверх числа, положенного штатом.

Учение шло успешно и удовлетворительно. Вдруг постигла ее неожиданная беда. Император Павел изъявил однажды досаду, что в военную службу поступает слишком мало дворян, и спросил у какого-то придворного: куда девались все наши недоросли?

— Известно куда, — отвечал царедворец в намерении повредить тогдашнему генерал-прокурору, князю Лопухину, — все в Юнкерской школе при Сенате.

— Да сколько их там? — спросил Павел.

— Четыре тысячи пятьсот человек, — отвечал правдолюбец.

Император вспылал и приказал всех

сверхкомплектных юнкеров отправить унтер-офицерами в армейские полки. Их было всего сто двадцать пять. Козодавлев в смущении приехал в школу, собрал всех юнкеров, прочитал имена остающихся пятидесяти, а всех прочих отправил при отношении в Военную коллегию. Их разослали по полкам; некоторых в Сибирь и даже в Камчатку. Все они погибли при тогдашней тяжелой службе. Последним оставался знаменитый игрой в карты и на биллиарде Савва Михайлович Мартынов.

Этим нанесен был Юнкерской школе смертельный удар. Она упала в существе своем и в общем мнении. Число учеников ее никогда не доходило до комплекта. Горя желанием учиться чему-нибудь, я с самого ее учреждения помышлял, как бы попасть туда.

В начале мая 1801 года, как сказано выше, отец мой отправился со мной к тогдашнему директору ее А. Н. Оленину. Я шел туда с детским восторгом, не помышляя о том, что от этого визита зависела вся будущая судьба и жизнь моя. А. Н. Оленин жил тогда в собственном доме своем у Обухова моста, отде-

ленном ему из имения тёщи его, знаменитой тиранки Агафоклеи Александровны Полторацкой. Он выстроил себе посреди двора отдельный флигель с итальянскими окнами, странный и неуклюжий. Взбираться к нему нужно было по тесной каменной лестнице с забегами (теперь все это перестроено). Мы нашли его, как я находил его потом в течение сорока лет, за большим письменным столом в кабинете, заваленном бумагами, книгами, рисунками, бюстами и проч. Он был тогда лет сорока, низенький, худой, с большим острым носом, учтивый, приветливый человек.

Странно подумать, как нравы и обычаи изменяются сами собой. Он был не более как действительный статский советник, а отец мой коллежский советник, летами старше его. Подав Оленину прошение с поклоном, он стоял во время чтения вытянувшись и, глядя ему в лицо, выжидал приказаний. У меня глаза разбежались от множества книг и картин, и я начал вертеться во все стороны. Отец удержал меня, взглянув с укором и гневом. Оленин, прочитав бумагу, отвечал, что исполнит просьбу. Батюшка поклонился, повернулся

как солдат и вышел из комнаты мерными шагами. Дорогою он пожурил меня за мое беспокойство и невнимание к важному лицу, перед которым мы стояли.

Еще должен я заметить один обычай тех времен: нельзя было войти в комнату с тросточкой; ее обыкновенно оставляли в передней. Лет за тридцать перед сим было иначе: в гостиную иначе не входили как с тросточкой. Еще одно: в XVIII веке редко кто носил перчатки, и я до сих пор не могу к ним привыкнуть. И многие старики их терпеть не могут: таким был Яков Александрович Дружинин.

Типом старинных франтов до своей кончины (лет в девяносто) оставался бывший директор Царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт. Я помнил его лет сорока пяти: он ходил всегда в светло-синем двубортном Фраке с золотыми пуговицами и с стоячим бархатным воротником, в черных шелковых чулках и в башмаках с пряжками. Осенью и зимой надевал он сверх этой обуви штиблеты. Жилет, галстух — все как в XVIII столетии: он хвалился этим постоянством как спартанской добродетелью. И, в самом деле,

он был постоянен, все тот же иезуит и шуток-карь. Говорил беспрестанно о чести и праводушии, брал по-немецки, т. е. понемногу, и преимущественно профитировал (искал выгоду) под благовидными предложениями. Ссылаюсь на лицеистов его времени.

Недели через две после визита у Оленина, отец мой сам отвез меня в Юнкерскую школу и, не застав дома инспектора, сдал одному из учителей, именно Борису Ивановичу Иваницкому.

Сообщу характеристику лиц, составлявших штаб Юнкерской школы. Директор А. Н. Оленин. Впоследствии я полюбил его искренно и был ему душевно предан, но здесь должно сказать, что он был преплохой директор, посещал школу только на экзаменах, да и то на час, не более, и очень мало о нас заботился. Зато мы его не знали почти вовсе и не имели к нему никакого чувства любви и уважения! Полагаю, что и он не любил нашего училища по каким-то отношениям и неприятностям.

Инспектором классов был Михаил Никитич Цветков, человек добрый, умный, ученый

и образованный, один из лучших студентов Московского университета, но большой чудак, к которому нельзя было применить. Обыкновенно он говорил мало, и о мыслях его надлежало догадываться; иногда же разговорится так, что и духу не переводит. Оставив службу по школе, он перешел в Министерство внутренних дел и, считаясь в канцелярии министра, участвовал в издании «Северной Почты». Дослужившись до чина статского советника, он умер скоропостижно от апоплексического удара (в июне 1813 г.) на Крестовском острове. В тот день он собирался обедать у меня и, вероятно, шел на Карповку, где я жил тогда в доме Крокизиуса, по левую сторону от Каменноостровского проспекта.

Школа состояла из четырех классов. Учителем русской грамматики, арифметики и катехизиса в младшем классе был Григорий Федорович Оралов, человек не дальний, простой, но знаток своего деда, трудолюбивый, усердный и предобродушный. Во втором классе русский язык и словесность преподавал Борис Иванович Иваницкий, воспитанник учительской семинарии, молодой человек лет

двадцати пяти, очень хорошо образованный, знающий и одаренный благородным вкусом. Со временем скажу, сколько я ему обязан. По упразднении нашего института, поступил он в горное ведомство и с начальником своим Дерябиным уехал на Урал. В этой службе протекла вся жизнь его: сыновья его — горные инженеры, и дочери вышли за горных офицеров. Последние годы своей жизни провел он в Барнауле на Колыванских заводах.

В третьем классе преподавал логику и красноречие Павел Петрович Острогорский, человек неглупый, умевший красно говорить и внушивший ученикам уважение и необходимый страх. Мы его очень боялись, хоть он не был суров, ни даже строг. Острогорский в молодости своей вздумал быть писателем и напечатал в 1790 году книгу в двух томах под заглавием: «Феатр чрезвычайных происшествий истекающего века открыт и представлен очам света. Т.П.О.»[20]. Книга эта составлена была из разных пустых анекдотов, рассказанных варварским и напыщенным слогом. Карамзин отделал ее по заслугам в «Московском Журнале»: несмотря на то, она в 1793

году вышла вторым тиснением. Острогорский никогда не говорил о ней. Мы вздумали было представить ему в числе школьных работ выписки из этой книги и просить его мнения о них, но побоялись.

Предметы математические преподавал добрый и почтенный Демьян Гаврилович Слонецкий. Всеобщей истории и географии учил человек предостойный, Павел Ефимович Холщевников. Мы были ему обязаны многим. Он был умен, говорил хорошо, знал наизусть все имена, места и случаи и объяснял толково и дельно. В 1813 году он приезжал в Петербург из провинции, где служил дотоле, и обедал у меня с Иваницким. С тех пор я потерял его из виду.

Немецкому языку обучал человек, о котором я до конца моей жизни буду вспоминать с любовью и благодарностью: Павел Христианович Шлейснер (Schleusner). Он был происхождением из Данцига, где родился около 1760 года, учился в тамошней гимназии с большим успехом, но не мог довершить своего образования университетским. Родители его обеднели и отдали его в мастерство к пе-

реплетчику. Он занимался этим мастерством добросовестно, но каждую свободную минуту улучал, чтобы читать книги, учиться, обогащаться сведениями. Не знаю, каким образом он попал в Россию. Памятно, что он был вызван братом своим, доктором медицины, искусным и известным врачом.

В конце восьмидесятых годов был он при тогдашнем блистательном немецком театре театральным поэтом (Theaterdichter), т. е. сокращал слишком длинные пьесы и трудные роли, писал сам куплеты и стихи для декламирования в торжественные дни и т. п. В то же время был он членом масонской ложи и сделался известен тогдашнему гроссмейстеру этого ордена, Ивану Перфильевичу Елагину. По смерти Елагина (22 сентября 1796 года) братья-масоны готовились совершить над ним торжественную тризну. Устроили великолепные траурные декорации в ложе, сочинили стихи для пения, речи для произнесения и занимались репетициею траурного торжества. Вдруг вошел в залу частный пристав и объявил высочайшее повеление о закрытии всех масонских лож в России. Они откры-

ты были потом, лет через пятнадцать, и опять закрыты в 1822 году. Об этом скажу в своем месте.

Шлейснер сделался известным с лучшей стороны как умом и познаниями, так особенно и благородством своей души. Он издал тогда роман в диалогах «Sobach, der glückliche Vater», во вкусе тогдашней чувствительной, добродетельной, домашней жизни. Ему предложили место гувернера при детях генерала Корсакова, и он принял это предложение с охотой. Воспитанниками его были: Алексей Иванович Корсаков, человек достойный и благородный, умерший в средних летах; дочь его замужем за князем Василием Петровичем Голицыным (рябчиком), что был губернским предводителем в Харькове. Никита Иванович Корсаков впоследствии женился на дочери калмыцкого хана Дундука и получил титул князя Дундукова с богатым приданым. Ныне он отставной полковник. Он отдал все свое имущество единственной дочери своей, вышедшей замуж за Василия Александровича Корсакова (равномерно и прозвище князя Дундукова), и получает от нее что нужно на

прожитие. Каждый вечер можно найти его в каком-либо спектакле: и в итальянской опере, и в собачьей комедии: только бы сидеть да смотреть или слушать. Анна Ивановна была за графом Петром Петровичем Коновницким; Марья Ивановна вышла за полковника Александра Ивановича Лорера.

Много способствовал образованию ума и характера молодого Шлейснера бывший в доме Корсакова гувернером швейцарец Петр Монтандр (Montendre), человек, как я слышал, необыкновенных познаний и достоинств. Он был женат на двух сестрах моего тещи Мюссара. Вторая жена его, Марфа Николаевна, умерла лет десять тому назад в глубокой старости, Шлейснер женился на дочери Монтандра от первого брака, Настасье Петровне, которая здравствует и поныне, женщине доброй и почтенной: она двоюродная сестра моей жене. Марфа Николаевна была ей тетка и мачеха и любила ее как родную дочь. Любовь Петровна, умершая в девицах года за три перед сим, пример женских добродетелей и самоотвержения. Сын его, Иван Петрович Монтандр, был в молодости большим шалу-

ном. В 1812 году граф Коновницын определил его в военную службу, и он дослужился до полковника и разных орденов кавалера. Он управлял, с 1836 по 1845 год, моими делами и разорил меня. Зато младший брат его, Франц Петрович (умерший в 1852 г.), водочный фабрикант, преемник Мартини, был человек честный и благородный.

Возвратимся к самому Шлейснеру. Кончив воспитание молодых Корсаковых, Шлейснер (в 1797 или 1798 г.) вступил в службу цензором. Должно знать, что была в то время цензура! Сущая испанская инквизиция. Не говорю о том, что запрещали и марали книги: преследовали и наказывали книгопродавцев, как злодеев и революционеров, за малейшее нарушение формы: я говорил о варварском поступке с пастором Зейдером. Таких случаев было несколько. Шлейснер, со своей стороны, делал, что мог, для спасения несчастных.

Однажды донесли полиции, что книгопродавец Бува (Bouvat) продает вредные книги. Его схватили и привели покамест в цензуру. Бедняк сидел в передней, среди полицейских, дрожал и плакал. Шлейснера послали осмот-

реть его книжную лавку. Когда он проходил в передней, Бува сказал ему трепещущим голо- сом: «Меня сошлют в Сибирь! Спасите!» — «Будьте покойны!» — отвечал Шлейснер. При- быв в лавку, он разглядел все книги в присут- ствии частного пристава, и объявил, что в числе их нет непозволительных. Вдруг заме- тил он на верхней полке «Путешествие Кокса по России», строго запрещенное, встал на сту- пеньки лестницы и столкнул, будто ошибкой, все томы его с полки: они упали за шкаф, где их нельзя было бы отыскать. По донесению его, Бува выпустили.

Коцебу, в известной своей книге «Достопа- мятнейший год моей жизни», говорил, что в рукописной его тетради, взятой у него при аресте его на границе и препровожденной в цензуру, была одна строка, заключавшая в се- бе смелое суждение об императоре Павле. Ко- гда, по освобождении его, возвратили ему ру- копись, он увидел, что эта строка покрыта гу- стыми чернилами. В книге своей он благода- рил неизвестного ему спасителя. Спаситель этот был Шлейснер: он читал рукопись у себя на дому. В ней не было ничего предосудитель-

ного, кроме этой строки. Шлейснер подозревал свою жену, прочитал ей это место, потом взял линейку и провел по строке широкую полосу. Чтоб оценить вполне важность такого подвига, должно знать, что благородный Шлейснер отваживал в этом случае все свое существование.

Потом был он определен учителем немецкого языка в Юнкерскую школу и пробыл в ней до закрытия ее. Не находя хорошей учебной книги для преподавания немецкого языка, он составил прекрасное руководство: «Опыт грамматического руководства в переводах с немецкого языка на русский», напечатанное в 1801 г. на счет казны. Этой книге обязан я познанием немецкого языка и доныне храню ее как святыню.

Шлейснер подавал нам, молодым людям, пример строгого исполнения своих обязанностей. Другие учителя приходили в класс через четверть часа или и через час после звонка, и еще долго беседовали с товарищами в дежурной комнате, а потом держали нас лишнее время для окончания урока. Шлейснер приходил ровно в десять часов и с ударом двена-

дцати выходил из класса. Должность свою отправлял он с большим усердием и радовался нашим успехам. Я был его любимцем отчасти и потому, что имел уже понятие о немецком языке.

Он в то же время был учителем в Коммерческом училище и, по истечении десятилетнего там служения, вышел в отставку с пенсионом. О. П. Козодавлев, узнавши его в бытность своего директорства Юнкерской школы, поручил ему в 1810 году издание «Северной Почты» на немецком языке, но она прекратилась через полгода за неимением подписчиков. Шлейснер оставался переводчиком при Министерстве внутренних дел до 1830 года: в это время место его понадобилось для молодого графа Кутузова, и Закревский уволил бедного старика. С трудом выхлопотал я для него единовременную награду годовым жалованьем. Он продолжал давать уроки, жена его и дети занялись обучением детей, и они жили очень скудно, но безропотно. Старик под конец жизни ослеп и скончался в 1838 году. Характер и благородство его старался я изобразить в лице Карла Федоровича

Миллера в моем романе «Поездка в Германию».

Здесь был огромный антракт в составлении моих записок. Думаю, лет пять, если не более.

Возобновляю их 4 октября 1861 года, в день для меня достопамятный. В этот день началось 49 лет назад издание «Сына Отечества», произведшее в направлении и судьбе моей решительную перемену. В этот день, в 1814 году, крещен был мой сын Алексей, а позднее последовала помолвка дочери моей Софии с К. П. Безаком. Начинаю продолжение моих записок не в том духе, в котором их начал и продолжал в прежние годы. Мне семьдесят пятый год. Почти все тогдашние мои современники окончили свою земную жизнь. Буду продолжать начатое покороче прежнего; во-первых, изменяет мне память; во-вторых, не знаю, когда вывалится у меня из руки перо, а будет это скоро. Тяжесть нравственная, душевные заботы гнетут меня более недугов физических, которые, благодаря Богу, не так сильны, как бывают в таких летах. С Богом

начинаю.

В начале июля явился я в школу. Инспектор принял меня ласково и повел в классы, именно в первый: низший. Шел урок русского языка; по приказанию Цветкова, Г. Ф. Оралов продиктовал мне несколько фраз из какой-то книги. Я исписал всю доску. Оказалось, что в написанном мной не было ни одной грамматической ошибки и знаки препинания расставлены были как следует. Когда я кончил, Оралов обратился к ученикам со словами:

— Полюбуйтесь, как он пишет! Ни одной ошибки!

Тогда М. Н. Цветков сказал мне:

— Сделайте разбор этим предложениям.

— Что это значит? — спросил я.

— Ну, разберите смысл их.

— Я этого не знаю.

— Как не знаете? А почему вы пишете — в море, а не в морЪ?

— Потому — отвечал я, — что корабль шел еще тогда в море, а если бы он уже был в морЪ, я написал бы в конце — Ъ.

— То есть потому, что это предложный па-

деж?

— Может быть, — отвечал я, — но мне это неизвестно.

Все изумились: я знал грамматику на деле, а не знал на словах, точно так, как Мольеров мещанин в дворянстве, без ведома своего, говорил прозой.

— Нечего делать, — сказал Цветков, — вы останетесь в этом классе, но не надолго. Экзамен будет через шесть недель; вы успеете догнать других и перейдете в следующий класс.

Так и было: через шесть недель был я по экзамену третьим и перешел. Любопытная черта! Читая русские книги, со вниманием, занимаясь сам опытами, я сочинил себе грамматику без технических терминов! Не оттого ли я потом пристрастился к грамматике, что приобрел ее сам без труда, без принуждения, без досады.

В начале 1802 года стал я ходить для слушания лекций Закона Божия, по лютеранскому исповеданию, к пастору Рейнботу Старшему (умершему в 1813 году суперинтендентом, т. е. епископом). Лекции эти были самые скудные и жалкие. В огромной зале сидели с од-

ной стороны девицы, с другой — мальчики, в числе последних был некий обер-шталмейстер барон Петр Петрович Фредерике.

Лекция начиналась тем, что один из сыновей пастора, мальчик наших лет, диктовал нам некоторые изречения Священного Писания. Сам пастор являлся в зале за полчаса до звонка и толковал нам что-нибудь из катехизиса, без последовательности, без старания, без благоговения. Часто прерывал он речь, чтоб пошутить с девицами или подурочить кого-либо из мальчиков, в числе которых были необразованные и дикие сыновья простолюдинов. Только в два последние урока говорил он с одушевлением и чувством: понимается, девочки плакали, ревели. Тоже было и при всенародной конфирмации, в церкви: мальчики глазели бессмысленно, девочки хныкали и ревели. И какое учение преподавал он нам, детям! Самое ультрарационалистское. «Почему называем мы, — спрашивал он между прочим, — Иисуса Христа сыном Божиим? Потому что учение его было божественное».

От этого не мог я примениться к учению протестантскому и только со временем по-

чувствовал всю цену его простоты и духовного величия. Тогда я с большим благоговением посещал православные церкви и умилялся церковным пением, которое укоренилось в слухе и в душе моей и доселе трогает меня до слез. Иногда в чужих краях я посещал протестантские церкви, слушал лучших пасторов: Шмельца в Гамбурге, Кокреля в Париже, но умилялся душой только в православной.

Батюшка переселился с нами ко Владимирской, для того чтобы мне ближе было ходить в школу.

Летом 1802 года приезжала матушка из Пятой Горы с сестрой моею и братом Павлом. Помню еще, как мы с братом Александром обрадовались их приезду. Идучи, не помню откуда, домой, увидели мы на открытых окнах женские шляпки и догадались, кто приехал. Потом съехали мы в Чернышев переулок...

Батюшка искал места при помощи Безака, и наконец обещали ему должность вице-президента Юстиц-Коллегии. Указ о том был подписан всеми сенаторами, кроме одного графа Александра Романовича Воронцова. В сентябре 1802 года последовало учреждение мини-

стерств и необходимая перемена министров. Беклешов был уволен, а с ним вышел и Безак. Совместник отца моего, помнится Тересберн, успел склонить на свою сторону Воронцова посредством кривого Петра Петровича Новосильцева, которому уступил за это дом свой (ныне графа Орлова-Денисова, на углу Литейного проспекта и Пантелеймонской улицы), и определение было переменено. На место Беклешова поступил Державин, знавший отца моего издавна, и обещал ему помочь. Между тем матушка принуждена была воротиться в Пятую Гору, по невозможности иметь пропитание у мужа, который кое-как перебивался.

Учение мое в школе шло очень хорошо. Нас учили немногому, но учили добросовестно и основательно. В мае 1802 года был экзамен, в присутствии генерал-прокурора Александра Андреевича Беклешова. Старший юридический класс экзаменовали драматически. Лучший ученик был председателем, другие — членами гражданской власти. Прочие играли роль секретарей и адвокатов. Рассматривали действительное дело, доставленное из Сена-

та. Беклешов был в восхищении. Должно знать, что председателем в этом классе был умный и честный человек Илья Федорович Тимковский. Потом экзаменовали низшие классы. Меня, как самого бойкого, выдвинули вперед. Я отвечал на все вопросы громко, решительно, с детской отвагой. Беклешов спросил о моем имени.

— Греч, — сказал ему Оленин.

— Греч? — спросил Беклешов. — Не родня ли ты покойному профессору Кадетского корпуса?

— Я внук его, — отвечал я.

— Очень хорошо учится, — прибавил Оленин.

— Не диво, — отвечал Беклешов, — и отец его хорошо учился.

Когда я пришел домой, рассказал это отцу моему, он прослезился. Давно уже слезы радости и умиления не были ему известны. Беклешов на другой день прислал нам по апельсину и дал каникулы на три месяца. Былые патриархальные времена, вы канули в вечность! Не знаю, как проведены были эти каникулы моими товарищами, но мне доставили они

величайшую пользу. Должно знать, что П. Хр. Безак всячески старался помогать отцу моему, но, по строптивости характера своего дяди, должен был делать это очень осторожно. На одном аукционе батюшка купил когда-то за бесценок два толстых тома *in folio* исторического словаря. Безак изъявил желание купить его, хотя не имел в нем никакой надобности, и заплатил за него сто рублей. Батюшка отдал мне пятьдесят. На эти деньги брал я в течение трех месяцев уроки русского языка и алгебры у Б. И. Иваницкого, который занимался со мной с девяти часов утра до полудня, ежедневно переводил со мной, задавал мне сочинения, критиковал и поправлял их усердно и строго. Вот этим урокам обязан я многими познаниями и основанием искусства писать по-русски. Алгебра (по Эйлеру) восхитила меня и как дополнение к урокам математики, даваемым мне дядей Александром Яковлевичем, была для меня лучшей логикой. Не могу без искренней, пламенной благодарности вспомнить о Борисе Ивановиче Иваницком. Во всю жизнь старался я ему доказать это, и ныне, по кончине его, смотрю

с умилением на достойных детей его.

Матушка с сестрами и братом уехали, как я сказал выше, осенью 1802 года, в Пятую Горю. Брат Александр был в корпусе. Я жил один с отцом. В конце декабря, по возвращении от Державина, он сказал мне, что министр принял его очень ласково и обещал в скором времени дать ему место. Это говорил он за обедом, и когда встал, то почувствовал слабость в ногах. Они распухли до того, что на другой день он не мог обуться и вскоре слег в постель: у него открылась водяная. Его пользовал доктор Нордберг, брат Ивана Густавовича, но спасенья не было. Я бросился к бабушке, Христине Михайловне Фок. Она встретила меня высокопарными фразами, застонала, бросилась на колени. Муж ее, добрый Иван Егорович, принял участие в нашем бедственном положении и помогал нам.

Не могу без особенного уныния и ужаса вспомнить о том времени. Матушка не могла знать о болезни мужа. Говорили, может быть, о незначительном его нездоровье. Батюшка скончался 5 марта 1803 года. На нем были долги: сколько и кому он должен, я не знал и

просил полицию взять все наличное движимое имущество. Оно было оценено в 41 руб. с копейками и продано с публичного торга. У нас были крепостные люди: одна женщина с взрослым сыном, другая — с девочками. Они были приобретены от Крейца, но акта на куплю их не было. Я объявил, что не знаю, где они, и это была правда. Они жили потом на воле, по паспортам от полиции.

Я поселился у бабушки. Муж ее Иван Егорович служил директором Воспитательного дома, по деревенской экспедиции, заведывавшей воспитанниками, размещаемыми по деревням, и жил в Воспитательном доме, на том дворе, где гауптвахта, в нижнем этаже. До сих пор не могу проходить мимо без содрогания. Бабушка меня ненавидела, и я принужден был слышать самые оскорбительные отзывы о моем отце. И я выражался о ней не слишком нежно. Оттого происходили столкновения и стычки. Между тем я сдерживался, боясь огорчить матушку.

Весну 1803 года провел я в Пятой Горе с большим удовольствием. Между тем Юнкерская школа была преобразована в Юнкерский

институт и переведена на Большую Литейную, в дом, где потом помешалась Комиссия составления законов. Нас поместили на казенное содержание, одели в зеленые сюртуки с черным бархатным воротником: у дворян с красными выпушками, у пансионеров с синими, у разночинцев с желтыми. Было предположение о преобразовании института умножением числа учебных предметов, но все ограничилось тем, что нас стали учить французскому языку. Один бывший гувернер князя Лопухина, мосье Фламманд, преподавал французскую литературу, а только немногие умели у нас читать по-французски.

Плохое учение, да все же что-нибудь осталось. Помню, что я в то время не знал слова *cordonnier* (сапожник) и думал, что оно значит веревочник.

В мае 1803 г. был экзамен, в присутствии министра юстиции Державина. Между тем институт выродился: не было уже четвертого класса, в котором преподавалось правоведение. Нас выгнали из главного дома и поместили в надворном здании, а главное занято было Комиссиею составления законов — фан-

гасмагорией, которой известный шарлатан морочил правительство. Расскажу презабавный анекдот. При учреждении нашей школы, на здании ее красовалась надпись золотыми буквами на доске серого мрамора: Юнкерская школа. При переводе в другой дом остались на этой же доске некоторые буквы и вышло: Юнкерский институт. Когда же дом достался новому учреждению, надлежало переменить и надпись; следовало втиснуть в нее две строки: Комиссия составления законов. Последние два слова не уместались на доске, но как, по предложению Розенкампа, комиссия должна была кончить задачу свою в три года, то и положили, для сбережения издержек на новую доску, приставить к краям ее по деревянному концу. Так и сделали. Сначала казалась доска как доска, но лет через десять дерево сгнило, отвалилось, упали обе крайние буквы, уцелели слова: Комиссия оставления законов. Эта надпись красовалась несколько лет к забаве проходивших.

Весь институт наш расстроился. Директор А. Н. Оленин, по каким-то неприятностям или бюрократическим отношениям к высшему

начальству, не занимался им вовсе. Инспектором был у нас человек самый тяжелый и самый несносный, барон Федор Иванович фон Вальденштейн, не знавший грамоты и подписывавшийся статский советник. Он получил это место по ходатайству жены своей, бойкой русской бабы, считавшейся роднёю Державину, но притом доброй и гостеприимной.

Многие мои товарищи, имевшие хорошую протекцию, подали прошение об увольнении из института и получили оное с чином коллегии юнкеров, хотя не кончили курса, за неимением в институте высшего класса. Отважился и я: пошел к Оленину, подал ему прошение и был уволен с надлежащим чином. Но чин хлеба не дает. Я обратился к родственнику Г. Х. Безака, действительному статскому советнику Федору Христиановичу Вирсту, заведовавшему тогда статистическим отделением в Министерстве внутренних дел, человеку почтенному и доброму, о котором можно было бы сказать: «Хороший человек, да жаль, что немец».

Он занял меня для испытания статистикой Курляндской губернии; потом перевел я за-

писку о китайской статистике, для передачи ее ехавшему послом в Китай графу Ю. А. Головкину. Я делал все, что задавали. Вирст хвалил мою работу, но об определении моем молчал, а на вопрос мой о том отвечал, что это зависит от канцелярии министра. Директором ее был Сперанский, вице-директором Магницкий, а начальником отделения Ф. П. Лубяновский; столоначальником по отделению статистики М. К. Михайлов. Видно было, что они не расположены к Вирсту. Между тем задавались мне на пробу кое-какие работы.

Мне это надоело, и я объявил Вирсту, что хочу доучиться в новооткрывшемся тогда Педагогическом институте, что ныне С.-Петербургский университет, — чтоб искать если не счастья, то пропитания по педагогической части, к которой чувствую большое влечение. Вирст похвалил мое намерение. Вообще я чувствую непреодолимое отвращение к бюрократии, к чиновничеству, к этому пошлому тунеядству, называемому гражданской службой. Во всяком департаменте одолевает меня скука и голод. На юбилее моем, 27 декабря 1854 года, обратился я к действительному

тайному советнику Лубяновскому: «Ваше высокопревосходительство! Вы были начальником отделения в канцелярии министра внутренних дел в то время, как я там служил. Скажите, случилось ли вам в жизни видеть канцелярского чиновника хуже меня?» Он засмеялся, и его примеру последовали все бывшие за столом.

Откланявшись пресловутому министерству, отправился я в канцелярию Педагогического института, к директору его Ивану Ивановичу Коху, и был записан первым по времени вступления вольным слушателем. Я посещал лекции постоянно и прилежно, но не могу сказать, чтобы много ими воспользовался. Беседы с умными и образованными людьми, чтение хороших книг, собственные размышления и литературные опыты принесли мне больше прибыли.

Между тем нужно было помышлять о насущном хлебе, об одежде и прочем. Бабушка Христина Михайловна наследовала от сестры своей, Екатерины Михайловны Ренкевич, имение в пятьсот душ С.-Петербургской губернии, верстах в двадцати за Гатчиной, которое,

при порядочном управлении, дало бы хороший доход, и все могли бы жить, но она, в ожидании наследства, наделала долгов. Потом Еф. Еф. Ренкевич затеял с нею процесс, который ей стоил дорого. Она содержала матушку с дочерьми и меньшим сыном, а нам, Александру и мне, не давала ничего. Я решился сделаться учителем, потому что меня влекла к тому и собственная охота.

У тетушки Варвары Ивановны познакомился я с Григорием Григорьевичем Бочковым. Этот человек воспитывался в Академии художеств, хотел быть архитектором, но не успел, сделался любимцем инспектора-француза, проводил у него все время, выучился мастерски говорить по-французски, а впрочем, знал очень мало, был гувернером в Анненской школе и сам завел пансион. Я ему понравился моею смелостью и остроумиями, и он предложил мне место учителя русского языка, географии и истории. Я не давал слова и отправился к матушке с просьбой о дозволении заняться этим ремеслом. Дворянская кровь и в ней заговорила: она колебалась, но, видя, что я иначе существовать не могу, дала

мне согласие.

3 июля 1804 года дал я первый урок, и с этого времени считаю свою литературную и педагогическую службу. Уроками моими были довольны и содержатель пансиона, и дети, и их родители. В октябре был экзамен, на котором отличились мои ученики. Бочков жил в Кирочной улице, в доме Федора Максимовича Брискорна. Моя смелость и развязность противоречили сухости и педантству других учителей, и успехи учеников обратили на меня внимание Брискорна. Он пригласил меня к себе на другой день и предложил мне заняться у него делами по его процессу, назначив за то по двадцати пяти рублей в месяц. Кто был тогда счастливее меня! Бочков давал мне двадцать рублей, и так имел я в месяц срок пять рублей, будучи свободен в остальное от уроков и занятий у Брискорна время.

Я поспешил сшить себе сюртук серого цвета и заменить им мою прежнюю казенную форму. Остальные деньги — виноват! — употребил я на покупку книг, не думая о завтрашнем дне, и потому беспрестанно бывал в нужде. Да и Бочков платил неисправно. 1 ав-

густа, в счет за прошедший месяц, дал он мне новенькие синенькие бумажки. Не могу описать моего восторга, когда я держал в руках первые деньги, заработанные мной. У Брискорна работал я недолго. Почерк мой оказался неудовлетворительным, а у него не было другой работы, кроме переписки набело. Месяца через три, видя, что не могу быть ему полезным, я сам отказался от его работы, под предлогом других занятий. Мы остались в дружеских отношениях, которые не прекращались до его кончины.

О свойствах и похождениях Брискорна я упоминал раньше. Теперь скажу о домашней его жизни. Женился он на вдове Струковой, около 1808 года, чтобы покончить с нею спор по делу Кнорре. До того времени жила у него на обязанностях и правах супруги некая Анна Исааковна, женщина лет за тридцать, приятная, миловидная, необразованная, но неглупая и добродушная. Говорили (женщины), что она беглая матросская жена, но этого не могло быть, потому что она порядочно говорила по-немецки, умела одеваться и жить в свете; ручки у нее были истинно дворянские.

Я проводил с нею наедине по несколько часов и искренно любил ее за добросердечие и ласку ко мне; но кривое положение ее в нравственном отношении меня отталкивало. Однажды после интересной и благородной беседы я простодушно спросил у нее, каким образом она, обладая такими прекрасными качествами души, решилась унизиться до степени наложницы. «Ах, друг мой! — отвечала она, заливаясь слезами, — не спрашивайте меня о том! Вы еще слишком молоды и меня не поймете, но верьте, что я была достойна лучшей участи!» Никогда не забуду ее дружеское ко мне. Она направляла и мысли, и поступки мои: уроки этой падшей женщины были мне полезнее нравоучения дам, которые, в глазах света, слывут добродетельными. Кто поднимет на нее первый камень? Брискорн расстался с нею в 1807 году, когда женился на Струковой.

Когда вышел мой перевод «Леонтины» Коцебу (в 1808 году), я счел долгом поднести экземпляр Федору Максимовичу. Он жил широко и великолепно, в большом доме, близ Каменного театра. У дверей швейцар; везде

пыль и грязь; лакеи оборваны; в комнатах тяжелый запах; у камердинера протертые рукава и разнокалиберные пуговицы на кафтане; в дверь несутся нестройные звуки музыки: сыгрывались домашние музыканты. Из внутренних комнат слышалась громкая брань. Тут я вспомнил небольшую его квартиру на Кирочной, уютную, чистую, вспомнил пение канарейки, которая висела в комнате Анны Исааковны, вспомнил и ее, любезную, и с тяжелым сердцем вошел в кабинет, где встретил меня Ф. М. Брискорн с прежней лаской, но не с прежним тоном.

Анна Исааковна оставила дом Брискорна и на небольшой капитал купила себе дом в Москве; там жила она в 1812 году, лишилась при нашествии неприятеля всего, что имела, упала во время бегства и переломила себе ногу. Я видел ее перед тем в последний раз накануне моей свадьбы, 28 июня 1810 года, встретившись с нею на улице. Потом слышал я о ее бедствиях и не знал, куда она девалась. В 1830 году, не знаю по какому случаю, был я на каком-то празднике в градской богадельне, и в глаза мне бросилась надпись над одной кро-

ватью: «Анна Исааковна» (прозвища не помню). Я остановился. Вожатый мой объявил, что это кровать одной старушки, бывшей некогда и счастливой.

— Не она ли была в Москве и пострадала от пожара?

— Она, — отвечал мне.

— Да где же она сама? — спросил я с нетерпением.

— Вышла со двора.

— Жаль, — сказал я, — поклонитесь ей от Н. И. Греча, старого ее знакомого.

Через несколько дней приезжает ко мне благообразная чистенькая старушка и, прихрамывая, опирается на костыль. Смотрю — это моя добрая Анна Исааковна, все та же милая, умная, любезная. Я посадил ее на диван и побеседовал о старине. При прощании я ей сунул в руку бумажку и был награжден взглядом, которого никогда не забуду. Прежний чин ее был таков, что нельзя было представить ее моему семейству. Жена моя, конечно, сказала бы: «*Mais, mon cher, c'est une coquine*» [21]. Я проводил ее до крыльца. После того все спрашивали: кто была эта благородная жен-

щина, эта старушка-красавица? Она скончалась вскоре потом.

— Длинный эпизод! — скажут мне; да вся моя жизнь состоит из эпизодов, которые не интереснее этого. Уверенный в бессмертии души и в том, что умершие нас помнят, посылаю тебе привет, добрая Анна Исааковна!

По выпуске моем из школы поселился я у доброго инспектора Юнкерского института, барона Вальденштейна, занимая с товарищем моим, Федором Осиповичем Протопоповым, небольшую комнату. За квартиру, стол, завтрак и прочее я платил ему по 20 р. в месяц.

Позволю себе сделать отступление, упомянув об этом почтенном человеке. Барон Вальденштейн происходил от дворянской австрийской фамилии и учился в Венском кадетском корпусе, состоявшем под командой храброго гусарского генерала Габриани, который не знал грамоты и подписывал бумаги несколькими черточками и, поставив за ними точку, произносил важно: «Габриани». По выпуске из корпуса, Вальденштейн поступил в полк, в надежде отличиться военными по-

двигами, но в то время войны не было: целую неделю занимались строевым учением, а по субботам проходили тактику, то есть расставляли на столе разноцветные шашки, означавшие офицеров, унтер-офицеров и солдат, и испытывали разные построения. Терпение молодого человека лопнуло; он бежал из Австрии в Россию и поступил в Польше в С.-Петербургский легион, под команду генерала Леццано, исходил несколько кампаний и, устарев, перешел в статскую службу. Служил он председателем новгородского верхнего земского суда и женился на дворянке, вдове, бой-бабе, родственнице жены Державина. Посредством этой связи она доставила мужу место инспектора в учебном заведении. По упразднении института удалился он в Новгород и жил там до кончины своей.

В 1817 году, приехав в Франкфурт-на-Майне, познакомился я с братом его, не последним чудаком. Он жил небольшим пенсионом, спал до полудня и являлся потом к обеду (в час пополудни) в одну из первых гостиниц — Weidehof, Weinbach или Zum roemischen Kaiser, но не обедал, а пил кофе после обеда,

беседуя с гостями. Потом, в восемь часов вечера, когда прочие ужинали, он обедал. Его угощали в этих домах безденежно за то, что он забавлял гостей своею болтовнёю, и он командовал прислугой беспредельно. У него была фантазия собирать табакерки, и всяк, с кем он ни познакомится, должен был давать ему табакерку на память: по смерти его нашли их у него более тысячи.

Елисавета Алексеевна Вальденштейн — баба вздорная, упрямая, крикунья и сплетница, была хорошая хозяйка и большая хлебо-солка и кормила нас по горло — царство ей небесное! Потом переехал я к Бочкову и часто голодал за пансионным обедом.

В это время произошли в нашем домашнем быту замечательные происшествия, нимало не отрадные. 4 августа 1804 года скончался, как я уже говорил, дядюшка Александр Яковлевич. Во всю жизнь чувствовал я грустные и бедственные последствия этой потери. Если бы он пожил долее (а ему было от роду только тридцать семь лет), я был бы удержан от многих необдуманых глупостей, которые имели влияние на то, что называется судьбой

человека и что в самом деле есть только движение руки и головы его.

Бабушка моя наследовала все имение сестры своей Ренкевичевой. Внук третьей сестры, Марии Михайловны Врангель (Иван Карлович Борн), остался в стороне, по нелепости тогдашних постановлений о наследстве; но бабушка объявила, что дает внуку свои десять тысяч рублей в дар. Иван Егорович Фок видел несправедливость этого выдела, но молчал, боясь своей Ксантиппы, а она надеялась, что слабый здоровьем Борн умрет до совершеннолетия от чахотки, как предсказывал в духовной своей отец его. По всем этим уважениям, прилагали о Борне всякое попечение: воспитывали его в Петровской школе, в пансионе Патиньи, потом определен он был в нашу Юнкерскую школу.

Между тем бабушка продала Пятую Горю Брискорну за 140 000 руб., разумеется ассигнациями, и получила с него 91 тысячу, а остальные 49 тысяч были рассрочены. На эти деньги купила она дом на Петербургской стороне, на углу Бармалеева переулка, и переселилась туда в 1804 году. Матушка с сестрами и братом

Павлом жила во флигеле. Бабушка, вздорная, бестолковая и своенравная, перебиралась в просторном доме из комнаты в комнату. Сегодня такая-то комната — столовая; придешь через неделю, она спальная, а столовая на другом краю дома, Однажды перенесла она столовую в тесный бельведер над домом. Подле большого дома, занимаемого хозяйкой, стоял другой, поменьше, в котором жил командир Белозерского пехотного полка, расположенного на Петербургской стороне, генерал Седморацкий. Дом этот оказался для него тесным, но бабушка не хотела лишиться такого знаменитого жильца и взялась пристроить к дому два флигеля. Для этого заняла она у старой родственницы, генеральши Гандваль, шесть тысяч серебром. Седморацкий ушел в 1805 году в поход и в следующем году умер. Квартира осталась пустой, а долг, от падения курса, возрос до 24 000 рублей на ассигнации.

Все это уменьшало ее капитал, но она надеялась на 49 тысяч, оставшиеся за Брискорном. Между тем в 1806 году, 30 марта, вышел указ, которым объяснялись и дополнялись

прежние постановления о наследстве: племянникам и потомкам их давалась доля, равная братьям и сестрам умершего вотчинника. Таким образом, И. К. Борн получил право на половину имущества, оставшегося после Екатерины Михайловны Ренкевич. Ф. М. Брискорн обратился к Христине Михайловне с требованием обеспечить на всякий случай права Борна и отложить половину полученного за имение капитала в кредитные установления. Но взятая ею излишне 21 000 была истрачена. Брискорн удержал недоплаченные 49 тысяч и удовольствовался обязательством Христины Михайловны, в случае требования Борна, вычесть недоплаченную сумму. С меня взял слово, что я не открою Борну секрета. Я отвечал, что сам не начну с ним говорить, но если он спросит — скажу ему всю правду. Здесь я должен забежать далеко вперед для окончательного описания эпизода. Это было в 1810 году. Борн жил со мною в доме Петровской школы, где я был учителем; он же служил в Департаменте государственного казначейства. Однажды прихожу домой поздно и вижу, что он лег. Всю ночь он вздыхал,

ошал и встал озлобленный. Мы сели за чай. Он взял чайник, стал наливать и вдруг остановился, поставил чайник, заливаясь слезами, и сказал:

— Нет, не могу молчать!

— Что с тобою? — спросил я.

— А вот что. Вчера приходил ко мне в департамент адвокат бабушки (сладивший для него это дело) и говорит: «Хотите ли, Иван Карлович, получить самым честным и справедливым образом семьдесят тысяч рублей с процентами за восемь лет — подпишите эту доверенность». Я изумился и попросил его дать мне время обдумать. Скажи мне, правда ли это?

— Суцая правда.

— Так ты знал это и не говорил мне?

— С меня взяли слово, что я не начну говорить тебе. Теперь ты узнал дело не через меня, и язык у меня развязан.

— Что же мне делать? Я не стану взыскивать с нее денег по записи и проценты. Но, кажется, имею все права на 49 тысяч, хранящиеся у Брискорна.

— Ты прав совершенно. Поди к Ивану Его-

ровичу (Фоку) и объяви об этом. Отдавать эти деньги старухе не нужно: она их промотает, как прочие.

Фок испугался и старался доказать, что запись составлена вообще, а не из опасения его иска.

— А почему вставлено 10 марта, день моего рождения и совершеннолетия?

У ответчика прилип язык к гортани. Решили, как предложил Борн. Бабушка удерживала взятые уже ею 21 тысячу и проценты. 49 тысяч от Брискорна получит Борн. Мы поехали к должнику. Здесь я должен привести черту добродушия Борна. Мы в то время забавлялись домашним театром. Когда мы вошли в просторную залу, Борн сказал с удовольствием: «Вот зала, какую желалось бы иметь для нашего театра». О деньгах, за которыми мы приехали, он и не думал. Вышел Брискорн и принял нас дипломатически. На первое объяснение Борна он сказал:

— Молодой человек, подумайте, что вы делаете! Вы отнимаете половину достояния у вашей благодетельницы и ее семейства.

— Позвольте мне, ваше превосходитель-

ство, в этом случае поступить, как я считаю лучше, и довольствуйтесь тем, что я не говорю с вами об остальных деньгах и о процентах. Что же касается до родственников, то со стороны их находится здесь Н. И. Греч, который согласен в том, что я прав беспрекословно.

Брискорн пошел в свой кабинет и вынес 49 пачек. Борн взял их, и мы откланялись. Приехав к бабушке, у которой жили матушка моя и тетушка Елисавета Яковлевна, он вызвал теток в другую комнату, разложил пачки на столе, разделил их на три части и сказал: «Вот вам, маменька Екатерина Яковлевна (как он звал ее), 16 тысяч, вот вам, тетушка Елисавета Яковлевна, 16 тысяч, а остальные 16 тысяч беру себе». Бабушка, слышавшая все это, закричала: «А сорок девятуую тысячу дай мне на погребение!» — «С удовольствием?» — сказал Борн и отнес к ней.

Борн не оставил потомства; фамилия его исчезла с ним, с его женой и дочерью. Но родней ему должны считаться все честные и великодушные люди. Мне придется в Записках моих говорить о подвигах глупцов, негодяев

и корыстолюбцев, но сначала должен упоминать, как можно чаще, о людях Божиих, оставивших нам примеры благодати и великодушия. Таков был Иван Карлович Борн.

Возвращусь к самому себе. Один знакомый мне учитель, не из педагогов, предложил мне летом 1805 года принять приглашение, сделанное ему, на которое он не мог согласиться, — преподавать русский язык в славившемся тогда пансионе госпожи Ришар.

Экс-содержательница была не француженка, а уроженка Швейцарии, один ее племянник был адъютантом и любимцем Кутузова, другой служил при почте. Она была замужем за профессором ботаники (которого называли садовником) Ришаром и, быв невестой, лишилась левого глаза: она прогуливалась с женихом своим в санях парой; пристяжная лошадь вышибла ей глаз комом снега. В старости она лишилась употребления ног и не вставала с кресел. У ней были два сына: один в статской службе, женатый на побочной дочери князя Юсупова, другой, Иван, был отъявленный негодяй, пропал на службе в каком-то гарнизонном полку. Но дочери ее имели лучшую

судьбу. Анна Францовна вышла за Клейнмихеля, когда он был только майором; известно, какую карьеру он сделал при Павле и Александре. У него был только один сын, граф Петр Андреевич, и много дочерей. Другая дочь Ришар, Елисавета Францовна, была замужем за Михаилом Александровичем Салтыковым (о котором я говорю в воспоминаниях о времени Александра), бывшим попечителем Казанского университета, потом почетным опекуном в Москве, получившим Александровскую ленту, когда он, от старости и болезни, лишился ума. Его дочь была за писателями Дельвигом и Баратынским.

Мария Христиановна Ришар завела пансион по смерти своего мужа и вскоре приобрела общее уважение. У ней воспитывались пансионеры императрицы Марии Федоровны, которых почему-либо нельзя было поместить в дворянских институтах: например, бывшая директриса Мариинского института Прасковья Ивановна Неймановская, до замужества Чепегова, турчанка, взятая в плен в малолетстве. Еще замечательно, что у ней в пансионе каким-то чудом воспитан был нынешний

действительный тайный советник Александр Сергеевич Танеев.

С отвагой молодости, которой, как пьяному, море по колено, я отправился к М. Хр. Ришар, жившей на Невском проспекте, где ныне помещается Коммерческий суд. Она приняла меня учтиво и ласково, но сказала, что я слишком молод. К счастью моему, вошел к ней зять ее М. А. Салтыков, человек умный, образованный, стал меня расспрашивать, почти экзаменовать, и удалось понравиться ему своею откровенностью, своими суждениями о тогдашней литературе. Старушка на другой день дала мне знать, что принимает меня учителем русского языка.

Через неделю кончились каникулы, и я вошел в класс, чтоб заняться моею должностью. Глаза у меня разбежались. За длинным столом, по обеим сторонам его, сидело около двадцати молодых девиц, одна другой прекраснее, одна другой милее. «Ай да грамматика! — думал я, садясь за стол. — У столоначальников канцелярии Министерства внутренних дел нет и не будет такой милой компании». Самолюбие молодого человека, выставленное

на жертву насмешливым вострухам, побудило меня заниматься моим делом как можно усерднее. Я готовился особо к каждому уроку; брал работы их на дом и приносил назад с замечаниями и поправками. Я назвал бы некоторых из них, если б не боялся оскорбить их напоминовением, что они, за тридцать четыре года перед сим, были уже взрослыми девицами.

Успехи их меня восхищали. Мария Христиановна вскоре увидела, что напрасно боялась моей молодости. Я был скромен и боязлив, и только в разборах поэтов давал волю своему воображению и слову. Почтенная старушка приняла участие в судьбе моей, дала мне средства обзавестись и явиться в свете как должно, и способствовала мне вступить в службу по гражданской части. Ее давно уж нет, но воспоминание о ней так еще свежо и живо в моей памяти, как будто бы я вчера был у нее в классах!..

Юнкерский институт преобразован был в высшее Училище Правоведения. Ко мне приставали, чтобы я вступил в это училище, и когда я объявил, что не хочу, мне возразили,

что я, вероятно, боюсь экзамена, которому для вступления туда подвергались, и очень строго, в Педагогическом институте. Это меня взорвало, я ударился об заклад, что выдержу экзамен, и подал просьбу о принятии меня в училище. Мне назначили день экзамена: 23 ноября 1805 г., в одной из аудиторий Педагогического института (там где ныне университет), в семь часов вечера. Места слушателей были расположены амфитеатром. Внизу за круглым столом сидели профессора Балугинский, Лоди, Кукольник, Тернич и Мартынов. На скамьях гнездились кандидаты. Они были почти все поляки. Я сел дальше, чтоб прислушиваться. Вызывали кандидата, спрашивали его, на каком языке он желает экзаменоваться. Поляки все избирали язык латинский, и говорили они очень свободно и правильно; но в науках, в логике, в истории, географии, математике и пр., они были очень слабы. Профессоры ободряли их: «bene, bene, продолжайте». Напрасно. Они оказались слабыми во всех этих предметах. До меня, последнего, дошла очередь в одиннадцатом часу. На вопрос о выборе языка я смело сказал:

— На каком вам угодно.

— Нет, выберите сами.

— Так на русском, — сказал я.

Помню все, что у меня спрашивали. Из логики об определении; из истории о Крестовых походах и о Сицилийской вечерне, из географии об острове Сицилии, из геометрии о Пифагоровой теореме; из физики общие свойства тел; из естественной истории о разделении птиц по Линнею. Я отвечал на все, не запинаясь. Дошли до последней графы: латинский язык. Я хотел было признаться, что очень слаб в нем, но добрый Тернич помог мне: он сказал своим товарищам по-немецки: «Мы обидим его, если станем экзаменовать в латинском языке: он не мог приобрести этих познаний без латыни. Прочие кандидаты говорят по-латыни очень хорошо, а в науках невежды». С ним согласились, и в графе при моем имени явилось благодатное слово *optime*. Я оказался вторым по экзамену из всех кандидатов. Первым был Иван Мих. Фовицкий.

На другой день я подал просьбу с объявлением, что домашние обстоятельства не дозво-

ляют вступить мне в училище. Заклад был выигран.

В статье моей «Воспоминания юности» высказал я, каким образом началось мое литературное поприще. Первым из напечатанных моих трудов были русские синонимы в «Журнале Российской Словесности», издаваемых Н. П. Брусиловым в 1805 году. Кто был счастливее меня, когда я увидел статьи мои напечатанными, да еще с похвальным отзывом редактора. Уже тогда запала во мне мысль о сочинении русской грамматики; я прочитал все сочинения об этом предмете. Особенно помог мне в том умный и знающий учитель француз Гаврила Леонтьевич Лаббе де Лонд (Labbe de Londres). И он был самоучка. Старший брат его был в Петербурге карточным фабрикантом, младший остался в Париже, учился в каком-то коллегииуме, когда вспыхнула революция. Идучи однажды по улице, он увидел толпу, которая вышла из предместья, взобрался на бочку и смотрел на неучей. Впереди несли на шесте голову принцессы де Ламбаль. Несший ее ударил ею по лицу мальчика. Лаббе упал с бочки и ударился бежать к

брату в Петербург. Прибежал в Руан, нашел корабль, отправлявшийся в Россию, и умолил капитана взять его с собой. Капитан согласился и привез его в Кронштадт. Тогда не было строгих правил по паспортам, особенно для тринадцатилетнего мальчика. Брат принял его к себе, поместил на чердаке и заставил разрывать карты на фабрике. Но мальчик продолжал учить украдкой, именно грамматику латинскую, прошел французскую, выучился очень хорошо русскому языку и пошел в учителя, беспрестанно совершенствуя и распространяя свои познания. Он приходил иногда к нашему гувернеру Делигарду. Потом встретился я с ним где-то, помнится, на даче и разговорился. Он полюбил во мне любознательного молодого человека и пригласил к себе. Я не брал у него уроков, но пользовался его поучительными беседами и узнал многое; он же указал мне превосходную грамматику Сильвестра де Саси. В предисловии моем к моей пространной грамматике я упомянул о нем с искреннею благодарностью.

В 1806 году Шлейснер рекомендовал меня в учителя к одной содержательнице панси-

она, его родственнице, госпоже Мюссар (Mussard); и так как это знакомство имело великое влияние на судьбу мою, то я должен распространиться о нем подробно.

Фамилия Мюссар была одной из самых старинных и почтенных в Женеве. Праотец ее переселился туда из Франции в XVI веке, спасаясь от гонения на реформатов. Петр Мюссар (Pierre Mussard) по словам Biographic Universelle de Michaud, supplement, tome 75, p. 47, родился в Женеве около 1630 года, был пастором и Лионе, потом в Женеве и прославился там своим учением и богословскими сочинениями. Бель (Bayl) называет его мужем весьма знаменитым. Он умер в 1786 году. Руссо в своей «Исповеди» упоминает о Мюссарах, своих родственниках; один из них был миниатюрист-живописец, живший в Женеве, другой, приобрев честной торговлей хорошее состояние, жил в Пасси, близ Парижа, занимался страстно конхилиологиєю, собирал вокруг себя общество ученых и образованных людей и любезных женщин. Руссо с чувством рассказывает, как приятно жид у него, и описывает бедственную его кончину: у него сдела-

ласть опухоль в желудке, и он умер с голода.

Известно, что Женева исстари, как всякая республика, раздираема была патриотами. Отец моего тестя, профессор Николай Мюссар, в шестидесятых годах XVIII века был приверженцем партии демократов, спорившей с аристократами, к которым принадлежал родной старший брат. Видя торжество своего противника, Николай Мюссар, надев праздничный плащ и прицепив шпагу, знак отличия гражданина, и взяв за руку тринадцатилетнего своего сына Даниила, отправился в ратушу, получил свидетельство в своем звании и со всем своим семейством выехал из пределов республики — куда? Разумеется, в Россию.

В Петербурге получил он, помнится, по рекомендации Вольтера, должность инспектора классов в Академии художеств, а жена его поступила инспекторшею в Смольный монастырь. Сына своего, с которым он вышел из Женевы, назначил он тоже в ученое звание, но молодой человек, вероятно по лености, объявил, что хочет быть часовщиком. Отец не хотел посылать его в Женеву, боясь влия-

ния своего брата-аристократа, а послал к одному приятелю и земляку своему, часовому мастеру, в Берлин, где молодой Мюссар выучился своему делу в совершенстве и, воротясь в Петербург, занялся этим мастерством с большим успехом. Он был очень красив собой и большой любитель прекрасного пола, любил увеселения всякого рода, обеда, пикники, карты и особенно был страстен к ужению рыбы.

Родственники его, желая укротить юного весельчака, женили его на молодой, хорошенькой немке, Марии Ивановне Гетц, из которой вскоре возникла глупая и злая баба. С самых первых пор замужества она стала мучить мужа и вскоре ему надоела. Желая отвадить его от частых выходов со двора, она утащила его подвязки. Он ушел без подвязок, которые были почти необходимы при тогдашней форме мужской одежды, и не носил их до конца жизни.

Но коммерческие и ремесленные дела его шли хорошо. Он выписывал на несколько тысяч рублей в год хороших карманных часов из Женевы (проходивших в то блаженное

время почти непонятной контрабандой) и сбывал их легко. Ходил заводить часы во многие знатные и богатые дома и снискал общую известность. В его магазине происходили сходы между вельможами и дипломатами, под предлогом поверки часов. Безбородко и Кобенцель, Сегюр и Гаррис (лорд Мальмсбюри) посещали его и беседовали между собой в его присутствии, полагаясь на его скромность. Несмотря на непрерывную его вражду с женой, фамилия его распложалась благополучно.

Глава шестая

Если некоторые воспоминания человека, увидевшего в жизни своей довольно интересных картин и лиц, могут быть приятны читателям, я вытащу из груды одну из старинных тетрадок моих, в которых и самые чернила приняли цвет поблекших листьев. Странно читать их ныне! Неужели это я? Неужели это мои мысли, мои ощущения! Как все изменилось! Как теперь это мелко и даже смешно! А как было мило, красно, восхитительно в то золотое время, когда гладкая фраза, счастливый стих и улыбка розовых уст казались первыми благами в мире! (А разве они последние?) Полно, — приступим к делу.

Отрочество и юность мои совпадают с прекраснейшим временем, каким когда-либо наслаждался свет: это были первые годы XIX века, первые годы царствования нашего незабвенного Александра. Европа отдохнула от десятилетней кровопролитной войны. Нации, дотоле расторгнутые враждой, сблизились, познакомились, подружились. Во Франции кормило правления было в руках дивного му-

жа, которому в то время весь мир беспре-
словно приносил дань уважения и хвалы. В
Англии жили и красовались Пит, Фокс, Шери-
дан, Нельсон. Пруссия была счастлива под
правлением юного, благолюбивого короля,
была счастлива своею прекрасной королевой,
недостигнутым и недостижимым образцом
женского совершенства и всех добродетелей.
Германия восстала после бедствий войны: на-
уки, литература возникли в ней с новой си-
лой; образовались новые школы, новые уче-
ния; живы были и Клопшток, и Фосс, и Шил-
лер, и Гердер. В России все пришло в счастли-
вое движение. Карамзин издавал «Вестник
Европы». С каким нетерпением ожидали мы
красненьких книжечек, через каждые две
недели! С каким восторгом читали, учили их
наизусть! И теперь случается мне слышать,
из уст сверстников по летам, фразы, заим-
ствованные из «Вестника», который, в чистых
русских переводах, сообщал нам мысли и чув-
ства первоклассных писателей того времени.
Макаров в «Московском Меркурии» жестоко
разил дурных писателей. В «Северном Вестни-
ке» сообщались статьи серьезные о науках, об

истории и т. п. В «Санкт-петербургском Вестнике», издававшемся при Министерстве внутренних дел, увидели мы образцы слога дидактического и делового, труды графа В. П. Кочубея, М. М. Сперанского и других отличных людей, принятых в новообразованное министерства. Возникло и образовалось Министерство народного просвещения, и одним из первых подвигов его был тогдашний благодетельный устав о цензуре.

Карамзин и слог его были тогда предметом удивления и подражания (большею частью неудачного) почти всех молодых писателей. Вдруг вышла книга Шишкова («О старом и новом слоге русского языка») и разделила армию Русской Словесности на два враждебные стана: один под знаменем Карамзина, другой под флагом Шишкова. Приверженцы первого громогласно защищали Карамзина и галлицизмами насмехались над славянщиною; последователи Шишкова предавали проклятию новый слог, грамматику и коротенькие фразы, и только в длинных периодах Ломоносова, в тяжелых оборотах Елагина искали спасения русскому слову. Первая партия называ-

лась Московской, последняя Петербургской, но это не значило, чтоб только в Москве и в Петербурге были последователи той и другой. Вся молодежь, все дамы, в обоих столицах, ратовали за Карамзина.

Должно сказать, что в то время Москва, в литературном отношении, стояла гораздо выше Петербурга. Там было средоточие учености и русской литературы, Московский университет, который давал России отличных государственных чиновников и учителей и через них действовал на всю русскую публику. В Москве писали и печатали книги гораздо правильнее, если можно сказать, гораздо народнее, нежели в Петербурге. Москва была театром. Петербург залюю театра. Там, в Москве, действовали; у нас судили и имели на то право, потому что платили за вход: в Петербурге расходилось московских книг гораздо более, нежели в Москве. И в том отношении Петербургская Литература походила на зрителей театра, что выражала свое мнение рукоплесканием и свистом, но сама не производила.

Время, суждение хладнокровное и беспристрастное, и следствия основательного уче-

ния объяснили тогдашнюю распрю и примирили враждебные стороны. Москва стояла за слог Карамзина; Петербург вооружался за язык русский вообще. Здесь хвалили материал; там, в Москве, возносили искусство художника. Разумеется, что наконец согласились. Карамзин сам был чужд этим толкам и браням. Кончив издание «Вестника Европы» (с 1803 года), он, в течение пятнадцати лет, не печатал ничего и занимался только своей «Историей». Она удовлетворила многим требованиям (я говорю только в отношении к языку), но — воля ваша! — прежде он писал лучше. И повести его, и «Письма русского путешественника», и статьи «Вестника Европы» написаны слогом приятным, естественным, не отвергавшим прикрас, но и не гонявшимся за красотами. Я несколько раз читал его «Историю Русского Государства»; занимаясь сочинением грамматики, разложил большую часть его периодов, исследовал почти все обороты; находил многое хорошим, прекрасным, правильным, классическим, но вздыхал о «Бедной Лизе»! В слоге его Истории видны принужденность, старание быть красноречи-

вым, насильственное округление периодов: все искусственно, все размеренно, и не то, что прежде. Поневоле воскликнешь с Пушкиным:

*И, бабушка, затеяла пустое:
Окончи лучше нам Илью-богаты-
ря!*

И в это время борьбы старого с новым, проявления невиданных дотоле творений, мыслей и выражений, выходил я в свет жизни и литературы. Отец мой, видя мою страсть к чтению, к сочинениям, к переводам, заметив отвращение к делам приказным, которыми иногда пытались занимать меня, хотел дать мне воспитание ученое и литературное: хотел отдать меня в Петровскую школу, а потом отправить в Московский университет, на попечение одного старого друга и товарища; но беспрестанные развлечения и тяжкие труды по должности препятствовали ему исполнить это намерение. Он все откладывал, откладывал, — доколе обстоятельства не переменились: он очутился без места, без хлеба; младшего брата отдал во 2-й кадетский корпус, а меня в Юнкерскую школу, которая была учре-

ждена при Сенате, для образования правове-
дов и канцелярских служителей. Мне был то-
гда четырнадцатый год. Дотоле занимался я
из наук только математическими; имел са-
мые скудные понятия о грамматике француз-
ской (сообщенные мне сенатским курьером,
гимназистом Сухопутного корпуса, служив-
шим в департаменте отца моего), но более не
знал почти ничего. Взамен учения, я много
читал и размышлял. Географию, историю все-
мирную и русскую изучил без чужой помо-
щи; в литературе знал всех русских писате-
лей не понаслышке, а потому что прочитал
их, и не раз. Поверите ли вы, что я знал почти
наизусть Ролленову древнюю и римскую ис-
торию по переводу Тредиаковского. И теперь,
если угодно, расскажу вам все сплетни и раз-
доры преемников Александра Македонского.
Еще слушал я лекции Н. Я. Озерецковского и
В. М. Севергина о естественной истории, кото-
рые читаны были каждое лето в кунсткамере.

Скудное, жалкое образование! — скажете
вы. Точно скудное, но не жалкое. Из истории
собственного своего учения вывел я несколь-
ко полезных уроков. Во-первых, что не нужно

обременять слишком молодых людей систематическим учением, так называемым развитием рассудка. Где есть рассудок, там разовьется он сам собой, а где его нет, там не разовьют его легионы педагогов. Дайте укрепиться физическим и умственным силам и потом занимайте их серьезно. До десяти лет дети больше должны учиться слушая, разглядывая; в это время можно положить основание изучению языков, но только практическим образом. Собственно школьное учение должно начаться позже. Видал я чудесных детей, которые на пятом году от роду рассказывали всю греческую и римскую историю, на шестом сочиняли арии, на седьмом разрешали уравнения второй степени. Потом встречал я их в свете — чудесными дураками.

Еще вредно — многое знание! Постойте, не гневайтесь! Главное в воспитании есть образование ума и сердца, а не наполнение памяти. Научите юношу правильно мыслить и судить, внушите ему любовь к занятиям, любовь к наукам, к истине, к изящному, и если он одарен от природы понятливостью и памятью — ему довольно этого воспитания. Мно-

жество предметов учения, разнообразных и противоречащих, доступных только немногим избранным, утомляет и ум, и память учащихся, затмевает в глазах их существенное мелкими подробностями и исчезает по выходе из училища, как дым, оставляя в душе усталость и отвращение к занятиям. Мне жалко смотреть на экзаменах, как молодые люди терзаются вопросами по всем частям человеческих познаний! И на одну из этих наук едва ли достаточно было бы сил юноши, а он отвечает из двадцати, отвечает двадцати человекам, которые только одним этим предметом и занимаются. И где же в жизни эти великие гении, которые удивляли нас своими познаниями и талантами перед черной доской?

Тысячу раз в жизни жалел я, и горько жалел, что учение мое было штучное, мозаичное, что я с великим трудом, в зрелом возрасте должен был приобретать то, что легко мог бы присвоить себе в детстве и юности: жалел, что не знаю того, не дошел до иного. Но все на свете к лучшему; если бы я был учение по многим частям, то, вероятно, не мог бы

уделить всего своего внимания той части, в которой, кажется, не совсем был бесполезен.

Впрочем, я все еще оставался в Юнкерском институте. Страсть к словесности обуяла многих из моих сотоварищей. Мы писали, составляли планы, собирались печатать, издавать и уже сочинили было программу журнала «Халос». Самый ревностный пиита был у нас Иван Гаврилович Аристов, сын саратовского помещика, дальний мне родственник по деду своему, царицынскому коменданту Цыплятеву, прославившемуся храбрым отражением Пугачева. Он был годами тремя старше меня и получил довольно хорошее воспитание: говорил по-французски, понимал по-итальянски и как-то невзначай открыл в себе дар стихотворства, то есть способность низать рифмы. Восхищенные талантом товарища, мы единогласно прозвали его гением.

Другой товарищ мой, милый, образованный, прекрасный собой, был Иван Козьмич Буйницкий, который испытывал силы свои в прозе и написал историческую повесть «Ермак», в подражание «Марфе Посаднице» Карамзина, которой бредили тогда все молодые

люди.

Третий, Андрей Степанович Милорадович, очень хорошо воспитанный, притом достаточный, скромный, трудолюбивый, преимущественно занимался переводами с французского. Долгое время сомневались мы в своих силах и робели выйти на поприще словесности. Аристов решился отвесть счастья: не сказав нам ни слова, отправил два стихотворения в «Вестник Европы», издававшийся тогда Поповым, и через две недели они появились в свет. Этот успех восхитил все наше литературное сословие, и мы стали посылать свои произведения в московские журналы, но, увы! они пропадали без вести!

Вдруг, это было в конце 1804 года, Аристов объявил нам, что один его знакомец, человек богатый и щедрый, желая сделать себе имя в литературе, задумал издавать журнал и приглашает к себе нас, юных поклонников муз. В самом деле, вскоре вышло объявление о «Журнале для пользы и удовольствия на 1805 год», и вслед за тем вереница неоперенных птенцов парнасских потянулась в Лешиков переулок, славный дотоле своими банями, а

ныне превратившийся в Ипокрену. Мы ревностно занялись работами. Буйницкий исправил свою повесть; Аристов написал несколько десятков стихотворений; Милорадович сообщил свои переводы с французского; я переводил с немецкого.

Наставником и руководителем нашим был Александр Иванович Л., человек основательно ученый и умный, но автор и стилист очень плохой. Он находил славное удовольствие в занятиях переводами самых безнравственных книг: ему русская литература и мораль обязаны Фоблазом, Антенором и «Вредными знакомствами». Между тем, в жизни он был человек кроткий, честный, нравственный, если не принимать в уважение слабости, которой подвержены были почти все наши поэты и прозаики XVIII века. Он читал наши сочинения и переводы, советовал, хвалил, порицал, исправлял. Я был последним в этом обществе: большею частью молчал и слушал. Могу сказать по справедливости и с благодарностью, что эти вечера принесли мне большую пользу. Самолюбивые юноши, напитанные галлицизмами, не соглашались на поправки Л., ко-

торый ненавидел новую школу и, за насмешливый отзыв Макарова о его переводе Антенора, предавал анафеме все московское; от этого рождались споры, высказывались истины; спорщики в новых распрях забывали прежнее, но я, посторонний и уединенный, прислушивался, замечал, затверживал.

Отчего такая скромность? — спросите вы. Ах, любезный читатель! В эту эпоху кончилось время безотчетного детства, школьного равенства и честного юношеского правосудия! В институте я был первым почти по всем частям: был отличаем начальниками, учителями, товарищами; говорил решительно и смело, не боясь не только насмешки, но и возражения со стороны мне равных. Внешние, случайные блага не входили еще в счет науки и заслуг. Но тут впервые вошел я в тот странный, вечно движущийся и волнующийся хаос, который называется светом, и почувствовал веяние резкого, холодного ветра, от которого сжималось мое сердце, дотоле бившееся радостно при лучах юной, беззаботной жизни! Это было как бы изгнанием из земного рая.

Мои товарищи, сбросив с себя институтский мундир, облеклись в изящные фраки Занфтлебена, тогдашнего первого портного; тесный суконный галстук заменился батистовой косынкой; вместо казенной фуражки украсились они модными легкими шляпами. Мой же весь гардероб состоял из одного серого сюртука, а в этом наряде можно ли давать простор своим чувствам и мыслям, можно ли спрашивать, рассуждать, уже не говорю: спорить!

Еще одно меня останавливало и стесняло. Новые мои знакомцы свободно говорили по-французски, а я не умел отвечать им, хотя в существе знал язык лучше их. От этого я сделался робок и неуверен в своих силах. Несколько моих статей были отвергнуты ареопагом, отринуты французскими фразами и с насмешливыми взглядами на мой стереотипный наряд. Жестокое испытание! Нет, сто раз лучше терпеть голод и стужу, нежели презрение людей, хотя б оно вовсе было незаслуженное! Впрочем, я должен исключить из этого моих товарищей: они всегда сохраняли дружеское ко мне расположение, но не могли за-

щитить меня от неизбежной судьбы бедности и несветского воспитания.

Разобиженный в душе оскорбительным равнодушием, я решил испытать счастья в другом месте и послал две статьи (это были разборы синонимов) к Николаю Петровичу Брусилову, который тогда издавал «Журнал Русской Словесности». Он не только напечатал их, но и прибавил к ним приветливый отзыв. Кто был счастливее меня?! «Варвары! — думал я. — Будет и на моей улице праздник».

По этому случаю познакомился я с Н. П. Брусиловым и находил у него приятное общество, В. М. Федорова, К. Н. Батюшкова, Н. Ф. Остолопова, А. Е. Измайлова, И. П. Пнина. Остановлюсь на последнем. Это был человек необыкновенно умный, образованный, любезный, кроткий, с большими дарованиями. Все мои сверстники вспоминают о нем с чувством искренней любви и уважения. Он вырос и был воспитан как сын вельможи. Потом обстоятельства переменились, и он должен был довольствоваться уделом ничтожным. Это оскорбило, изнурило, убило его. Недолго пользовались мы его милой настави-

тельной беседой: он умер в сентябре 1805 года, на тридцать третьем году жизни, к общему искреннему сожалению всех, кто знал его.

В то время, когда я знакомился в этом кругу, наделала много шума в свете комедия князя Шаховского «Новый Стерн». Все молодые люди, искренние поклонники Карамзина, увидели в злой карикатуре посягательство на славу их учителя, и еще более на их собственную, и со всех сторон посыпались критики, сатиры, эпиграммы. В это время зародилась в Петербурге оппозиция против приверженцев и поборников славянщины и старины, развившаяся потом во многих журналах, особенно в «Цветнике» (1810 и 1811 г.) и в «Санкт-Петербургском Вестнике» (1812 г.).

Между тем все эти литературные неудачи, успехи, радости и печали занимали только мое воображение. Желудок неоднократно напоминал мне, что должно подумать и о нем, а несчастный серый сюртук также докладывал, что вскоре отправится в отставку. Надлежало помышлять о службе. Я отправился к одному дальнему родственнику моему, заведовавшему статистической частью в Министерстве

внутренних дел. Он обещал определить меня и начал занимать работой. Доколе эта работа доставляла пищу уму и воображению, я занимался ею охотно, но лишь только приходилось возиться с донесениями, отношениями, циркулярами, перо выпадало из рук моих; я чувствовал какое-то стеснение в голове и не мог написать порядочно страницы. А в то время можно б было понаучиться гражданской службе в этом министерстве!

Но непреодолимая страсть увлекла меня в литературу. Я отказался от гражданской службы и вступил в учительское звание. Достойно замечания, что это восстановило против меня многих моих родственников. Как можно дворянину, сыну благородных родителей, племяннику такого-то, внуку такой-то, вступить в должность учителя! Но никто из этих грозных судей не догадался спросить, есть ли у сего благородного юноши целый кафтан, уверен ли он, что завтра будет обедать, и в состоянии ли служить без жалованья, как степной недоросль, кандидат в великие люди!

Занявшись русской словесностью, я позна-

комился с некоторыми тогдашними литераторами; но в тесных связях, в то время, был с немногими. В числе сих немногих должен я назвать Матвея Васильевича Крюковского, автора известной всем патриотической трагедии «Пожарский». Я познакомился с ним случайно.

В 1806 году поселился я в доме, бывшем генерала Леццано, на Мойке, за Полицейским мостом. Там очутился я посреди разных литератур. В одних сенях со мной жил немецкий юрисконсульт и поэт, доктор прав Шмидер. Он был консультантом (адвокатом) при Юстиц-коллегии, по протестантскому отделению, а в прежние времена служил театральным поэтом при разных германских театрах. В звании консультанта он был большой мастер разводить браки: за сто рублей он развел бы и Филемона и Бавкиду. В должности театрального поэта он иногда урезывал и сокращал, иногда же пополнял и расширял немецкие пьесы для представления: известно, что чем длиннее список действующих лиц на немецкой афише, тем более стекается зрителей; и что тот немец не веселился в театре, у которо-

го не скрючатся кости от заседания в партере с семи часов вечера до часа утра. Сверх того, Шмидер перевел, и очень удачно, несколько французских водевилей.

Познакомясь с ним, я хотел было поучиться у него теории драматической поэзии — не тут-то было! Он был искусен в одной практике: пьесы разделял на прибыльные (Kassenstücke) и невыгодные; Шикандера ставил выше Шиллера; о достоинстве актеров судил по сборам в их бенефисы. Впрочем, и это знакомство было для меня не без пользы: Шмидер разочаровал мою веру в безошибочность французских трагиков; указал мне сочинения Лессинга и Энгеля и заставил уважать авторов, пренебрегавших правилами трех единств. Но классические авторы Франции имели при мне представителя в другом соседе.

Французский трагический актер Деглиньи, о котором, конечно, с удовольствием вспоминают любители театра, жил в нижнем этаже соседнего дома, окнами в наш сад. Он декламировал с утра до вечера, перед открытым окном, монологи и сцены из лучших француз-

ских трагедий. Частенько, спрятавшись за кустом, я прислушивался к его декламации и думал про себя: «Что ни говори Шмидер, а, ей-богу, и это прекрасно!»

Шмидер учился у меня русскому языку. В одно утро, в начале нашего знакомства, когда я выбился из сил, толкая ему что б и что п (он называл их пуки и бакой — вместо буки и покой), вошел в его комнату молодой человек приятной наружности, одетый опрятно и со вкусом — не так, как прочие посетители и клиенты доктора. Он пришел сообщить о неприятности, с ним случившейся. Рукопись перевода его, который стоил ему больших трудов, была отправлена к государю императору в армию и как-то дорогой затерялась. Незвестный говорил (по-французски) о своем напрасном труде, о несбывшейся надежде, так скромно, мило и умно, что я почувствовал к нему невольное влечение. И Шмидер обошелся с ним учтивее обыкновенного, а по уходе его объявил мне, что этот молодой человек наш сосед, господин Крюковской, русский литератор, умный и образованный.

Я искал случая познакомиться с Крюков-

ским и вскоре сумел. Он проводил каждое утро в саду — войдет, бывало, в фуражке, в нанковом сюртучке, в зеленых сапогах, с большим красным платком на шее, и ходит себе по аллеям, иногда в безмолвном мечтании, иногда декламируя вполголоса стихи. Я узнал и полюбил его. Никогда не случилось мне видеть (ни прежде, ни после того) человека, который бы так совершенно жил в мире фантазии, который бы так мало дорожил светом, так мало задумывался при каком-либо препятствии — нелитературном.

Крюковской воспитан был в Сухопутном (первом) кадетском корпусе; говорил по-французски прекрасно, по-немецки очень хорошо; по-русски писал мастерски, но, увлекаемый мечтаниями, не мог заниматься ничем основательно. Встав часов в десять поутру, он отправлялся в хорошую погоду в сад, в дурную — оставался в своей комнате и забавлялся чтением, размышлением, сочинением стихов; потом одевался и уходил куда-нибудь обедать. В шесть часов возвращался домой, свертывал медный рубль и отправлялся в театр — русский, немецкий или французский.

Там он совершенно предавался удовольствию, возбуждаемому сценическими представлениями; забывал все, его окружающее, плакал и смеялся, как в своем кабинете.

Нередко замечал я, сидя подле него в театре, как соседние с нами зрители удивлялись вниманию и чувствительности молодого человека. Особенно заглядывались на него женщины — должно знать, что в то время женщины, и порядочные и прекрасные, не считали неприличным ходить в партер. И он был равнодушен к такому вниманию. Достоин замечания, что лучшее его произведение, «Пожарский», обязано существованием своим действию двух прекрасных глаз в немецком театре.

Играли драму «Волшебница Сидония». Отличная актриса Миллер восхищала публику. Крюковской заливался слезами; я вторил ему. Вдруг он как-то посмотрел в сторону, и слезы остановились у него на ресницах. Глаза его встретились с глазами молодой красавицы, сидевшей в ложе первого яруса.

— Видите ли? — спросил он, толкая меня.

— Вижу, — отвечал я равнодушно, — а что?

— Как что?! Эти глаза! Кто, кто эта прекрасная девица? Нельзя ли как-нибудь узнать?

— Можно, и очень можно, — отвечал я.

Вскоре нашел я в партере одного из тех людей, которых можно назвать живыми адрес-календарями; он объявил мне, что эта дама есть девица, дочь такого-то чиновника, из немцев, что она в театре бывает редко, но всякое воскресенье в лютеранской церкви, на Литейной, сидит внизу, обыкновенно на шестой скамье. Я сообщил открытие мое Крюковскому. Он воспользовался этим и стал ходить каждое воскресенье в лютеранскую церковь: притаится, бывало, на хорах и глаз не сводит с владычицы своей, а она, бедненькая, и не догадывалась о своей победе. Поэт довольствовался обожанием идеальным!

Сердце, конечно, можно было насытить мечтами, но желудок требовал пищи вещественнейшей. Родные и знакомые Крюковского, у которых он обедал, жили в середине города, и он не мог поспевать к ним по воскресеньям. Надлежало заводить знакомства на Литейной. Он нашел средство познако-

миться с Александром Семеновичем Шишковым, который жил тогда в своем доме, напротив церкви лютеранской. В беседе с сим почтенным любителем словесности он заговорил о своих опытах, принес и прочитал ему всю трагедию, едва набросанную; по совету Александра Семеновича переменял и исправил в ней многое и, при его же посредстве, сделался известным Александру Львовичу Нарышкину.

Тогда была война с французами. Русские сердца кипели ревностью отстоять царей и троны Европы. «Димитрий Донской» Озерова имел блистательный успех. Крюковской долго не решался отдать на театр свою трагедию, почитая ее слишком слабой и ничтожной. Убеждения новых знакомцев превозмогли его боязнь. «Пожарского» сыграли в мае 1807 года — и сыграли превосходно. Яковлев, Шущерин, Каратыгин были в ней неподражаемы. Маленького Георгия играл в нем Сосницкий, тогда едва вышедший из младенчества. Успех был совершенный. При поднятии завесы Крюковской исчез. Когда кончилась трагедия, публика стала единогласно требовать авто-

ра, — он не являлся. Гром рукоплесканий и восклицания не умолкали. Наконец показался он в директорской ложе. Я не узнал его — так он был бледен и расстроен. Его с трудом доискались в ложе четвертого яруса, где он скрылся при начале спектакля, в твердом уверении, что трагедия его упадет.

Я принимал самое усердное участие в пьесе и в самом авторе. В театре не мог я его видеть; блистательное торжество доставило ему множество знакомых, и я не успел пробиться до него сквозь толпу поздравителей. На другой день, часов в двенадцать, пошел я к нему, чтоб разделить вчерашнюю радость. Вхожу в комнату — нет никого, все пусто; вхожу в другую, та же пустота — нет ни столов, ни зеркал, ни стульев. «Что это значит? — подумал я, — не может статься, чтоб он выехал: вчера провел я у него утро».

— Кто там? — раздался знакомый голос из-за перегородки.

— Я, Матвей Васильевич! Да где вы?

— Извините, еще не вставал. Войдите покамест сюда.

Я прошел за перегородку и увидел моего

поэта в постели. И спальня опустела: в ней были только кровать его и маленький столик.

— Садитесь, пожалуйста, на кровать, — сказал он мне, смеючись. — На сей раз других кресел у меня нет.

Я последовал приглашению, стал поздравлять его со вчерашним успехом, и между нами завязался жаркий разговор о любимом предмете. Крюковской был вне себя от восхищения.

— Что же вы не замечаете преобразования в моей квартире? — спросил он наконец очень весело.

— Вы, видно, съезжаете? — сказал я печально, думая, что лишусь любезного соседа.

— Нет! — отвечал он, — я остаюсь здесь; только освободился от лишних мебели.

— Как так?

— Я продал их сегодня. Мне надобен новый фрак; я обедаю у Александра Львовича Нарышкина, а костюм мой уже очень поблек.

— Помилуйте, — сказал я, — можно ли так поступать? Вы могли бы занять деньги до получения платы за вашу трагедию из дирек-

ции.

— Занять?! Занять?! Да у кого? Уж мне эта трагедия!

— Но на трагедию вы не можете жаловаться!

— В самом деле? Так потрудитесь вынуть из этого столика бумагу и прочитайте.

Это было извещение начальства Комиссии составления законов, что переводчик Крюковской, за долговременную неявку к должности, исключен из службы.

— Да, это ужасно! — сказал я.

— Что делать! — отвечал беспечный поэт. — Я сказался больным, чтобы работать свободнее дома. Через несколько времени мне напомнили, что пора выздороветь. Явиться к должности — значило бы признаться, что болезнь моя была выдуманна. Я не пошел, и вот последствие!

— Надеюсь, однако, что ваши труды литературные будут хорошо вознаграждены.

— Да! Мне поговаривали что-то о деньгах. А главное то, что мне дают даровой билет в партер. Теперь медный рубль не будет у меня оттягивать кармана.

В это время постучались у дверей.
— Entrez! — закричал Крюковской.

Явился молодой портной Фанденберген с новой парой платья.

Через несколько времени дела моего приятеля поправились. Он получил хорошее вознаграждение за свою трагедию. Государь, приняв ее милостливо, приказал спросить у автора, чем можно было бы его порадовать. Крюковской с робостью отвечал, что он желал бы усовершенствовать свои познания и талант в средоточии драматического искусства — в Париже. Желание его было исполнено: ему назначили хорошее содержание и отправили в Париж. Там он предался всей душой наслаждениям литературы и драматического искусства, изучал великие образцы, готовил себе запас новых идей, но ничего не успел положить на бумагу. К сожалению, он не имел там руководителей, слушателей, друзей. Воля ваша, а талант требует сообщения, требует участия других. Крюковской, пробыв года два в Париже, воротился в Петербург с чем поехал; с душой, истинно поэтической, способной постигнуть и передать все пре-

красное, но без твердости и решительности в воле и характере. Я уверен, что и «Пожарский» никогда не был бы кончен без случайных, благоприятных обстоятельств.

К несчастью, Крюковской, после блистательного успеха своего, познакомился с односторонними судьями драматического искусства, которые под видом благонамеренных советников преподают молодым писателям правила, стеснительные для гения, убийственные для таланта. Они осуждали в «Пожарском» все те сцены, которые занимательны действием и положением лиц, а хвалили одни стихи — именно то, чем автор не мог похвастаться. Если б Крюковской жил и писал ныне, когда все школьные и закулисные правила оценены надлежащим образом, когда верное изображение природы человека предпочитается размеренным тирадам героев и тиранов, — он попал бы на свою стезю. А в то время поэтической нерешительности и литературного смешения языков принужден он был непрерывно бороться с противоречиями. Я редко видал людей с такими пламенными чувствами, с таким высоким и изящным

понятием о любви, какие одушевляли Крюковско-го, — и он написал трагедию, в коей о любви не упоминается. Клопшток, Шиллер, Гёте были его обыкновенным чтением; Шекспир извлекал у него в театре непритворные слезы — а его осудили низать рифмы и трепетать о соблюдении единств, вследствие небылого указа Аристотелева. Удивительно ли после этого, что вторая трагедия его, «Елисавета, дочь Ярослава», слаба и несвязна!

Он намеревался было написать трагедию «Сафо», изобразить все наслаждения и мучения любви. Вероятно, героиня поэта уже существовала в его воображении; вероятно, она облечена была всеми красотами поэзии, но прелестный призрак никогда не осуществился и улетел с душой поэта.

Крюковской, через несколько месяцев по возвращении из Франции, занемог и, после продолжительной болезни, скончался (1811 г.) на тридцатом году от рождения, оставив отечественной публике залогом своего патриотизма и таланта одну трагедию, а в памяти родных, друзей и знавших его — убеждение, что он, при благоприятном направле-

нии своих способностей, мог бы обогатить и прославить русскую словесность.

Готовясь, по обыкновению, поставить под этой статьей месяц и число, я затрепетал невольно: 29 сентября 1832 года. Ровно шестнадцать лет назад, 29 сентября 1816 года, скончался другой русский литератор, искренний друг мой, незабвенный и незаменимый, человек благородный, необыкновенный умом, талантами, образованием — Павел Александрович Никольский. Здесь могу я говорить о нем только как о литераторе. Ты спросишь: что же он сделал важного? чем прославился в свое время? что оставил потомству? — Спросите у юного дуба, сокрушенного бурей, зачем он не раскинул ветвей своих по долине! Спросите у солнца, на восходе помраченного тучами, зачем оно не оживляло земли своими лучами! — Никольский умер двадцати пяти лет от роду.

Он готовился к службе по горной части, учился в Горном корпусе очень хорошо, но не мог заниматься исключительно науками точными и естественными. Мельпомена улыбнулась ему в час рождения: литература, поэзия,

история увлекали воображение и ум юноши. Он оставил горную службу и вступил в гражданскую, посвящая все свои досуги трудам литературным. В пылкие лета юности, когда всякая удачная попытка нам кажется блистательным успехом, когда мы поставляем главную цель занятий словесности не в том, чтоб писать, а чтобы печатать, — молодой Никольский ревностно занялся литературой практической, участвовал в издании журналов: «Цветник» и «Санкт-Петербургский Вестник», стал издавать «Пантеон Русской Поэзии», переводил и повести, и романы. Другой, на его месте, продолжал бы эти занятия и оставил бы лет через пятьдесят память писателя трудолюбивого и общепользного. Но Никольскому этого было не довольно: с необыкновенным самоотвержением признался он самому себе, что не имеет еще тех познаний и навыков, которые нужны для истинного литератора; бросил действительные занятия и углубился в учение. Литература древняя и новая, эстетика и теория словесности сделались предметом его учения и изысканий. Смерть положила всему предел.

Воспоминание о человеке обыкновенном тускнеет в душе нашей по мере удаления от нас времени его кончины. Но утраченные миром люди отличные становятся нам дороже и дороже, по мере того, как мы на пути жизни удаляемся от времени, которое они украшали для нас своим существованием; по мере того, как мы, узнавая людей, убеждаемся, что нет подобного потерянному другу. Словесность наша, в истекшие шестнадцать лет, чувствительно возвысилась и обогатилась не только числом, но и зрелостью производителей и произведений. С каждым днем узнаем мы о новых явлениях в литературе; с каждым днем наши писатели обогащают ее примерами и образцами; но, поверите ли? — все новое, все прекрасное в нынешних произведениях, в нынешних понятиях, кажется мне знакомым и бывалым! Когда вспомню о Никольском, о смелых, здравых и свободных от всякого предрассудка мыслях его в литературе; когда приведу себе на память его суждения о писателях, тогда нам современных, а ныне выслушивающих приговор потомства, — тогда мне кажется, что нынешние лучи проистекли от

искры, таившейся в душе этого необыкновенного юноши. Не знаю, был ли бы он сам производителем, но уверен, что русская литература имела бы в нем ныне своего Джонсона, Лессинга, Шлегеля; что его ясный, критический, беспристрастный ум был бы лучезарным светилом в тусклой храмине нашей словесности.

Неисповедимая судьба человеческая! Писатели, трепетавшие резкого взгляда и насмешливой улыбки Никольского, ныне красуются и тщеславятся, — а он!..

Принц де Линь, помнится, сказал Великой Екатерине: «Если бы вы родились мужчиной, то, конечно, дослужились бы до фельдмаршалов!» — «Не думаю, — отвечала она, — меня убили бы в унтер-офицерском чине!

Глава седьмая

...Мы усердно занимались изданием «Санкт-Петербургского Вестника». Мирные труды наши прерваны были грозой, разразившейся над Россией. Многие из членов нашего общества выехали из Петербурга, некоторые вступили в военную службу, в армию, в ополчение. И остальным было не до литературы. Общее чувство опасности, возвышенное ощущение благороднейших движений любви к государю и отечеству волновали все сердца. Но это не был страх. Мы отнюдь не ужаснулись нашествию Наполеона, нисколько им не изумились. Оно давно уже было предвидено, предсказано и ожидалось со дня на день. Особы, посвященные в тайны кабинетов, утверждали, что, вероятно, все кончится миролюбиво, что нет никаких ясных примет скорого начатия войны. Но публика судила и видела иначе, видела правду, которой до времени нельзя было возгласить во всеуслышание.

Тяжкое время прожили мы от Тильзитского мира до разрыва 1812 года! Россия не была

покорена врагом, не повиновалась ему формально, но и союз с властолюбивым завоевателем был уже некоторого рода порабощением. Земля наша была свободна, но отяжелел воздух; мы ходили на воле, но не могли дышать. Ненависть к французам возрастала по часам. А должно сказать, что послы Наполеона, Коленкур и Лористон, усердно содействовали к ее распространению своею гордостью, дерзостью, тем, что называется по-французски *arrogance*. К довершению горестного нашего чувства, мы видели страдания государя. Он употребил все средства, какие только совместны были с честью его сана и с величием России, для сохранения мира с тем, для которого все трактаты и условия были только предложениями к начатию новых войн, который не знал пределов своему властолюбию и всякую мысль о независимости иных держав считал преступлением.

Мы имеем историю политических сношений того времени, написанную Биньоном умно, красноречиво, искусно. Но справедливо ли? Сообразно ли с истиной и с существом дела? Биньон хвалится тем, что основывает

свое описание на подлинных дипломатических актах. Это то же, что писать историю войны, основываясь на реляциях. К тому же лучшие из тогдашних дипломатических бумаг были написаны министром, который утверждал, что слово дано человеку для сокрытия его мыслей.

Весть о начале войны подействовала на всех как живительный дождь после продолжительного зноя: нет нужды, что он предвещает и жестокую бурю. Ждали известия о сражении на границе — его не было. Армии наши начали отступать. Этот образ ведения войны, чуждый нетерпеливому русскому нраву, возбудил общие опасения и даже негодование. Тщетно люди дальновидные утверждали противное. Да так сдадут и Москву! — вопили в публике и едва ли не обвиняли главнокомандующего в измене; он, в безмолвии и сознании собственной совести, понес на себе всю тяжесть общего мнения. Клястицкое сражение оживило сердца радостью и надеждой. Не знаю, какую цену дают этой победе в стратегическом отношении, но в политическом и в нравственном она имела самые

благодетельные последствия, и недаром глас народа нарек графа Витгенштейна спасителем Петрова града. Эта победа показала нам, то есть массе публики, что самый благородный дух и твердая надежда одушевляют нашу армию; что наши воины знают, что делают, и успешно могут состязаться с французами. Эта уверенность много способствовала к поддержанию бодрости и мужества во всех сословиях народа: дело не последнее. И все принимали в том искреннее участие. Некто из охотников польстить и подслужиться заметил тогдашнему военному министру князю Алексею Ивановичу Горчакову, что пожалованием графу Витгенштейну Александровской ленты обошли его, старшего. «Ах, если бы меня всегда так обходили!» — воскликнул он с благородным чувством справедливости и скромности.

Один бедный чиновник, подгуляв на радости с приятелями по случаю поражения врагов, шел, пошатываясь и попевая, по иллюминированному Адмиралтейскому бульвару. К нему подошел какой-то иностранец и спросил учтиво:

— Позвольте узнать, по какому случаю город сегодня иллюминирован?

Это взорвало нашего патриота.

— Ах ты, заморская тварь, изменник, шпион! Вот по какому случаю! — закричал он и отвесил нескромному вопрошателю добрую пощечину.

Поднялся шум; забияку схватили и представили в часть.

— Как вы смеете драться? — спросил пристав. — И можно ли бить иностранца за то, что он вас спрашивает?

— Виноват, — отвечал подьячий, — но я ударил бы и ваше высокоблагородие, если б вы спросили о причине нынешней иллюминации.

Добрый пристав успокоил немца синенькой бумажкой, а пьяного патриота отпустил с увещанием не слишком увлекаться чувством народной гордости. Многие порицали в то время наше правительство, что оно выслало нескольких подозрительных иностранцев, разглашавших вредные вести, но оно поступило в этом случае справедливо и умно, хотя б в острастку оставшимся. Невероятно, с ка-

кой скоростью и быстротой разглашались у нас дурные вести.

Я посещал в те времена Биргер-клуб, или Гражданское собрание, бывшее в доме Щербакова, напротив Адмиралтейства. Там собирались чиновники, купцы, художники, ремесленники и тому подобные люди среднего звания, русские и иностранцы, и сообщали друг другу все, что слышали и узнавали. Все они оживлены были искренней любовью к государю и России, все встречали каждую добрую весть с восторгом и радостными слезами. Но в семье не без урода. В клубе были и приверженцы Бонапарта — французы, эльзасцы, швейцары. Когда мы, бывало, радуемся хорошим вестям и громко их передаем друг другу, они посматривают на нас косо и с злобной насмешкой. Радуйтесь, веселитесь! — давали они нам знать, — а скоро вам карачун будет. Когда же приходили новости неблагоприятные, — а они узнавали, не весть каким путем, гораздо ранее нас, даже иногда ранее правительства, — наши супостаты поднимали головы, пили шампанское с безмолвными тостами и смотрели на русских и приверженцев к

России с торжеством и презрением. Лишь только получались несомненные известия о торжестве русских, зловещие заморские птицы прятались по углам. На вопрос: все ли вы в добром здоровье? — эти господа отвечали вздохами и оханьем. Я мог бы рассказать много любопытных анекдотов о том времени, но — кто старое помянет, тому глаз вон! Все это было до милостивого манифеста 1814 года.

И между благонамеренными, истинно преданными отечеству людьми господствовали неодинаковые мнения. Некоторые из них считали эту войну обыкновенным решением спора между двумя державами, который мог кончиться для нас если не с блистательным успехом, то и без важных потерь. Но большая часть, не ученая, не теоретическая, не дипломатическая, видела этот исполинский бой в точном его значении, видела, что дело идет о существовании России, что ненасытный властолюбец не успокоится, доколе не сокрушит грозной своей соперницы на суше, чтоб потом, с большим усилием, двинуться на морских своих врагов. В этом случае народ совер-

шенно понимал государя, и происшествия оправдали справедливость сего мнения.

Время текло, и вести из армии сменялись одна другой. Взятие Кобриня Тормасовым было светлым лучом в этой бурной мгле. Армии наши соединились в Смоленске, но вскоре оставили и этот древний оплот русского царства. Сердца бились трепетным ожиданием, но не унывали; общая радость, твердая надежда на спасение отечества запылали повсюду, когда назначен был в главнокомандующие армии князь Голенищев-Кутузов, за несколько месяцев до того заключавший достославный мир с турками, в самых затруднительных обстоятельствах. Он отправился к армии, сопровождаемый общими, искренними пожеланиями.

Но я увлекаюсь общими и важными происшествиями, забывая, что пишу Записки о собственной своей жизни, что не только имею право, но и обязан говорить о себе.

Впрочем, удивительно ли, что я в эту эпоху моей жизни забываю о самом себе? Тогда никто себя не помнил. Я принадлежал к числу тех людей, которые, с самого начала этой

грозной войны, если не поняли, то внутренним чутьем ощутили ее важность, ее святость; я не помнил, не знал ничего более, кроме того, что нам должно победить или пасть с честью.

Семейственные обязанности удержали меня от принятия деятельного участия в великом деле того времени, но все помышления, все движения души и сердца моего были посвящены успеху правоты и чести над неправдой и наглостью. Лекции словесности, в Петровской школе, превратились у меня в уроки истории и политики. Этим я нажил и искренних друзей и заклятых врагов: я рубил, что называется, с плеча, не смотря, куда падают удары. Товарищи мои были люди благонамеренные и почтенные, но, по большей части, или иностранцы, или недворянские уроженцы немецких провинций России: они не постигали, что значит ненависть к чужеземному владычеству, не постигали, что невозможно присягнуть кому-нибудь, кроме русского императора. Они любили Россию, как мы любим дом, в котором живем несколько лет по найму: в случае пожара станем усердно его

отстаивать, но потом спокойно переедем на другую квартиру[22]. Они дивились моему иступлению и сердились на мои выходки, в которых доставалось и Рейнскому союзу.

Участие, которое я принимал в ходе тогдашних дел, имело и личную причину. Брат мой, Александр, служил в армии: он был поручиком в 3-й артиллерийской бригаде полковника Глухова, при которой находился, после потери Смоленска, образ Богородицы Смоленской.

8 августа писал он ко мне: «Сражение при Смоленске было кровопролитное и ужасное. Подле меня убит друг мой, Ольхин. Чувствую, что не переживу другого сражения. Ты спрашиваешь, не нужно ли мне чего-нибудь. Пришли, сделай милость, хорошую зрительную трубку, чтоб я мог лучше различать неприятеля и наводить орудия. Умру — но умру, как истинный сын отечества!»

Последним светлым днем того лета был Александров день. Сверстники мои, конечно, вспоминают, что в этот день, который Россия двадцать пять раз праздновала с восторгом и ликованием, редко бывала дурная погода,

несмотря на близость его к сентябрю. В 1812 году погода стояла самая ясная, летняя. Разряженные толпы двинулись в Невский монастырь за крестным ходом. К обеду приехал государь со всею императорскою фамилией. В то же время распространилась весть о победе, одержанной при Бородине. Военный министр прочитал донесение главнокомандующего, но немногие могли его расслушать. Печатной реляции еще не было, а изустная молва преувеличила победу, как прежде преувеличивала потери. Многие слышали от верных людей, что в сражении убито сорок тысяч французов, в том числе маршалы Даву и Ней, и взято в плен тридцать тысяч, и т. д. Можно вообразить себе радость и ликование всей публики! Взоры всех обращались на государя, который молился с искренним благоговением. Хотели прочесть в глазах его радостную новость, и действительно замечали, что он казался веселее и спокойнее, нежели в предшествовавшие дни. Громкие, усердные клики сопровождали его, когда он, после завтрака у митрополита, уезжал из лавры. Весь Невский проспект покрыт был гуляющими, праздную-

щими. Все предавались усладительной надежде.

Обнародование реляции на другой день охладило пылкие ожидания, но не совсем их истребило. Затем наступило безмолвие. Небо покрылось темными тучами; какая-то тяжесть налегла на сердца. Грозные вести, как привидения, носились над головами. Никто не смел спросить другого; всяк боялся ответа. Наконец разразилось злое облако громовым гласом: Москва взята! Мертвое оцепенение последовало за сим ударом. Помните ли вы это время, мои сверстники! Время тяжелое, мучительное, но высокое, расширявшее душу, воскрешавшее мысль нашу к престолу подателя всех благ, дотоле миловавшего нашу любезную Россию.

Через две недели после Александрова дня наступил другой царский праздник, день коронации государя (15 сентября). Молебствие было в Казанском соборе. По окончании его государь вышел с императрицей и цесаревичем Константином Павловичем из церкви и сел с ними в карету. Он был бледен, задумчив, но не смущен; казался печален, но тверд.

Площадь была покрыта народом. Карета тихо двинулась. Государь и государыня кланялись в обе стороны с приветливой улыбкой доверия и любви.

Народ не произносил тех громких криков, которыми обыкновенно приветствовал и торжественные дни возлюбленного монарха; все, в благоговейном безмолвии перед великой горестью русского царя, низко кланялись ему, не устами, а сердцами и взорами выражая ему свою любовь, преданность и искреннюю надежду, что Бог не оставит своею помощью верного ему русского народа и православного царя...

Изданное тогда объявление об оставлении Москвы написано было с глубоким чувством, написано языком, доступным уму и сердцу русских. Мы видели, что государь не унывает, что он уверен в спасении отечества и самой Европы, что он не скрывает от нас опасности настоящей, а в будущем полагает надежду на правоту своего дела и на милосердие божие. Между тем принимаемы были меры предосторожности. Из С.-Петербурга стали вывозить некоторые институты, драгоценности,

архивы... Петербургские газеты и «Северная Почта» сделались единственным чтением нашим; но это были газеты серьезные, официальные, в которых нельзя было разыграться вволю, а дурные вести так и томили нас со всех сторон. Злодеи наши торжествовали. Сердце у меня кипело.

Что бы, думал я, теперь затеять русский журнал, в котором бы чувства, помыслы и надежды России нашли верный отголосок, который бы, словами чести и правды, заставил молчать глупцов и злонамеренных! Но как за это взяться? Я был тогда бедным учителем в Петровской школе, имел еще два неважные места; всего в год на тысячу двести рублей с квартирой. Связей и знакомств у меня не было почти никаких. Был у меня один благотворитель, бывший начальник Юнкерского института, в котором я воспитывался, Алексей Николаевич Оленин, но я не смел посещать его, боясь беспокоить его в великом горе, которое его постигло: один из его сыновей, за полгода выпущенных офицерами в Семеновский полк, был при Бородине убит; другой, до беспомощности контуженный, также считался

между мертвыми. О своем брате не имел я известий; знал только, что он ранен в той же битве.

Около 20 сентября приехал ко мне тогдашний начальник мой, Иван Осипович Тимковский, человек самый благородный и добрый, которому я многим в жизни обязан, и привез рукописное немецкое сочинение Э. М. Арндта «Глас Истины», в котором излагалось плачевное состояние Европы и предвещалось скорое ее освобождение. Эта статья написана была совершенно в тогдашнем нашем духе и, для нашего расположения, слогом восторженным и даже немного напыщенным, но нам тогда было не до простоты. «Эту статью, — сказал Иван Осипович, — сообщил мне Сергей Семенович (Уваров, нынешний министр народного просвещения, тогдашний попечитель Санкт-петербургского учебного округа), чтоб я отдал ее кому-нибудь для перевода. Я назвал вас, и его превосходительство просит вас перевести ее как можно скорее и доставить ему». Я с жадностью бросился за эту работу, просидел над нею ночь; другой день провел в должности и вечером отнес бумагу к Сергию

Семеновичу. Иван Осипович был там. Перевод мой, сделанный со всеусердием, в полном чувстве того, что должно было выразить, им понравился. Иван Осипович, бывший цензором, тут же подписал на нем одобрение к печати.

— Но где бы это напечатать? — спросил Сергей Семенович.

— Напечатать особой книжкой, — сказал Иван Осипович, — политические журналы и даже политические статьи в журналах у нас воспрещены.

— Но теперь обстоятельства переменились, и государь непременно позволит. Если б только найти редактора...

— Его искать недалеко, — прибавил Иван Осипович, посмотрев на меня.

— Вы соглашаетесь? — спросил Сергей Семенович...

Я отвечал с восторгом, что почту это занятие верховным благом в жизни.

— Надобно бы написать программу.

— Сию же минуту, — сказал я, садясь за стол.

— Как бы назвать журнал?

Слова из письма моего брата мелькнули у меня в уме.

— «Сын Отечества», — произнес я медленно и запинаясь.

— Прекрасно, — сказал Сергей Семенович. — Пишите!

Не было трудно написать то, что давно зрело у меня в голове. Сергей Семенович прочитал программу, сделал в ней некоторые перемены и сказал, что доложит министру. На другой день напечатал я «Глас Истины» и пустил в публику по скромной цене, по рублю медью. Передняя моя была беспрестанно наполнена покупателями. Но я не думал о денежных барышах. Это приносило мне удовольствие, потому что радовало и утешало моих домашних, которые все еще думали, что придется бежать из Петербурга. Прошла неделя, и я не слыхал об успехе моего плана. Однажды прихожу домой из классов и вижу, в передней у себя, министерского курьера.

— Пожалуйте к графу Алексею Кирилловичу Разумовскому, — сказал он мне. — Пожалуйте сию же минуту: он вас ожидает.

Я поспешил приодеться и отправился к

министру. Граф принял меня очень ласково и объявил что государь изволил утвердить мой проект журнала. Я поклонился.

— Что вы полагаете напечатать в первой книжке? — спросил граф.

Я не ожидал этого вопроса и отвечал:

— Журналы начинаются с января; до того времени можно придумать.

— Как?! — возразил граф. — Я думал, что вы начнете теперь же. Государь, по моим словам, ожидает первой книжки на будущей неделе.

— С этими словами посмотрел он на меня в недоумении.

— Если так, — отвечал я, — то книжка будет готова, — и начал вытаскивать из карманов рукописи, с которыми возился в то время с утра до ночи. — Напечатаю «Глас Истины»; потом извлечение из испанских известий, потом вот эти стихи.

— Какие? — спросил граф.

Я прочитал их, граф смеялся, слушая, одобрил все и отпустил меня очень приветливо. Какие были эти стихи? — спросите вы. Их сочинил покойный Иван Афанасьевич Ковань-

ко, лишь только пришла весть о взятии Москвы. Они оканчивались следующим куплетом:

*Побывать в столице слава,
Но умеем мы отмицать:
Знает крепко то Варшава,
И Париж то будет знать.*

Эти стихи повлекли с самого начала гонение на «Сына Отечества». Паркетные умники утверждали, что нехорошо хвастать так бесстыдно и хвалиться несбыточными мечтаниями. Они не видели, что не должно хвастать в счастье, а ободрять дух народа в беде можно всеми способами, только не ложью и не обманом. Впрочем, Провидение через полтора года оправдало это предвидение русского сердца. От графа поехал я в бумажную лавку Алексея Алексеевича Заветного и взял в долг бумаги на триста рублей, а потом завернул к держателю типографии Иоаннесову, с запросом, решается ли он печатать журнал в ожидании будущих благ. Он согласился. Дома нашел я посланного от Алексея Николаевича Оленина, который приглашал меня к себе немедленно. Я отправился и к нему. Он уже знал о позволении государя и сообщил мне

разные материалы для «Сына Отечества».

— Да получили ли вы что-нибудь для начатия журнала? — спросил он.

— Не получал, — отвечал я, — да мне и не нужно. Надеюсь, что печатание и бумага окупятся.

— Оно так, — отвечал Алексей Николаевич, — да все же с деньгами начинать лучше. Я постараюсь.

Оттуда поехал я к Сергию Семеновичу Уварову, благодарить его за предстательство, и был принят им с предупредительностью и лаской, которые совершенно ободрили меня начать труд, едва ли бывший мне по силам. Дотоле бродил я как в чад, а когда принялся за дело, увидел, что оно не так-то легко; но благосклонное пособие, советы, указания и поощрения почтенных начальников моих уравнили предо мной шероховатый путь скоротечного вестника, и я работал усердно, с уверенностью в важности моего дела и с надеждой на успех. За два дня до выхода в свет первой книжки получил я уведомление, что государь император, по докладу А. Н. Оленина, который рекомендовал ему меня как свое-

го воспитанника, пожаловал мне, на первые расходы по изданию, тысячу рублей. Тогда это было для меня важнее, нежели впоследствии десять тысяч.

Вышла первая книжка и была принята публикой с одобрением, какого я не ожидал. Накануне выхода второй книжки Сергей Семенович прислал за мной и сообщил известие об освобождении Москвы. В третьей была напечатана его статья (под заглавием «Письмо из Тамбова»), в которой предрекалось сооружение колонны во славу государя, с надписью: «Александрю I, по взятии Москвы не отчаявшемуся, благодарная Россия».

Глава восьмая

Книга барона Корфа о вступлении на престол императора Николая Павловича по справедливости возбудила общее любопытство и внимание, описав нам события и сообщив документы, отчасти покрытые мраком неизвестности; но она не вполне удовлетворила ожиданиям публики, ограничиваясь описанием случившегося именно с лицами императорской фамилии и не вдаваясь в подробности, в описание происшествий отдельных, сопровождавших этот важный и необыкновенный эпизод русской истории. К тому же еще автор этой книги, камергер, статс-секретарь, член Государственного совета, — следственно, человек, связанный обстоятельствами и отношениями, и не мог описывать всего и точно так, как было на самом деле. Желательно, чтоб другие лица, бывшие близкими свидетелями тех событий, передали их беспристрастно, со всех сторон и со всеми подробностями.

Нельзя требовать исполнения этого от одного человека. Никто не может быть ни вез-

десущим, ни всеведущим. Пусть каждый, кто видел или слышал что-либо о случаях того времени, опишет, что ему известно: из этих разноцветных камешков составитя полная и верная мозаика для потомства. Главное, чтоб говорили правду, ничего не утаивали, не украшая и не прибавляя.

Желая подать тому пример, я напишу все, что мне известно о тогдашних событиях и обстоятельствах, которые я видел вблизи, о деятелях того времени и о действиях их, просто и сколь возможно правдиво, не стесняясь мыслью ни о какой цензуре, не руководствуясь ни пристрастием, ни каким-либо враждебным чувством к кому бы то ни было. Это простые воспоминания, излагаемые безыскусственно, без всякого стеснения какими бы то ни было правилами или системами, долженствующие почерпать цену и важность в истине моих слов и моего прямодушия.

Это написал я 4 ноября 1857 года, когда еще не выходила книга Герцена о 14-м декабря 1825 года. Если в то время, когда написаны были мной эти строки, я считал полезным описать добросовестно и правдиво происше-

ствие того времени, то ныне считаю это священной обязанностью. Гнусный беглец дерзает чернить своею пакостью даже людей достойных и благородных, осуждать нашу землю и выхвалять наглость, бессовестность, подлость, вероломство и кровожадность. Долг всякого честного человека и гражданина русского вступить за правду и смело высказать ее перед светом и потомством.

4-го августа 1858 года

Для точного уразумения причин, свойств и обстоятельств странного заговора и мятежа 1825 года, нужно беспристрастно рассмотреть характер и царствование императора Александра Павловича. Воспоминания о нем современников вскоре изгладятся совершенно, и он будет изображаться в истории, по разнообразным и противоречивым преданиям и лицемерным документам, в ложном и превратном виде.

Император Александр, рожденный со всеми прекрасными дарами природы, наружными и внутренними, явился в свет в самое для него благоприятное время, когда Россия мо-

лила Бога о даровании достойного наследника престолу Екатерины. Бог и природа сделали для него все; люди извратили и испортили все, что могли. Известно враждебное, неестественное и пагубное отношение Екатерины к ее наследнику, Павлу. Эта умная, даровитая, великая женщина, которой Россия обязана своим устройством (не говорим благоустройством) и просвещением, находилась к сыну своему, как говорят французы, в ложном положении. Она занимала трон России по праву случая и талантов, по убеждению, что она полезна и необходима России, но законное право наследства было на стороне сына, которого она умела держать в почтительном повиновении, не имея возможности внушить ему любовь и доверенность.

Неровный, непостоянный характер Павла, при добром сердце и уме необыкновенном, всегда был ему препятствием к точному и благому исполнению обязанностей царских, а долговременная, тягостная подчиненность не только матери, но и любимцам ее, дерзким и наглым, совершенно сбила его с пути и раздражила до крайности. На людей умных на-

ходят минуты забвения; на Павла находили минуты добра и здравого смысла.

Действительно, в императоре Павле чувство долга и чести нередко одерживало верх над вспыльчивостью и гневом. Вот тому несколько примеров.

В 1820 году Григорий Иванович Вилламов, водя меня по Гатчинскому дворцу, обратил мое внимание на один удивительный бюст Каракаллы и прибавил: «Но еще замечательнее здесь вот эта дверь. У ней, в царствование императора Павла, всегда стоял придворный лакей, чтоб отпирать ее при проходе государя на половину императрицы; это происходило регулярно в шесть часов утра. Раз как-то Павел пришел несколькими минутами ранее; видит: нет лакея, и вспыхнул гневом. Несчастный ушел было в другую комнату, но, услышав шаги, поспешил на свое место. Павел поднял на него палку. Лакей поспешно вынул из кармана часы, поднес императору и сказал:

— Государь! Я не виноват. Теперь шесть часов без пяти минут.

— Виноват, — отвечал император, опустил

палку и вошел в дверь».

Однажды проезжал он мимо какой-то гауптвахты. Караульный офицер в чем-то ошибся.

— Под арест! — закричал император.

— Прикажете сперва сменить, а потом арестуйте, — сказал офицер.

— Кто ты? — спросил Павел.

— Подпоручик такой-то.

— Здравствуй, поручик!

При одном докладе Федора Максимовича Брискорна Павел сказал решительно:

— Хочу, чтобы было так.

— Нельзя, государь!

— Как нельзя?! Мне нельзя?!

— Сперва перемените закон, а потом делайте, как угодно.

— Ты прав, братец, — отвечал император, успокоившись.

В 1800 году несколько исключенных из службы офицеров, сосланных на жительство в Смоленск, напившись пьяны, вынесли свои мундиры на двор и, при толпе народа, сожгли их. Генерал-губернатором был там Михаил Михайлович Философов, человек необычно-

венного ума и характера, отличившийся в должности посланника при копенгагенском дворе, в страшную эпоху владычества Струэнзе. Узнав о безрассудном поступке офицеров, он приказал арестовать их и ждал прибытия Павла, который в то время объезжал западные губернии. Государь, узнав об этом дорогом, прибыл в Смоленск в величайшем раздражении и отправился прямо в собор. При входе во храм, Философов стал в дверях и, протянув руки в обе стороны, не пускал государя.

— Это что? — воскликнул император.

— В Священном Писании, — возразил Философов твердо и спокойно, — сказано: «Гневный да не входит в дом божий».

Павел остановился, подумал и сказал:

— Я не гневен, я равнодушен: прощаю всех!

— Итак, гряди во имя Господне! — отвечал Философов, отступил в сторону и низко поклонился.

Государь в тот же день пожаловал ему Андреевскую ленту.

Бывший при воспитании Павла профессор

Эпинус говаривал: «Голова у него умная, но в ней есть какая-то машинка, которая держится на ниточке. Порвется эта ниточка — машинка завернется, и тут конец и уму и рас­судку». И то сказать: воспитание его было странное. Из записок Порошина видим, что у него смолоду старались развить страсть к женщинам, и со сведения его матери.

Одним из самых тягостных для него лишений было отчуждение от него детей. Лишь только, бывало, великая княгиня Мария Федоровна разрешится от бремени, ребенок поступал в полное заведование императрицы. В летнее время великая княгиня приезжала родить в Царское Село, после родов возвращалась в Гатчину или Павловск, а дитя оставалось на попечении бабушки, которая воспитывала внучат по своим видам и понятиям, нимало не спрашиваясь отца и матери. Не говорю, чтоб Павел мог дать своим детям воспитание лучшее, но они получали воспитание превратное, противоречившее законам природы.

Прекрасный младенец и отрок Александр сделался предметом неусыпных и нежней-

ших попечений Екатерины. Она составила для него план воспитания, писала и печатала учебные книги, сказки, истории, отыскивала ему лучших наставников. Не надеясь найти для царского сына хороших воспитателей в России (их и теперь в ней нет), она обратилась в чужие края и, по совету известного Гримма, пригласила швейцарца Лагарпа. Выбор был самый несчастный!

Лагарп был человек умный, основательно ученый, правдивый, честный, но республиканец в душе и революционер, что доказано действиями его по выезде из России. Такой человек не годился в воспитатели наследнику самодержавного престола, владыке нации, которой большая часть томила в вековом, законами утвержденном рабстве. Лагарп старался внушить своему питомцу правила чести, добродетели, милосердия и терпимости, но не мог передать ему любви к отечеству, уважения к его нравам, обычаям, законам и основным правилам, к народу необразованному, но богатому всеми стихиями добра и славы. Понятно, что царедворцы завидовали счастливому пришельцу, пользовавшемуся

доверенностью царицы, и всячески выражали ему нелюбовь свою, а он платил им глубоким презрением и ненавистью, какие внушал и Александру, стараясь убедить его в той истине, что всегда и везде царедворцы были люди ограниченные, подлые и коварные.

Доказательство тому, до какой степени Александр не доверял своим приближенным и презирал их, служит следующее происшествие, рассказанное мне очевидцем. По вторичном взятии Парижа, в 1815 году, Александр жил там несколько времени, и именно во дворце Элизе, и в свободное время охотно беседовал с герцогом Веллингтоном, раскрывая перед ним все тайны своего сердца. Однажды Веллингтон пригласил к себе на вечер несколько лиц из свиты государевой: Воронцова, Л. В. Васильчикова, гр. Строганова и некоторых других. Когда они к нему приехали, адъютант герцога объявил им, что император Александр прислал за ним и что герцог, надеясь вскоре воротиться, просил подождать его. Действительно, он приехал домой вскоре, извинился пред своими гостями, но в этот вечер был скучен и молчалив более

обыкновенного. Видно, что-то тяготило ему душу. Гости, заметив это, стали допытываться о причине. Он долго не хотел отвечать; наконец уступил настояниям любимого им Воронцова и объявил, что Александр изумил и огорчил его при нынешнем свидании: жаловался на свое одиночество, на неимение верного искреннего друга.

— Мне кажется, государь, — сказал ему Веллингтон, — что окружающие вас лица подали вам самые несомненные доказательства своего усердия и верности к вашей особе, особенно в течение последних трех лет.

— Нет! — возразил император, — они мне не друзья; они служили России, своему честолюбию и корысти.

Фельдмаршал умолк. Генерал-адъютанты Александра, в досаде и негодовании, залились слезами. Александр жаловался, что не имел друзей, но сам он был ли кому-либо искренним другом? Более всего любил он князя Петра Петровича Долгорукого, но он умер рано, и Бог знает что было бы впоследствии. Вот плоды уроков Лагарпа!

Dissimuler c'est regner (Скрытничать — зна-

чит царствовать). Так, но тогда и не требуйте любви от других. — В одном английском журнале читал я, что в начале 1812 года в парламенте шла речь о поступлении маркиза Веллестля, брата Веллингтонова, в русскую службу первым министром, за неимением в ней способных и достойных людей. Интересно было бы отыскать эту статью; она действительно существует.

От этого противоречия между уроками наставника и обстановкой молодого принца произошли те неровности, те противоречия, которые встречаем в характере, образе мыслей и действиях Александра. При первом взгляде и особенно когда он этого хотел, увлекал он всякого, но впоследствии скоро охладевал и переменялся, прикрывая свои истинные чувства личинами прежней дружбы. В случае надобности он подавлял свои чувства и убеждения, особенно если тщеславие заставляло его возбуждать в людях мнение о постоянстве его расположения к кому-либо. Нет никакого сомнения, что он искренно любил покойную королеву прусскую Луизу (мать Александры Федоровны); но по кончине

ее оказывал ее мужу еще более привязанности и уважения, нежели прежде, несомненно желая показать свету, что склонность его к королеве была непорочная и бескорыстная.

Он не отгонял от себя людей, которые ему почему-либо надоели и перестали нравиться. Нет! Поцелует бывало — и укажет на дверь. Усиление знаков его милости было сигналом падения того, к кому они обращались. Накануне отставки графа Кочубея он сам привез фрейлинский шифр его дочери. Дальновидный царедворец стал вслед за тем укладываться в дорогу.

Барон Корф в своей книге передал нам письмо Александра к В. П. Кочубею, написанное им в мае 1796 года, за несколько месяцев до кончины Екатерины. Обнародованием этого письма хотел он доказать давнишнюю наклонность Александра к отречению от престола, но доказал только отвращение его к тогдашнему двору и к России, — следствие превратного, бестолкового образования: оно было более блистательное и многостороннее, нежели основательное и прочное. Он выучил многое наизусть, говорил по-французски, как

дофин, но не умел безошибочно писать по-русски и впоследствии говаривал шутя, что сожалеет о невозможности запретить указом употребление буквы «ять».

В то время, когда ему следовало бы приняться строго за учение, укрепить свой рассудок, распространить круг своих познаний путешествием по России и по чужим краям и прилежным наблюдением бытия человеческих, не ограничиваясь легкими очерками учебной книги, — его женили (на шестнадцатом году). Екатерина спешила насладиться плодом своих трудов и попечений, хотела иметь ею созданного преемника, любезного ей умом своим и сердцем, ею созданного, радоваться и правнуками. Ранняя женитьба расстроила его во всех отношениях; истощила два прелестные цветка, не дав им развернуться. Это обстоятельство имело влияние, грустное влияние, на всю его жизнь. Он не вкусил счастья родительского и сам увял ранее времени. Смерть Екатерины и вступление на престол Павла изменили порядок и наружность дел, но не характер и мнение Александра. Есть предание, что Екатерина со-

ставила завещание, которым, на основании закона, предоставляющего русскому императору избрать и назначить себе преемника, устраняла Павла от царствования и передавала корону старшему его сыну. Говорят, что в секрете был один Безбородко. Он переписывал завещание в двух экземплярах и, по подписанию его Екатериной, скрепил и запечатал: один экземпляр надлежало отправить в Москву, для хранения в Успенском соборе; другой отдать в 1-й департамент Сената. Безбородко отправил пакеты по принадлежности, но в них, вместо завещания, была белая бумага, и, по воцарении Павла, представил ему подлинник. Вероятно, но правда ли это — не знаю. Достойны замечания следующие стихи Державина в оде на вступление на престол Александра:

*Стоит (Екатерина) в порфире и
вещает,
Сквозь дверь небесну долу зря:
Се небо ныне посылает
Вам внука моего в царя.
Внимать вы прежде не хотели
И презрели мою любовь;*

*Вы сами от себя терпели, —
Я ныне вас спасаю вновь.*

Эти стихи в печати изменены. В подлиннике четвертый стих был: «Назначив внука вам в царя».

Услуга Безбородко Павлу кажется тем вероятнее, что Павел возвел его в княжеское достоинство и подарил ему четырнадцать тысяч душ. Иван Саввич Горголи рассказывал мне еще более: будто бы Екатерина II умерла от отравы, которую поднесли ей стараниями Безбородко. Но это невероятно. Горголи, именно, хотел этим анекдотом оправдаться в роли, которую сам играл 12-го марта 1801 г.

Александр был кроткий и покорный сын, в точности исполнял волю отца, смягчал, сколько мог, его строгие, часто несправедливые и нелепые меры, и сделался надеждой, любовью, божеством народа. Все были обворожены его красотой, кротостью, благодушием, вежливостью, снисходительностью. Народ толпился вокруг него, бегал за ним, в его глазах читал упование и отраду. Александр усердно и добросовестно исполнял возложенные на него служебные обязанности, помо-

гал, делал добро офицерам и нижним чинам полков, состоявших под его командой, но не выказывался, не кокетничал.

Вокруг него собрались благородные люди: В. П. Кочубей, П. В. Чичагов, М. Н. Муравьев, граф П. А. Строганов, князь А. А. Чарторыйский, Н. Н. Новосильцев, князь П. П. Долгорукий, А. А. Витовтов, М. А. Салтыков[23]. С некоторыми из них он занимался изучением предметов философии, истории, политики, литературы. Плодами трудов его товарищей было издание «С.-Петербургского Журнала» (в 1799 году), выходившего под редакциею И. П. Пнина, при помощи Александра Федосевича Бестужева, отца участников заговора 14 декабря 1825 года.

Свидетельством выставленной нами выше двуличности и переменчивости Александра служит то, что, окружив себя этой блистательной плеядой, он, конечно без ведома их, сблизился в то же время с человеком не глупым, но хитрым, коварным, жестоким, грубым, подлым и необразованным, подлым рабом и хамом Аракчеевым. Этот бессовестный, недальновидный варвар успел подметить

слабую сторону Александра — неуважение его к людям вообще и недоверчивость к людям высшего образования, и вкрался к нему в милость, но, вероятно, сам просил его не выказывать своего к нему благоволения слишком явно; он во всю жизнь свою боялся дневного света.

Существование тесной связи Александра с Аракчеевым, в бытность его наследником престола, известно мне по одному неважному обстоятельству: Аракчеев, получив какую-то должность, помнится С.-Петербургского коменданта, и чувствуя свою неграмотность, вытребовал себе в писцы лучшего студента Московского университета, обещая сделать его счастье. К нему прислан был Петр Николаевич Шарапов (бывший потом учителем в Коммерческом училище), человек неглупый, кроткий, трудолюбивый и сведущий. Аракчеев обременял его работой, обижал, обходился с ним, как с крепостным человеком. Исключенный из службы по капризу Павла, Аракчеев почувствовал сожаление к честному труженику и поручил его покровительству Александра, сказав: «Наследник мне друг, и тебя

не оставит». Действительно, Шарапов получил хорошее место: впоследствии сгубила его чарочка.

Аракчеев, заметив в бумагах какого-либо высшего чиновника толк и хороший слог, осведомлялся, кто его секретарь, переводил его к себе, обещал многое, сначала холил и ласкал, а потом начинал оказывать ему холодность и презрение. Так приблизил он к себе почтенного и достойного Василия Романовича Марченко и впоследствии сделал его своим злейшим врагом. Потом вытащил он из провинции простого, неученого, но умного и дельного Сырнова. По окончании ревизии Сибири, выпросил у Сперанского Батенькова, посадил его в Совет военных поселений и потом до того насолил ему, что Батеньков пошел в заговор Рылеева.

Между тем Аракчеев хорошо умел отличать подлецов и льстецов. Таким образом втерся к нему бывший потом генерал-провиантмейстером в Варшаве Василий Васильевич Погодин, человек необразованный, но неглупый, сметливый, честолюбивый. Он начал свою карьеру в Министерстве юстиции,

женился на отставной любовнице графа Шереметьева, сделал себе тем состояние и пошел в люди. Что лучше, думал он, как служить у Аракчеева? — втерся к нему, работал неутомимо, кормил и поил Батенькова, чтоб пользоваться его умом, льстил графу, соглашался на все гнуснейшие его меры и, по-видимому, обратил на себя милостивое его внимание. Однажды, когда он докладывал, графа вызвали в другую комнату. Погодин воспользовался этой минутой и заглянул в лежавшие на столе формулярные списки, в которых Аракчеев вписывал свои аттестации для поднесения государю. Против своего имени прочитал он: «глуп, подл и ленив». И Погодин рассказывал это всем, жалуясь на несправедливость и неблагодарность.

Полагаю, что Александр видел в светских друзьях своих будущих своих помощников перед глазами света, а в Аракчееве готовил цепную собаку, чем он и был во всю свою жизнь. Аракчеев выбрал себе девизом: «Без лести предан». Из этого общий голос сделал: «Бес лести предан».

Причуды, сумасбродство, тиранство Павла,

возрастая ежедневно, достигли высшей степени. Нынешнее поколение не может составить себе о том понятия. Мне смешно, когда толкуют о деспотизме Николая Павловича. Пожили бы вы с его родителем, заговорили бы иное. Все трепетало перед Павлом, особенно люди честные и добрые из его подданных. Почтенные люди, выезжая поутру со двора к должности, прощались с домашними, не зная, где будут обедать, дома или на первой станции по дороге в Сибирь.

Павел воображал себя справедливым, а никогда не бывало в России такого неправоудия, как в его время: честных людей гнали и губили, негодяев и мерзавцев возвышали; например: полицмейстером в Петербурге был обанкротившийся трактирщик Морелли. Первым любимцем его был турчонок фершел Кутайсов, граф, шталмейстер и андреевский кавалер. Любовница Кутайсова, французская певица Шевалье, раздавала места, жаловала чинами, решала процессы с публичного торгу. Генерал-прокурором был раб и палач Обольянинов.

Истинные патриота, Васильев, Беклешов и

прочие, были в немилости и изгнании. Павел рассорился со всеми своими союзниками и, в сумасбродстве своем, вздумал вызывать на дуэль римского императора Франца II. Он вступил в дружбу с коварным Наполеоном Бонапарте и, забыв все свои донкихотства за Бурбонов, выгнал Людовика XVIII с его семейством среди зимы из Митавы и признал французскую республику. Мало этого: он согласился с Бонапартом завоевать у англичан Ост-Индию и уже двинул свои войска в степь. Английский флот, пробившись сквозь Зунд, шел на Кронштадт, тогда очень плохо укрепленный.

Дела внутренние были в совершенном расстройстве. При кончине Павла в Государственном казначействе было всего четырнадцать тысяч рублей деньгами. 1-го мая ни один чиновник не получил бы жалованья. Торговля и промышленность остановились. О науках тогда и помину не было. Взлелеянная Екатериной литература замерзла. В народе господствовало какое-то немое оцепенение. Все предвещало какой-нибудь страшный перелом.

Россия страдала в безмолвии. Некоторые из вельмож стали помышлять о прекращении зла. В числе их был граф Никита Петрович Панин: он первый указал Александру на бедствия и опасности отечества и на необходимость прекратить их. Вдруг Павел за что-то на него разгневался и сослал его в деревню. В 1800 году возвратились в Петербург Платон и Валериан Зубовы, как слышно было, по ходатайству подкупленной ими мадам Шевалье, и поступили (курам на смех) директорами 1-го и 2-го кадетских корпусов.

Но первым зачинщиком и двигателем заговора был человек, которому император поверился совершенно: граф Петр Алексеевич фон-дер-Пален, тогдашний с.-петербургский военный губернатор. Он знал переменчивость нрава Павлова, чувствовал шаткость своего положения и решился предупредить удар, особенно узнав, что Павел вздумал воротить бывшего в изгнании Аракчеева. Доверенным лицом Палена был генерал Беннигсен, посланный Павлом командовать какой-то дивизией вдали от Петербурга. Присоединив к себе еще несколько злоумышленни-

ков из генералов и офицеров армии (важнейшим из них был генерал Талызин), Пален составил заговор. Возбуждая в то же время подозрения и опасения Павла и успев обратить его недоверчивость даже на наследника престола, Пален получил тайный приказ арестовать Александра. С этим приказом явился он к наследнику и убедил его спасти отечество низложением человека, помешавшегося в уме. Александр, после продолжительного колебания, дал свое согласие принудить императора к отречению от короны, но с непременным условием щадить отца и не нанести ему никакого зла, никакого оскорбления.

Заговорщики обещали ему свято исполнить его волю и, конечно, сами не имели намерения лишить Павла жизни, но буйные из них (Николай Зубов, князь Яшвиль и т. п.), придавшие себе смелость шампанским, увлеклись злым чувством и умертвили беззащитного своего царя, молившего о пощаде его жизни, совершили гнусное, ужасное злодеяние. На заре XIX века люди знатные породой, положением в свете и в государстве, обладавшие всем, что дает человеку право на уваже-

ние ближних, что составляет достоинство человека и христианина, прокрались, как подлые разбойники, достойные клейма и кнута, в комнату безоружного, спящего человека, отца семейства, и не внемля его мольбам, умертвили его с сатанинским хохотом.

Можно вообразить себе ужас и омерзение Александра, когда он узнал об этом деле. Сначала он не хотел было принимать короны, потом согласился исполнить долг свой, но ужасное сознание участия его в замыслах, имевших такой неожиданный для него, терзательный исход, не изгладилось из его памяти и совести до конца его жизни, не могло быть заглушено ни громом славы, ни рукоплесканиями Европы своему освободителю. У него остались на прекрасном, приветливом лице тяжелые воспоминания этой пагубной ночи в морщинах между бровями, которые появлялись при малейшем душевном движении. Он мог снести все лишения, все страдания, все оскорбления. Только воспоминание о смерти отца, мысль о том, что его могут подозревать в соучастии с убийцами, приводила в исступление. Впоследствии увидим, что Наполеон

Бонапарт обязан своим падением оскорблению в нем этого чувства.

Россия приветствовала юного царя, своего любимца, невыразимым восторгом. Первые поэты того времени славили его вступление на престол. Карамзин, Херасков, Державин, Дмитриев писали восторженные стихи на этот случай.

Александр воспользовался всеми зависящими от него средствами, чтоб прекратить злоупотребления и несправедливость предшествовавшего царствования и поправить что возможно. Тогдашние манифесты (2-го апреля 1801 года) и указы останутся навеки памятниками его любви к правосудию и милосердия. Он возвратил народу права его; он расторг оковы, наложенные на торговлю и промышленность, — накануне бедственной смерти Павла состоялся указ Коммерц-коллегии, вследствие именного указа, о запрещении вывоза из русских портов каких бы то ни было товаров! Возвращены были права Сенату, обуздана тиранская и самовольная полиция, исключенным из службы даны были надлежащие аттестаты, позволен выезд за

границу и въезд в Россию, допущен ввоз книг и нот из чужих краев, и наконец, уничтожена ужасная Тайная канцелярия, остаток варварской старины и инквизиции. Россия отдохнула и прославила его имя. Он нашел утешение горестному своему чувству во всеобщей к нему любви.

Прекрасное это время, благотворное, кроткое, спокойное, продолжалось до 1805 года. Достоинно замечания, что и заря царствования Екатерины II продолжалась лет шесть благотворно для России. Потом увлекли ее замыслы властолюбия и честолюбия: война турецкая и раздел Польши. Благо и польза России стали на втором плане. Потом возник и у нее Аракчеев — образцовый варвар Потемкин, и опутал ее как злой паук: он много повредил и ее славе, и благу России.

В 1801 году революционные войны были прекращены заключением мира в Люневилле между торжествующей Францией и изнеженной неудачными походами Австрией. В 1802 году подписан был мирный трактат между Францией и Англией в Амьене, но не надолго. В 1803 году Англия нарушила мир

вследствие многих самовольных поступков Наполеона. Россия была в стороне, но в марте 1804 года случилось происшествие, изумившее всю Европу. Бонапарт вопреки всем правам и законам велел схватить в Германии жившего там спокойно герцога Ангиенского, потомка Бурбонского дома, привезти его в Париж, посадить в тюрьму и расстрелять вследствие незаконного приговора. Этот поступок преисполнил меру терпения Европы, но Англия не имела средства выразить свое неудовольствие, находясь уже в войне с Францией. Австрия не могла двинуться от нанесенных ей ран, Пруссия боялась поссориться с Францией.

Возвысил голос один Александр. В звании поруки в сохранении Люневильского мира он подал протест Регенсбургскому сейму против нарушения нейтралитета Германии. Протест этот был написан в выражениях сильных, но умеренных и вежливых. Бонапарт отвечал дерзко и нагло. Тьер называет ноту Александра неблагоприятной. Нет! Это наименование следует дать ответу Наполеона, ибо он стоил ему трона.

На жалобу Александра, что принц Бурбонский захвачен был не во Франции, а за границею, на чужой земле, Наполеон отвечал, что вынужден был к тому интригами Бурбонов, участвовавших в замыслах Жоржа, Пишегрю и других на его жизнь. «На моем месте, — сказал он, — русский император поступил бы точно так. Если б он знал, что убийцы Павла Первого собирались для исполнения своего замысла на одном переходе от границ России, не поспешил ли бы он схватить их и сохранить жизнь, ему драгоценную?» Эта кровная обида запала в сердце Александра и поселила в нем неизгладимую ненависть к Наполеону, руководствовавшую всеми его помыслами и делами впоследствии. Принужденный заключить с ним мир в Тильзите, Александр принес в жертву своему долгу и России угрызавшее его чувство, но ни на минуту не терял его и, когда приспело время, отомстил дерзновенному совершенной его гибелью. Вообще Александр был злопамятен и никогда в душе своей не прощал обид, хотя часто, из видов благоразумия и политики, скрывал и подавлял в себе это чувство[24].

Разногласие с Франциею увлекло Александра на поприще политики и войны. Дерзости и захваты Бонапарта вывели Европу из терпения. Все, и самые недалёковидные, люди понимали, что при существовании этого человека мир в Европе невозможен. Новый император жил и дышал войной и, тревожа, оскорбляя, грабя всех, кого мог, утверждал, что все это делает для своей защиты от государств, возбуждаемых против него золотом Англии. Сделаем здесь одно замечание, выведенное нами из всей истории Франции XIX века. За исключением времени царствования Бурбонов обеих линий, особенно старшей, она возвышалась, устраивалась, распространялась, побеждала, торжествовала — обманом и ложью, что продолжается и поныне. Пишу эти строки 9 ноября 1857 года и утверждаю, что это стереотипное и исключительное орудие Наполеоновской династии сгубит и нынешнего Гришку Отрепьева, называемого Лудовиком-Наполеоном III. Владычество этого племени в Европе есть в ней то же, что преобладание золотушного начала в человеческом теле. Впрочем, французов нельзя уго-

монить ничем так, как ложью, хвастовством и блеском.

В 1805 году созрел этот нарыв и разразился австрийской кампанией. Ульм и Аустерлиц решили судьбу Европы в пользу Наполеона. Оставалась нетронутой Пруссия, но и ее час пробил вскоре. Наполеон, уступив ей не принадлежавший ему Ганновер, поссорил ее тем с Англией и в то же время своими дерзостями и кознями принудил ее к вызову, уверяя, что хочет мира. Прусская кампания 1806 года не имела подобной себе в истории. Это Росбахская битва в пятнадцати местах. Русские не успели подойти вовремя, но, столкнувшись с Наполеоном, дали ему знать свою храбрость и стойкость при Эйлау. А он наконец взял свое. Победой под Фридрихсфельдом он доказал, что нам еще рано с ним бороться. Англия помогала нам вяло. Австрия хитрила и мошенничала, как всегда. Александр увидел себя в необходимости склониться на мир, и он был заключен в Тильзите.

Тьер и другие историки не решили еще, искренен ли был Александр в дружбе, которую при сем случае заключил он с Наполео-

ном. Нет! Истинным другом не был он с ним никогда и ни минуты ему не верил. Он, может быть, не хотел с ним войны, может быть, надеялся сначала, что и Наполеон будет с ним откровенен и прямодушен, но этого не было. Рана, нанесенная нотой о герцоге Ангиенском, не заживала. Да и кто мог ужиться с Наполеоном? Он бросался на друга и на недруга, как бешеная собака, и только совершенно рабское подчинение его власти могло, и то ненадолго, удержать его жадность и дерзость в некоторых пределах.

Говорят, что Парижский мир постыднее Тильзитского. Нет! Нет! Мы в 1856 году заключили мир, видя, что продолжение войны не может повести к успехам, уступили свое, не взяли чужого. Но тогда мы взяли из рук недавнего врага область (Белостоцкую), отнятую нами у нашего друга и союзника, и этим набросили тень на наше бескорыстие. В оправдание наше говорили, что, если б мы не взяли ее, она все же осталась бы за герцогством Варшавским и не была бы оставлена во владении Пруссии. Я полагаю, что Александр взял эту полосу земли в угождение Наполео-

ну и для уверения его в своей дружбе; взял ее с ведома и согласия короля прусского. При заключении Тильзитского мира Александр именно сказал королю и королеве прусским: «Потерпите; мы свое воротим. Он сломит себе шею. Несмотря на все мои демонстрации и наружные действия, в душе я ваш друг и надеюсь доказать вам это на деле».

Глава девятая

Тильзитский мир огорчил Россию, но не ослабил ее: напротив того, дал ей средства и повод продолжать войну с Турцией и приобрести Финляндию, но для России имел он следствия пагубные тем, что произвел в Александре существенную перемену. С тех пор прекратились или чрезвычайно ослабли благородные его помышления о благе и просвещении России. Он сделался недоверчивее и нелюдимее прежнего. Достойные слуги его были удалены или удалились сами. Граф П. А. Строганов, опасаясь, что его употребят по дипломатической части в сношениях с врагом Европы и России, перешел в военную службу. Чичагов сдал министерство морское жалкому маркизу Траверсе. Новосильцев прозябал попечителем Петербургского учебного округа, доколе не был (1-го января 1811 года) сменен фанфароном Уваровым. Князь П. П. Долгорукий, М. Н. Муравьев умерли. Возвысились глупые и недобрые Куракины, неспособный говорун Румянцев, мнимо справедливый, бестолковый князь Д. И. Лоба-

нов-Ростовский. По смерти графа Васильева (1807 г.) управлял Министерством финансов государственный казначей Федор Александрович Голубцев и, изобличенный неосторожностью секретаря во взятках, уступил место ничтожному графу Гурьеву. С другой стороны, возник Аракчеев во всей красе своей. Александр более и более пренебрегал ненавистными ему внутренними делами, ограничиваясь военными и дипломатическими. Честь, как говорили во время французской революции, удалилась в армию. Войны с турками и со шведами были школой для наших генералов и офицеров.

По дипломатической части Александр наблюдал хитрую и умную политику Людовика XV. Послами и посланниками его в чужих краях были вельможи и знатные бары: князья Куракины, Долгорукие, граф Головкин, но; только для виду, по поверхности; истинными же исполнителями царской воли и поверенными его тайн были — советники и секретари посольств: граф Нессельрод, Анштет, Каподистрия. И государственный канцлер граф Румянцев не знал тайных дум и намерений го-

сударя. Он и оба Куракина уверены были в искренней, непоколебимой дружбе Александра к Наполеону и, уверяя в этом последнего, давали ему в том неоспоримые доказательства. Один Талейран проник истинное свойство тогдашних дел[25], но, не любя Наполеона, предвидя неизбежное его падение, хотя империя была тогда на высшей степени силы и славы, не выводил его из заблуждения. Политика тогдашняя была не бесполезна России, но не оправдывалась законами нравственности.

Всякое прикосновение к революции французской и ее гнусным исходам, наполеонидам, губит и срамит всякую державу, дотоле чистую и благородную. Мы безмолвно согласились на разбойничий набег Наполеона на Испанию и Португалию, не предвидя, что он там расшибет себе лоб; не принимали участия в войне Австрии, поднявшей оружие на притеснителя Европы (1809 г.), и в этом случае были правы, ибо можно было предвидеть, что мы успеха иметь не будем; но вот что нехорошо: Россия, в звании союзницы Франции, двинула, под начальством князя С. Ф. Го-

лицына, войска свои против Австрии, но действовала слабо и вяло. Французам она не помогла, а австрийцев обидела. Полумеры бесовестные и вредные. Общее мнение России порицало Александра. Наполеон осрамил его, дав ему, из земель, отнятых у Австрии, не именно какую-нибудь область, а четыреста тысяч душ, как бывало у нас цари награждали своих клевретов. На войну со Швециею надобно смотреть с иной стороны. Правительство наше имело к России обязанность обеспечить северо-западную ее границу. Владения Швеции начинались в небольшом отдалении от Петербурга. Крепости ее владычествовали над северными берегами Финского залива, Финляндия, огромная гранитная стена, давила плоскую Ингерманландию. Северная наша столица, в случае войны со Швециею, которая пользовалась бы пособием одной из сильных держав Европы, очутилась бы на краю гибели[26].

В начале царствования Александра (1802) шведский король Густав IV, приказав выкрасить русскую половину моста на пограничной реке Кюмене шведскими красками (си-

нею и желтою), нарушил тем одну статью Версальского трактата и на жалобы России отвечал высокомерно. Наша армия двинулась к границе, и судьба Финляндии была бы решена тогда же, если б Англия не употребила всех своих средств для примирения враждующих.

В 1807 году, по заключении Тильзитского мира, король шведский, не понимая ни положения своего, ни обязанностей к соседним державам, опять оскорбил Россию своими сумасбродными требованиями и дерзостями. Александр воспользовался этим случаем и исполнил то, что имели в виду его предшественники: взял Финляндию и обеспечил тем северо-запад России. Хотя это завоевание было очень полезно, но так как оно было сделано против союзника и родственника, то не одобрилось общим мнением в России. При молебствии по взятии Свеаборга в Исаакиевском соборе, было в нем очень мало публики, и проходившие по улицам, слыша пушечные выстрелы в крепости, спрашивали, по какому случаю палят. Услышав, что это делается по случаю взятия важнейшей крепости в Фин-

ляндии, всяк из них, махнув с досады рукой, в раздумье шел далее. Русский народ чуял, что не там развяжется трагедия, которая готовилась в Европе.

Война на юге не имела таких же счастливых результатов потому, что верный наш союзник Наполеон подстрекал против нас Турцию, между тем как враги наши, англичане, ей помогали. К тому же эта война была ведена довольно бестолково. В 1808 году, когда положено было вести ее серьезно, назначили в главнокомандующие восьмидесятилетнего князя Прозоровского: все его старания клонились к тому, чтоб умереть на правом берегу Дуная, Бог услышал его молитву: он скончался 9 августа 1809 года. Команду после него принял князь Багратион и молодецки начал кампанию. Александр, в видах западной политики, хотел, чтоб армия осталась зимовать на правом берегу Дуная. Это было невозможно по недостатку там продовольствия. Багратион отказал в том решительно и впал в немилость. В течение зимы он сформировал армию в сто шестьдесят тысяч человек и готовился открыть кампанию. Вдруг на его место

был назначен граф Каменский.

Кампания 1810 года началась блистательно и кончилась бедственно, несчастным штурмом Руцука, одной из сильнейших неудач, какие претерпела Россия. Граф Каменский был человек храбрый, умный, светский, образованный и отличился в звании дивизионного генерала в шведскую войну, особенно переходом по льду через Ботнический залив, но чтоб командовать армией, у него не стало сил. Он удалился из армии, занемог вскоре и умер (4-го мая 1811 года, на тридцать пятом году от роду). Кончина молодого блистательного полководца опечалила всю Россию, но нельзя не видеть в этом грустном обстоятельстве милосердия божия. Если б Каменский кончил удачно кампанию с турками, он непременно был бы назначен главнокомандующим армией против французов (в 1812 году), никак не согласился бы на выжидательные и отступательные действия, пошел бы прямо на Наполеона, был бы разбит непременно — и вся новая история России и Европы приняла бы иной вид, а какой — легко можно сказать теперь, по исходе полувека.

Темны и неисповедимы пути божий! От нетерпения молодого русского генерала на берегах Дуная в 1810 году зависела судьба царств и народов!

— Не с чего, так с бубен! — говорят игроки. Так и при Александре. Некого послать на выручку, так Кутузова. Александр не любил его, по правилу старой русской пословицы: рыбак рыбака далеко в плесе видит, но в важнейших случаях принужден был прибегать к нему, и Кутузов его спасал. Удивительная кампания с турками в 1811 году и заключение Бухарестского мира в 1812-м, принадлежащие к редким подвигам стратегии и дипломатии, и без 1812 года предали бы имя Кутузова бессмертию и благодарному воспоминанию России.

Выше исчислил я перемену лиц при дворе и в управлении. С лицами переменился и дух правления. Прежняя любовь к законности и просвещению, к либеральным идеям исчезла. Место ее заступили недоверчивость, скрытность, неуважение к людям достойным, возвышение подлецов и негодяев. Цензура из благородной и снисходительной сделалась

строгой, придирчивой. Не учреждалось новых училищ, кроме специальных, т. е. духовных и медицинских. Лицей был учрежден с особой целью, которая, однако, не знаю почему, была потом выпущена из виду[27]. Государственный Совет преобразован был по образцу Наполеонова. В законодательстве служил руководством Кодекс Наполеона. Учреждено было Министерство полиции, под ведением ограниченного умом и знаниями, слабохарактерного Балашова, у которого правой рукой был фанфарон Санглен.

Война с Англией ведена была вяло с обеих сторон: и Россия, и Англия чувствовали, что не им должно сражаться между собой, а предстояло соединиться для сопротивления общему врагу человечества. Между тем и эта война тяготила нас. Не было ни кофе, ни виноградного вина в общем употреблении публики; богатые и знатные, конечно, ели и пили, что хотели, но все прочие терпели недостаток в первых потребностях, жаловались, роптали. Более всего было унижение России. Бонапарте умышленно прислал послами двух участников в убийстве герцога Ангиенско-

го — Савари и Коленкура. Первый оставался недолго, зато последний играл роль проконсула. Общее мнение, общее негодование обвиняло Александра, а он сам терпел более всех, принужден был скрывать свои мысли и чувства, видел страдание своего народа и не мог помочь ему. Тяжелое, грустное время!

Расскажу при сем случае анекдот, слышанный мною от очевидца (Ф. И. Ласковского). В начале 1809 года, пребывание здесь прусского короля и королевы, все знатнейшие государственные и придворные особы давали великолепные балы в честь знаменитых гостей. А. Л. Нарышкин сказал притом о своем бале: «J'ai fait ce que je dois, mais je dois aussi tout ce que j'ai fait». — «Я сделал, что должен был сделать, но зато и должен за все, что сделал».

В числе первых лиц двора был граф А. С. Строганов, враг Наполеона, тогдашнего нашего союзника, удалявшийся от всякого соприкосновения с Коленкуром. На бале у Нарышкина Александр сказал старику: «Ты дашь бал и не будешь дурачиться. Понимаешь?» Граф безмолвно поклонился. Это значило: пригласить и Коленкура. Граф испол-

нил приказание. Но вот что случилось. Накануне бала приезжает к нему чиновник Министерства иностранных дел и привозит записку Коленкура к графу Румянцеву с жалобой, что он не приглашен на завтрашний вечер к Строганову. — Посылают за секретарем графским, Ласковским.

— Как не приглашен! — сказал Ласковский чиновнику. — Его имя стоит первое в списке. Ваши же (министерские) курьеры развозили билеты.

— Призвать курьеров.

Они явились.

— Развезли ли билеты по адресам?

— Развезли, только одного не нашли.

— А кого?

— Дюка де Висанса.

Тут недоразумение объяснилось. Новый титул посла не дошел еще до сведения экзекутора в министерстве. Ласковский отправился с чиновником к Коленкуру и объяснил причину ошибки.

Великолепный бал кончился ужином. В одном конце залы был накрыт круглый стол на десять кувертов, по числу царственных особ,

удостоивших бал своим посещением. От этого круглого стола тянулись два длинные стола для верноподданных и прочих. Пред самым окончанием танцев Коленкур вошел в столовую, увидел распоряжение, по которому он исключался из общества царских особ, и решился захватить свое место наглостью. Он стал у круглого стола и взялся за стул. Входят гости. Александр в первой паре вел королеву, взглянул, увидел Коленкура, догадался и сказал королеве: «Сегодня позвольте мне не садиться подле вас. Уж и так мне нет покою от моей жены. Буду ходить вокруг стола и ухаживать за всеми». Королева стала, смеясь, возражать. Елисавета Алексеевна, поняв мысль государя, начала играть роль ревнивой жены. Государь не сажился и был до крайности любезен со всеми, и особенно с Коленкуром, который согнал его с места и потом жестоко поплатился за свою наглость.

Вспомнил ли он об этом вечере, когда он, утром 19 марта 1814 года, с поручением Наполеона, подъехал верхом к воротам замка Пантен, из которого Александр готовился вступить в Париж?

У ворот русский часовой закричал: «Слезай с лошади, сукин сын!» И он сошел с коня и, сняв шляпу, потупив голову, прошел с выражением битого французского парикмахера между рядами наших офицеров, которых, бывало, возмущал своим высокомерием и наглостью. Таким образом вскоре пройдут и Морни, и Валевский, и все эти подлые рабы корсиканских зверей... (Написано 16-го июля 1838 г.)

Сколько труда стоило Александру уклониться от брачного союза Наполеона с одной из наших великих княжон, а глупые, бессовестные невежды французские (а вслед за ними и некоторые немцы) утверждают, будто Александр раздражен был предпочтением эрцгерцогини австрийской. У народов есть чутье, или второе зрение. Когда Наполеон был в апогее славы, когда весь мир перед ним преклонялся и трепетал, честные и благородные люди в России и в чужих краях предвидели и предчувствовали его падение, как теперь предвидят неминуемое падение его достойного племянника: тот был дневной разбойник, а этот ночной воришка.

Разрыв с Наполеоном, или первые его примеры, начались года через два после Тильзитского мира. Я упомянул о негодовании Наполеона на вялость, с какой мы помогали ему в 1809 году против Австрии. Он напал бы на нас тогда же, если б не был запутан в Испании: для успешного боя с нами надлежало собраться с силами, что он и сделал. Первым выражением его злобы был отзыв его в Законодательном собрании в начале 1811 года по случаю издания у нас нового тарифа. Он сказал: «Мелочные меры России не повредят нашим фабрикам». При общем безмолвии, при могильной тишине, господствовавшей в тогдашней политической литературе Европы, эти слова были многозначительны.

Александр предвидел бурю: и все враждебные происшествия и обстоятельства закалили его по природе мягкое сердце, внушили ему твердость и настойчивость, каких мы от него не надеялись и не ожидали, особенно при его тогдашней обстановке. Брат его, Константин, был храбр только в манеже, в сражениях умел найти предлог, чтоб избежать опасности, а в политике был малодушен и

недальновиден. К несчастью, он потерял единственного порядочного человека, бывшего при нем, графа Миниха. Жандр, Албрехт, Курута были люди ниже обыкновенных. Из особ женского пола царской фамилии Мария Федоровна была женщина добрая, благотворительная, недальновидная и ограниченная, немка в душе, пропитанная всеми династическими и аристократическими предрассудками.

Две женщины были на высоте своего звания, императрица Елисавета Алексеевна и великая княгиня Екатерина Павловна, бывшая, к счастью, замужем и за благородным человеком. Из приближенных к государю, два человека были достойны его доверенности — граф Кочубей и военный министр Барклай-де-Толли.

Кочубей был человек умный, высокообразованный и благородный, но, кажется мне, не имел довольно твердости и энергии, не мог совладать с событиями необыкновенными, каковы были события того времени. Я слышал от людей достойных веры, что Александр, в начале 1812 года, не совершенно вве-

рился Кочубею по той причине, что считал его неоткровенным, хитрым, коварным. Странное дело! Кто же из придворных не притворяется, не скрывает своих затаенных мыслей? Александр, сам двуличный и фальшивый, напрасно ждал и требовал прямоты от других. Будь он чистосердечен с Кочубеем, он, конечно, нашел бы в нем отголосок. Барклай был человек возвышенный и чистый, но ограничивался тем, что знал в самом деле: военной частью. К тому же он был холоден в обращении и не любим русскими, которые его не понимали и бессовестно порицали. Честь Пушкину, что он прекрасными своими стихами отдал должную справедливость неузнанному и непонятому другу правды и добра. А прочие?! Румянцев, Аракчеев, Балашов, князь А. Н. Голицын, граф Гурьев, князь Алексей Иванович Горчаков, Армфельт — одно ничтожество за другим.

В марте 1812 года произошла история со Сперанским. В то время, как я сказал, занимались преобразованием Государственного совета. И Сенат положено было переделать. Сперанский, в звании государственного секретаря

ря, которое он сочинил сам для себя, работал 17-го марта с Александром до одиннадцати часов вечера. Когда ударил этот час, государь сказал: «Довольно поработали!» — встал (кажется, перекрестил Сперанского) и сказал: «Прощай, Михаил Михайлович! Доброй ночи! До свидания». Михаил Михайлович отправился. Выехав из Зимнего дворца, он увидел свет в квартире Магницкого (который жил на Дворцовой площади, в верхнем ярусе дома Кушелева, где ныне здание Главного штаба) и вздумал к нему заехать. Входит и видит ужасное расстройство. Все двери настежь. Жена Магницкого (француженка) встречает его в иступлении и объявляет ему, что министр полиции только что арестовал ее мужа и отвез неизвестно куда. Сперанский изумился, но догадался в ту же минуту, что подобная участь ожидает и его, утешал несчастную женщину, как мог, обещал ей постараться о ее муже и поехал домой. Он имел время подумать, потому что жил на краю города, на углу Сергиевской и Таврической улиц, напротив Таврического сада. Въехав на двор, увидел экипаж Балашова и кибитку

тройкой и догадался, в чем дело.

Какая причина (не говорю вина) побудила поступить со Сперанским так нечестно? Я думаю, что единственной тому причиной было его плебейское происхождение. Воспитанные французскими гувернерами, баричи не могли перенести мысли, что ими управляет попович, и обвиняли его в делах, которые, по его докладу, решали и утвердили сами.

В биографии Штейна утверждается, что Сперанский учреждал тайные общества при помощи Феслера и Розенкампа: это вздор. Магницкий дело другое, но и он виновен был не в измене, а только в легкомыслии и болтливости. Различие характера и души обоих сосланных оказалось впоследствии во всем своем свете. Ссылка Сперанского принесла свою пользу, обратила на себя внимание и толки публики и отвлекла ее от других важнейших дел. Враги Сперанского торжествовали, но не дай Бог никому подобного торжества. Где они? Все умерли, не оставив ни сожаления, ни памяти о себе, а имя Сперанского будет блистать, доколе будут существовать законы в России.

На место его государственным секретарем назначен был Шишков, человек неглупый и почтенный, но вовсе не способный ни к каким делам. Движимый теплым чувством любви к отечеству, он написал несколько манифестов, лучшим из них было известие о потере Москвы. Шутники говорили, что, для возбуждения в нем красноречия, должно было сгореть Москве. Это сказал Блудов. По законному возмездию судьбы, пишет он сам теперь манифесты, а они гораздо хуже сочиненных Шишковым. Ни рыба, ни мясо. Средина между «Бедной Лизой» и «Марьиной Рощей»; даже не смешно.

Александр, на безлюдье, воспользовался давнишним правилом, которое потом было выговорено и внесено в закон Грибоедовым: «нам без немцев нет спасенья». Первым приближенным к нему советником был генерал Пфуль, преподававший ему в течение двух лет теорию военного искусства. Может быть, что план кампании 1812 года, составленный Пфулем, был нехорош, но Александр, искусным ведением кампании в 1813 и 1814 годах, доказал, что воспользовался уроками умного

и знающего тактика. Далее генерал Клаузевиц, Мюфлинг, Вольцоген; но самое благодетельное на него влияние имел бывший прусский министр барон Штейн, человек, какие рождаются веками, служивший ему верно, усердно и бескорыстно.

Последние четверо оставили по себе записки, могущие служить материалом к тогдашней истории. Не все в них изложено совершенно беспристрастно, но они много объясняют тогдашних обстоятельств. Слава Кутузова, Барклая, Багратиона, Витгенштейна, Платова, Воронцова, Ермолова, Кутайсова, Толля не померкнет от ошибок и недосмотров писателей иностранных, но еще возвысится их беспристрастием. Должно сказать по совести, что если некоторые из сих лиц слишком резко отзываются о наших генералах и государственных людях, они извинительны. У нас господствует нелепое пристрастие к иностранным шарлатанам, актерам, поварам и т. п., но иностранец с умом, талантами и заслугами редко оценивается по достоинству: наши критики выставляют странные и смешные стороны прищельцев, а хорошее и до-

стойное хвалы оставляют в тени.

Разумеется, если русский и иностранец равного достоинства, я всегда предпочту русского, но, доколе не сошел с ума, не скажу, чтобы какой-нибудь Башуцкий, Арбузов, Мартынов были лучше Беннигсена, Ланжерона или Паулуччи. К тому же должно отличать немцев (или германцев) от уроженцев наших Остзейских губерний: это русские подданные, русские дворяне, охотно жертвующие за Россию кровью и жизнью, и если иногда предпочитают природным русским, то оттого, что домашнее их воспитание было лучше и нравственнее. Они не знают русского языка в совершенстве, и в этом виноваты не они одни: когда наша литература сравнивается с немецкой, у них исчезнет преимущественное употребление немецкого языка. А теперь можно ли негодовать на них, что они предпочитают Гёте и Лессинга Гоголю и Щербине? Я написал эти строки в оправдание Александра: помышляя о спасении России, он искал пособий и средств повсюду и предпочитал иностранцев, говоривших ему правду, своим подданным, которые ему льстили, лгали, интригова-

ли и ссорились между собой. Да и чем лифляндец Барклай менее русский, нежели грузинец Багратион? Скажете: этот православный, но дело идет на войне не о происхождении Святого Духа! Всякому свое по делам и заслугам. Александр воздвиг памятник своему правосудию и беспристрастию, поставив рядом статуи Кутузова и Барклая. Дело против Наполеона было не русское, а общеевропейское, общее, человеческое, следственно, все благородные люди становились в нем земляками и братьями. Итальянцы и немцы, французы (эмигранты) и голландцы, португальцы и англичане, испанцы и шведы — все становились под одно знамя. Исключаю из общего состава турок и поляков: первые не христиане, последние и того хуже.

Но я слишком заговорился о постороннем предмете. Мое дело было оправдать Александра в предпочтении иностранцев, и что он не жаловал России и русских, это, к сожалению, правда. Когда только мог, вырывался из любезного отечества и колесил по Европе. Недаром воспел о нем Рылеев:

Царь наш немец прусский

*Носит мундир узкий, —
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь.*

Впрочем, отказаться в крайних случаях от совета и участия иностранцев было бы то же, что по внушению патриотизма не давать больному хины, потому что она растет не в России.

Наполеон вторгнулся в Россию. Обстоятельства и последствия этого вторжения известны. Не прошло шести месяцев, как великолепная армия его исчезла, и он в легких санках бежал с Коленкуром, приговаривая: *Du sublime au ridicule — il n'y a souvent qu'un pas.* — От великого до смешного — один шаг. Александр явил в течение этого года твердость, какой от него не ожидали, особенно зная его обстановку. После потери Москвы возвысились голоса, требовавшие мира. И чьи? Императрицы Марии Феодоровны, Константина Павловича, Аракчеева, Румянцева и некоторых других. Разделяли его убеждение императрица Елисавета Алексеевна, великая княгиня Екатерина Павловна и принцесса Антония Виртембергская (урожденная прин-

цесса Кобургская). Одним из главных его советников и поддержщиков был, как выше сказано, барон Штейн: он понял, что потеря Москвы есть уже освобождение Европы, и нашел сочувствие в государе и в некоторых его приближенных.

Если в 1812 году Александр Павлович явил благородную твердость духа в опытах и бедствиях, в 1813-м он снискал славу искусного и прозорливого дипломата. Ему удалось решить задачу, над которой трудились напрасно многие великие люди: он успел соединить, для достижения общей цели, все разрозненные государства Германии; он успел вдохнуть единочувствие и единомыслие в разнонародные войска, составлявшие армию, которая действовала против Наполеона. Должно было соединить в одном лице и кротость, и твердость, и уступчивость, и настойчивость, и ласку, и грозу — все вовремя, все кстати. И в этом он успел совершенно и удивительно. Соединенными силами всей Европы, за исключением Дании, низринута была власть Наполеона в Германии, и он принужден отступить за Рейн с потерей большей части вновь на-

бранной им армии. Но упорный и надменный дух его не упал, не уныл: он все еще надеялся на звезду свою и выдержал тяжелую кампанию 1814 года, которая, дивными соображениями и частными успехами, равнялась с первым его мастерским походом, 1796 года, в Италии.

И здесь окончательным решительным и блистательным исходом войны обязана была союзная армия уму и твердости Александра. Без его непрерывных усилий и убеждений союзники не дерзнули бы пойти на Париж и, может быть, нашлись бы в необходимости очистить Францию, когда Наполеон стал на сообщениях их с Рейном. Слава благоразумия, доблести и великодушия Александра достигла, вшествием его в Париж, своего апогея. Едва ли какой-либо государь в мире имел такое торжество. Через восемнадцать месяцев по занятии Наполеоном Москвы, по истреблении сильных и неистовых врагов, вступил он в Париж в челе всей армии, к которой присоединились войска остальной Европы, и подал руку Веллингтону, пришедшему из-за Пиреней, вступил в Париж не при проклятиях и

оскорблениях, а при радостных восклицаниях жителей вражеской столицы. Впрочем, возгласы и восторги ветреных, легкомысленных французов менее, нежели ничего.

Счастье благоприятствовало Александру даже многими потерями. Первая — смерть Кутузова. Думали, что он не мог бы вести войны так успешно: он не ужился бы с немцами, например с Блюхером, и они не согласились бы его слушаться. Вторая — смерть Моро. Если б он остался жив и сопровождал Александра, вся слава досталась бы ему. Таким образом совершилось ровно через десять лет возмездие Наполеону за оскорбление Александра упреком в смерти его отца, но замечательно, что и среди побед и грома славы тень Павла преследовала Александра. Когда взят был в плен Вандамм и приведен к государю, Александр принял его очень ласково, но Вандамм отвечал на учтивость грубостью; тогда государь сказал ему несколько слов насчет злодейских его поступков в Ольденбурге. Дерзкий Вандамм отвечал: «Я казнил врагов моего отечества, но не убивал своего отца». Огорченный Александр сослал его в Москву и,

узнав потом, что московские дуры за ним бегают, сослал в Вятку. Дерзкие слова произнесены были им безоружным среди русских: если б он сказал что-нибудь такое Наполеону, тот расстрелял бы его.

Великодушие вообще не всегда бывает к месту. Почему не взять контрибуции с Парижа за Москву? Французы не кричали бы нам: *Vive l'Empereur*, посердились бы и заплатили. Добро, сделанное им, они тотчас забыли, а пеню чувствовали бы долго, и это было бы им очень здорово. И великодушие, оказанное Наполеону, было излишнее и вредное, что оказалось ясно ровно через год.

За обаянием славы вскоре последовало разочарование. Александр посетил на время Петербург, где уклонялся от всяких торжеств и встреч, и отправился на Венский конгресс, но победитель и триумфатор на поле брани должен был бороться с гораздо большими препятствиями в стенах мнимо мирного кабинета. Люди и правительства, освобожденные и спасенные им, сделались его врагами; Англия, окончившая при его помощи продолжительную и изнурительную войну; Австрия,

возвратившая при пособии России все потери свои с лихвой; Франция, обязанная ему тем, что не была стерта с карты Европы, — соединились и положили действовать против России. В то самое время, как владыки этих земель изливались в выражениях взаимной дружбы, уважения и благодарности, министры их подписали трактат о противодействии Александру. Этот секретный трактат прислан был Александру Наполеоном, который, воротясь с острова Эльбы, нашел его на столе в кабинете бежавшего Людовика XVIII.

Появление Наполеона прекратило эти дипломатические ковы и заставило Европу, забыв частные разногласия, возобновить свой союз против демона вражды и кровопролития. Венский конгресс возобновился после Ватерлооской битвы и был кончен к удовольствию некоторых царей и к неудовольствию многих народов. Произошло замечательное явление. Русский император домогался приобретения ненужного, тяжелого и вредного, как ему предсказывали и друзья и враги, и как доказали последствия и ему и его преемнику.

Александр впал в большую ошибку. Победа и слава растворили его мягкое сердце, зачерствевшее было в трудах, опасностях и особенно в союзе с Наполеоном: союзы с Бонапартом и его исчадиями всегда были пагубны для держав Европы. В Александре проснулись либеральные идеи, очаровавшие начало его царствования. В 1814 году он побудил Людовика XVIII дать французам хартии, а на Венском конгрессе хлопотал он о даровании германским державам представительного образа правления. В Вене окружили его поляки, Чарторыжский, Костюшко, Огинский и другие, напомнили ему прежние его обещания и исторгли у него честное слово, что он употребит все свои силы, чтоб восстановить Польшу и дать ей конституцию. Европа видела в этом требовании замыслы властолюбия и распространения пределов и увеличения сил России. Австрия и Пруссия опасались влияния этой конституции на свои польские области. Англия и Франция не хотели, чтоб Россия въехала клином в Европу. Все русские министры восстали против этого, даже бывшие в ее службе иностранцы Штейн, Каподистрио и

Поццо ди Борго. Нессельрод впал было в немилость государеву; употреблен был дипломат-писарь Анштет, которому все было ни о чем, лишь бы он мог есть страсбургские паштеты. Иностранцы, особенно австрийцы и пруссаки, соглашались и на присоединение Варшавского герцогства к России, только бы в нем не было представительного правления. Александр настоял на своем и, получив герцогство с небольшими уступками соседям, назвал его королевством в Европе и царством в России. Поляки негодовали на это наименование тем более, что полный титул «Царь Польский» поставлен был подле «Сибирского».

Русские были огорчены дарованием исконным врагам нашим прав, которых мы сами не имели. Награждены были люди, лезшие на стены Смоленска и грабившие Москву, а защитники России, верные сыны ее, оставлены были без внимания, им заплатили Варяго-Русскими манифестами Шишкова. Александр упрямылся в исполнении слова, данного врагам России, окружавшим его польским изменникам, а разве он других слов своих не нарушил? За последнее никто бы не винил

его, если б оно было сделано в пользу России. Но как бы он был велик, когда бы, по окончании войны, не взял себе ничего! Как ничего? А слава бескорыстия, великодушия, а успокоение Европы насчет властолюбия и жадности России? Он выиграл бы этим во сто раз более, нежели приобрел занятием гнусной Польши. И к чему он это сделал? Честное слово было только предлогом. Ему хотелось блеснуть в роли конституционного короля, произнести фанфаронскую речь, а потом играть на Сейме в шахматы, как в парламенте.

Супостаты наши боялись усилить Россию присоединением к ней Польши, а это ее ослабило. Финансы герцогства были расстроены. Россия давала в год несколько миллионов рублей серебром на содержание армии, которая потом сражалась против нее. А нравственное зло! Четыре миллиона изменников, закоренелых врагов наших, сделались русскими гражданами, дворянами: ядовитая жидкость влилась в жилы России, За одно должно благодарить поляков: они вскоре разочаровали Александра и заплатили России по-польски, злом за добро, оправдали

предсказания друзей и недругов наших.

По учреждении царства надлежало избрать наместника. Выбор Александра пал на храброго генерала Зайончека, лишившегося ноги при Бородине. Думали, что поляки будут довольны признанием их храбрости, единственной их добродетели, которую они, впрочем, разделяют со всеми разбойниками. Не тут-то было! Каждый из магнатов считал одного себя способным и достойным занять первое место в государстве; все они разлетелись по Европе: в Париж, в Лондон, в Берлин, в Вену, везде стали поносить своего благодетеля и злоумышлять против него. В самой Польше свобода тиснения (т. е. печати) и речи употреблена была на хулы и насмешки над новым правительством (состоявшим из поляков), на брань и клеветы, которых предмет был неблагоразумный их благодетель.

И то сказать: посадили в Варшаву представителем государя и блюстителем законов цесаревича Константина Павловича, который сам не знал и не уважал никаких законов. В одной варшавской газете разругали актрису (m-lle Phillis), которая ему нравилась. Он по-

слал жандармов — разорить типографию, где печаталась газета. Вот тебе и конституция! Александр успел произнести одну шарлатанскую речь при открытии сейма и вскоре потом нашел вынужденным прекратить публичность и гласность прений и ограничить свободу тиснения, которой новые его верно-подданные не успели пользоваться. Новые жалобы, новые вопли! Забавнее всего было, что Константин Павлович был убежден в любви к нему поляков и верил им больше, нежели русским, а между тем оскорблял их и колол булавками. Чашу, наполненную обоими братьями, должен был испить неповинный ни в чем император Николай.

Произнесение речи в Варшаве было высшей точкой восхождения либеральных идей Александра. Он забыл русскую пословицу: «Соловья баснями не кормят», — полагая, что поляки удовольствуются его красноречивыми фразами. Увидев свою ошибку, он поворотил оглобли, да было поздно. Произошло смешение языков, смешение понятий, и в чужих краях и дома.

Каково было положение Александра в Рос-

сии? Он никогда не был прилежным работником, предоставляя дела другу своему Аракчееву, но с 1812 до 1815 года не делал ровно ничего. Это извинялось военными делами и отсутствием. Вот, говорили, война кончится, он удосужится, вероятно, и займется, а между тем накопилось дел громады.

В «Беседе Любителей Российского Слова» было торжественное собрание с музыкой и пением. Хор пел стихи, сочиненные на этот случай Державиным, в которых было сказано: «И хочет благом он заняться своих днесь чад, своих детей». Он и занялся: первым делом было приказание называть первую станцию по Московской дороге не три руки, а четыре руки; вторым положение о ливреях офицерских лакеев, третьим о ношении в какой-то артиллерийской бригаде зеленых брюк вместо белых и пр. Министров не принимал. Все поступавшие к нему жалобы воротил как ненужные. Аракчеев сделался сильнее, нежели когда-нибудь. Публика поворчала, привыкла и перестала, но злой гений России не дремал.

Для объяснения последовавших мыслей и

дел Александра нужно обратить внимание на религиозное его направление. Не знаем, каково было состояние его верований в молодых его годах, но с 1812 года они получили направление строгое, аскетическое. Говорят, что первым тому виновником был князь Александр Николаевич Голицын: когда, по занятии Москвы, все бывшие при дворе впали в уныние, он один сохранял равнодушие и спокойствие. Это не укрылось от взора императора. Не зная, чему приписать такое расположение духа, при общем унынии, он спросил у князя, где он берет такую твердость. Князь вынул из кармана Библию и сказал, что в этой книге почерпнул он уверенность в непреходящем спасении России.

Александр призадумался. В 1813 году, во время перемирия, посетил он гернгутские селения в Силезии (Гнаденберг, Гнаденфрей и пр.); там восхитился порядком, опрятностью и смирением жителей (Моравских братьев), взял у них несколько книг духовного содержания и погрузился в мистику. Потом сблизился он с помешавшеюся на святости баронессой Криднер, старавшейся лицемерием

старости искупить грешки юных лет. Вот что значило воспитание Александра, основанное на сказочках и на порывах чувствительности. Он век свой прошатался между крайностями.

В 1814 году знаменитый впоследствии писатель и министр Вильмен в присутствии Александра во Французской академии получил приз за похвальное слово Монтескье, был обласкан императором и явился к нему на другой день. В бытность мою в Париже, в 1817 году, рассказывая мне о разговоре своем с императором, он сказал: «До сих пор не могу понять, что хотел мне сказать ваш царь. Речи его были смесью либеральных идей с Библиею. Что в них общего?»

В самом деле, в голове его произошло странное смешение. Он никогда не любил света, его удовольствий и развлечений; никогда не бывал ни в театре, ни в концерте; из искусств любил одну архитектуру, удалялся от беседы с людьми учеными и умными, которых, по своему образованию и уму, мог бы постигать и ценить. По вечерам ездил пить чай к немецким купчихам, господам Бахрахт, Кремер и т. п., порядочным дурам. Чи-

тал одни французские романы и выписки из иностранных газет. Видно, он скучал, и после шумной и блистательной славы все казалось ему безмолвным и мрачным.

При дворе составились две партии. С одной стороны граф Аракчеев, окруженный подлыми рабами, в сравнении с которыми сам он был героем добродетели. С другой князь А. Н. Голицын, к которому примыкали Гурьев и другие подобные. Аракчеев не участвовал в духовных помыслах и подвигах Александра, смотря на них издали со скотским благоговением злого пса, еще неуверенного в своих силах, чтоб напасть на врагов своих. Голицын же сделался поверенным души императора, двигателем и орудием его чувств и мыслей. Первым помощником его был служивший дотоле по почтовой части при Козодавлеве Василий Михайлович Попов, человек довольно образованный, знавший иностранные языки и писавший очень порядочно по-русски, но умом ограниченный, суеверный святоша, преданный мистикам. Сподвижником его был директор Почтового департамента Николай Дмитриевич Жулковский. Они

были люди честные, искренние, убежденные в истине своих верований.

К этим, впрочем, добрым и хорошим людям примкнула толпа изуверов и лицемеров, ища спасение на том свете и благ в нынешнем, шедших по Кресту к крестам, чинам и деньгам. Главным орудием их действий и стремлений было издание и распространение Библии на всех возможных языках. Дело хорошее и действительно душеспасительное, но не единое на потребу, ибо зломыслие человеческое превращает и целебное питье в отраву, из слова божия извлекает своими ухищрениями вред и яд. Они вошли в сношение с Лондонским библейским обществом: в Россию приехали многие английские миссионеры, Паттерсон, Гендерсон, Пинкертон, и при их руководстве составилось Русское библейское общество, которое стало печатать Библии на употребительных в России языках и рассылать их.

Князь Голицын в 1817 году, назначенный министром народного просвещения и духовных дел, поощрял и награждал ревнителей библии, успел преклонить на свою сторону

архиепископа Филарета и других важных духовных особ. Хорошее дело — перевод Библии на русский язык — к сожалению, не исполнилось, но это можно было сделать в тиши, без шума, без лицемерия и изуверства. Кто не принадлежал к Обществу библейскому, тому не было хода ни по службе, ни при дворе. Люди благоразумные пробавлялись содействием косвенным или молчанием: таковы были Сперанский, Козодавлев и т. п.

Тщеславные шуты, люди без убеждений и совести, старались подыграть под общий тон, но не всегда удачно. Таким образом Уваров, произнесший в 1819 году, при открытии в С.-Петербургском университете кафедры восточных языков, ультралиберальную речь, за которую впоследствии сам себя посадил бы в крепость, потом стал охать, выворачивать глаза и твердить в своих всенародных речах о необходимости чтения слова божия, но никак не мог подделаться под господствующий тон и с отчаяния перешел из Просвещения в Департамент мануфактуры и при сей верной оказии разорил несколько московских фабрик, мешавших его собственным фабрикам.

Вся эта комедия была бы только смешна, если бы она не превратилась в трагедию. К ревнителям Библии, глупым и умным, присоединились злодеи и негодяи и употребили во зло слабости и заблуждения государя.

Самый злой, коварный и вредный был из них Михаил Леонтьевич Магницкий. По возвращении из ссылки, был он назначен сначала вице-губернатором в Воронеже, потом гражданским губернатором в Симбирске. Заметив, откуда дул ветер, он вздумал им воспользоваться. Не только завел он в Симбирске Библейское общество и принуждал всех чиновников и дворян вступать в оное членами, но и стал жечь на площади сочинения Вольтера и других подобных писателей XVIII века: он знал их очень хорошо, ибо до ссылки своей был безбожником и кощуном первого класса. Это аутодафе (сожжение) понравилось государю, и хотя для виду порицали в газетах излишнее усердие губернатора, но на деле увидели в нем сильного поборника и верного друга. Он был назначен членом Главного правления училищ и попечителем Казанского университета. Что он там делал, какими

негодьями и бездельниками окружил себя, как жестоко, нагло и насмешливо гнал честных и полезных людей, не соглашавшихся быть его клеветами, шпионами и рабами, об этом можно написать несколько томов.

Искренним другом и читателем его был попечитель С.-Петербургского учебного округа, Дмитрий Павлович Рунич, старавшийся превзойти даже гнусного Магницкого в его сатанинских подвигах. Третьим в этом милом совете был директор Педагогического института, дурак и пустомеля Дмитрий Александрович Кавелин, жалкий и глупый, но тихий лицемер, отец достойного сына, профессора Константина Дмитриевича, бывшего наставника наследника престола Николая Александровича. Рунич взялся за С.-Петербургский университет при помощи инспектора университетского пансиона, подлеца Якова Васильевича Толмачева, выкрал тетрадки нескольких студентов, выписал из них казавшиеся предосудительными места, которых сам не понимал, составил из них обвинительный акт и предал суду университетского совета профессоров Раупаха, Германа, Арсеньева и Галина. Едва ли

найдется в летописях инквизиции что-либо подобное! Профессоры эти лишились мест, другие вышли из службы, негодуя и стыдясь служить в таком министерстве. Действовавшие в нем лица сошли со сцены. Жив один Рунич, оставленный женой и детьми, больной, полоумный.

Самое неудачное из наших министерств есть именно Министерство просвещения. Впрочем, может быть, это так кажется мне, потому что я следил за ним с большим вниманием, нежели за другими, и имел с ним больше сношений.

Оно учреждено благой мыслью Александра Павловича в 1802 году. Министром назначен был граф Петр Васильевич Завадовский, человек большого ума, обогащенного познаниями тогдашнего времени, но притом ленивец и пьяница. Он не успел бы ничего сделать, если б не придано было ему в помощь Главное правление училищ, в котором заседали М. П. Муравьев (товарищ министра, попечитель Московского учебного округа), Н. Н. Новосильцев (попечитель с.-петербургский), князь Чарторыжский (попечитель Ви-

ленский), граф П. А. Строганов, Клингер (попечитель Дерптский) и т. д. Они образовали это министерство; они учредили новые ученые и учебные заведения и возобновили старые, составили благородный цензурный устав и т. п. Но это время было непродолжительно. Политические дела расстроили этот благородный союз и произвели в уме и сердце Александра остуду к предмету, за который он взялся было с жаром пламенного юноши. По смерти Муравьева, занял его место граф Алексей Кириллович Разумовский, человек умный и образованный, но большой барин и ленивец, любитель одной науки ботаники, при которой он допускал необходимость для оной латинского языка. Впоследствии, сделавшись министром просвещения, он поручил все дела директору своей канцелярии, Ивану Ивановичу Мартынову.

Бывши попечителем, он ненавидел Мартынова и говорил, что желает быть министром единственно для того, чтоб выгнать этого негодного человека. На самом же деле Мартынов сделался у него сильнее, нежели был у Завадовского. Когда спросили графа, по-

чему он не держит данного слова, он отвечал: «Вы не поверите, как мне приятно, когда этот бывший враг мой докладывает мне стоя и потом засыпает песком, когда я подписываю бумаги». А дела? А польза службы? А просвещение? А Россия? Кто же станет заботиться о таких пустяках.

Уваров, решившийся жениться на устарелой его дочери, сделан был попечителем С.-Пб учебного округа. О нем скажу впоследствии. В 1816 году граф Разумовский был смнен в Министерстве просвещения князем А. Н. Голицыным. Разумовского подсел директор лицея, Егор Антонович Энгельгардт, шарлатан, лицемер, хвостун и порядочный сквернавец. Он пользовался милостью Александра, к которому успел подольститься под видом прямодушия. В 1816 году по прибытии Александра в Царское Село он, будто невзначай, попал ему навстречу в саду и на вопрос государя, что он делает, отвечал, что огорчен выговором министра. Государь любопытствовал знать, за что. Энгельгардт отвечал: «В декабре прошлого года представлял я министру о необходимости сделать торги на постройку летних

панталон воспитанникам и не получил никакого ответа. В январе повторил представление. И тут ответа не было. В марте третье представление и новый отказ. Вот наступил май, и я сшил панталоны без торгов. В октябре наконец получил я разрешение на торги, но тогда донес, что панталоны уже сшиты и изношены. Министр сделал мне строжайший выговор заслушание перед начальством и за неисполнение приказаний».

Через неделю Разумовский был отставлен. И Энгельгардт просидел на месте не долго. Его уходили святоши. Потом он вкрался в милость к Канкрину и сделан был председателем редакции «Земледельческой Газеты». Работу всю отправлял редактор Степан Михайлович Усов, Энгельгардт, под предлогом изучения земледелия, выписывал себе на казенный счет журналы о садоводстве. Когда интриган и паук Заблоцкий прибрал в руки «Земледельческую Газету», Усова уволили без всего, а Энгельгардту дали полный пенсион. Энгельгардт хвалился своим постоянством: оно состояло в том, что он во всю жизнь ходил в темно-голубом фраке с черным бархат-

ным стоячим воротником и в черных чулках и башмаках. Он умел обморочить не одного умного и образованного человека. Зная в князе Голицыне человека кроткого, доброго, благонамеренного, многие надеялись от него всяких благ:

*Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась полынь.*

Тогдашние происшествия в Европе, неудовольствия Германии на исход Венского конгресса, обманувший надежды немцев, пожертвовавших всем для свержения иноземного ига, в ожидании лучшей будущности; волнения в университетах, умерщвление Коцебу студентом Зандом — все это заставляло призадумываться и искать средств к успокоению умов и к прекращению беспорядков. Вздумали водворять религию распространением Библии и сочинений Эккертсгаузена и Юнг-Штиллинга. Вошел в моду Лабзин, Попов, Магницкий, Рунич, Кавелин, и тому подобные ханжи, лицемеры и плуты завладели Голицыным и его министерством.

Главную роль играл при том Магницкий. Ему отдан был на съедение Казанский университет. Приехав туда и взглянув на профессоров, он тотчас отличил подлецов от порядочных людей: первых приближал к себе, повышал, представлял к наградам; других преследовал, обижал и выгонял. И в этом поступал он как кровожадные члены Комитета общественного блага (*du salut public*) во Франции. Является к нему профессор, толкует с ним, сообщает свои мнения, может быть, приносит жалобы. Магницкий слушает его внимательно, благосклонно. По окончании речи говорит: «Я имел до вас просьбу и надеюсь, что вы ее исполните». Профессор кланяется. «Вот лист гербовой бумаги, потрудитесь написать прошение об увольнении вас от службы и будьте уверены, что оно вскоре будет исполнено». Студентов заставлял он ходить в церковь как можно чаще; инспектору и профессорам предписано было присматривать, кто из них молится с большим усердием; по гримасам их, повышал и награждал.

Ханжество, лицемерие, а с тем вместе разврат и нечестие дошли там до высшей степе-

ни. Особенно отличался подлостями всякого рода профессор Пальмин, поступивший туда из плохих учителей С.-Петербургской гимназии. Когда иезуитский устав Казанского университета был введен в Петербургский, казанский ректор Никольский поздравил петербургскую обитель благочестия и просвещения отношением, составленным трудами благочестивого Пальмина. Эта бумага сделалась известной и возбудила общий смех. Магницкий видел, что его дураки пошли слишком далеко, и обратил свой гнев на Пальмина. Это же обстоятельство подало Магницкому средство или, лучше сказать, предлог расторгнуть связь свою с Голицыным и передаться Аракчееву.

Рунич был ревнителем, поклонником, подражателем и карикатурой Магницкого. Тот был хитрый и расчетливый плут, насмеялся над всем в свете, дурачил кого мог и пользовался слабостями и глупостью людей. Рунич был дурак, хвастун, пустомеля; фанатизм его был не естественный, а прививной: попадись он в руки Рылеева, он был бы повешен вместе с ним. Подражая во всем Магницкому, восхи-

щаясь его Робеспьеровскими подвигами в Казани, Рунич хотел повторить то же с большим блеском и громом в Петербурге.

Помощником его был профессор русской словесности Яков Васильевич Толмачев, переведенный в университет из петербургской семинарии за то, что учил грамоте девиц Перовских, побочных дочерей графа Разумовского и пресловутой Марьи Михайловны, бывшей потом генеральшей Леонтьевой. Толмачев приобрел, то есть выкрал, тетрадки студентов. Это мне известно в точности. Брат Бориса Карловича Данзаса, Генрих, умерший в молодых летах, лежал больной неопасной болезнью в лазарете и слышал, как Толмачев подговаривал студентов выдать ему тетрадки их товарищей. На возражения их он отвечал: «Что их щадить, этих проклятых немцев, всех их надо выгнать. От них житья нет!» На жертву избраны были профессора Герман, Раупах, Арсеньев и Галич. Герман, ученик знаменитого Шлёцера в Геттингене, был человек умный и ученый, но тяжелый, ленивый и довольно легкомысленный. Он преподавал в университете всеобщую статистику умно и дельно, но

поверхностно. Гораздо интереснее и важнее были частные лекции его в обществе молодых офицеров и других любителей наук. По миновании бури он поступил инспектором классов в Смольном монастыре и Екатерининском институте и пользовался до конца жизни своей милостями императрицы Марии Федоровны. Он издал несколько книг о статистике на русском и на немецком языках, не отличающихся внутренним достоинством и написанных поверхностно, но был человек честный и добрый и никогда не замышлял ничего дурного: это требует напряжения и труда, а он любил негу и лень. Умер он в 1838 году.

Эрнст Раупах, впоследствии известный драматический писатель, был гувернером детей кн. П. М. Волконского и, по протекции Уварова, поступил в университет сперва профессором немецкой литературы, а потом всеобщей истории. Он был протестант и поэт, следственно преподавал свой предмет свободно и не стесняясь узкими взглядами суеверов. Может быть, он был и неосторожен, но никак не был ни революционером, ни безбожником.

Лекции его были тем безвреднее, что он преподавал на немецком языке, которого девять десятых студентов не понимали, а остальные были протестанты. Полагаю, что он навлек на себя негодование начальства тем, что понимал и презирал тогдашних своих командиров.

Константин Иванович Арсеньев, ученик Германа, человек благородный, честный и кроткий, подпал гневу начальства за то, что не согласился жениться на племяннице ректора Зябловского. Какой изверг! Он должен был бы взять пример с известного литератора, переводчика Истории Гиллиса, Алексея Григорьевича Огинского, который, для приобретения протекции, женился на теще Толмачева! Арсеньев, служа в Инженерном училище, пользовался милостями великого князя Николая Павловича и впоследствии был учителем нынешнего государя Александра Николаевича. В 1848 году, будучи уже тайным советником и членом Совета Министерства внутренних дел, он подвергся немилости Николая, по доносу председателя секретной цензуры Д. П. Бутурлина, за одно выражение в

письме, при котором он поднес свою книгу цесаревичу, но этот гнев не имел вредных для Арсеньева последствий.

Александр Иванович Галич, человек добрейший, основательно учившийся философии, но слабый и бесхарактерный, был игрушкой учеников Петровской школы, в которой он сменил меня в 1813 году в звании старшего учителя русского языка. Не умея, при всей своей учености, справиться с высшими классами, он просил перевести его в класс для преподавания чтения, что и было исполнено. Потом получил он место профессора философии в университете. Он написал Историю Философских Систем, по немецким источникам, варварскими темным слогом. Из этой несчастной книги извлекли материалы к обвинению его. Ему самому приписали чужие мнения, которые он приводил в истории.

Профессоры университета разделились на две стороны — белую и черную. На белой были: Балугиянский, Лодий, Бутырский, Плисов, Шармуа, Деманж, Грефе, Чижов, Соловьев, Вишневский, Ржевский, Радлов и директор училищ Тимковский. На черной: Дегуров,

Зябловский, Толмачев, Рогов, Попов и Щеглов. Первые придерживались своего мнения и выражали оное по искреннему убеждению, по долгу правды и чести; последние — по зависти, подлости, трусости и желанию выслужиться у гнусного начальства. По составлении Руничем и его клеветами обвинительных пунктов, подсудимым сделаны были допросы в заседаниях университета. Едва ли можно поверить, чтоб нечто подобное могло случиться в XIX веке, в царствование Александра I. Рукопись Плисова разошлась по рукам. Святоши, узнавши о том, стали его преследовать. Плисов преподавал естественное право в гимназии. Кавелин обещал Руничу сгубить его на тогдашнем экзамене.

По рассмотрении Руничем учебных тетрадок, донес он о них министру: «Хотя в тетрадках Плисова не найдено ничего предосудительного, но это самое и доказывает, что он человек вредный, ибо, при устном преподавании, мог прибавлять, что ему вздумается». Плисов был уволен от должности. Впоследствии был он директором Департамента духовных дел иностранных исповеданий по

Министерству внутренних дел и отставлен Перовским за то, что не хотел скрепить противозаконной, по его мнению, бумаги. Он умер в звании члена консультации в Министерстве юстиции.

Дело профессоров кончилось ничем. Герман поступил на службу к императрице Марии Федоровне. Раупах вышел в отставку, уехал в Германию, посвятил себя драматической литературе и приобрел большую известность. Арсеньев был определен по Статистическому отделению в Министерстве внутренних дел. Когда Рунич, получив за свои подвиги орден св. Владимира 2-й степени, явился к великим князьям, Николай Павлович благодарил его за изгнание Арсеньева, который мог теперь посвятить все свое время Инженерному училищу, и просил выгнать из университета еще несколько человек подобных, чтоб с пользой употребить их на службу.

Сам Рунич сгубил себя. Надлежало перестроить здание, купленное для Петербургского Университета в Семеновском полку, где ныне Синодальное подворье, на углу Кабинетской улицы. Рунич исходатайствовал со-

гласие министра строить эти здания не с подрядов, а хозяйственным образом, получил миллион триста тысяч рублей ассигнациями по смете, отделал себе квартиру, построил отхожие места и кончил — за недостатком сумм. Его и всех чиновников, прикосновенных к делу, предали следствию и суду и приговорили к взысканию с них недоимки. Но взять было нечего. Рунич детей своих роздал по казенным заведениям, а сам шатался по улицам с Владимирской звездой, отпустив себе усы, горланил, хвастал и жаловался, обедал где случалось и так провел свой век. Наконец впал в болезнь и ребячество. Дм. В. Дашков над ним сжалился и помог ему. Равно ходатайствовал за него и князь Варшавский.

Достоин замечания, что Магницкий, втянув Рунича в свой круг, потом представлялся, что удерживает его от необдуманных поступков, и предсказывал ему худой конец. Замечательно также, что, по падении Голицына, потухла в Руниче и ревность к вере, заставлявшая его делать всякие несправедливости и преследовать людей.

В последний день масленицы 1824 года

приходит ко мне от него человек и приглашает к обеду на вторник, уведомляя, что у него будет обедать Сергей Николаевич Глинка. Я изумился и спросил у посланного, не ошибается ли он.

— Во вторник на первой неделе Великого поста православные не кушают скоромного, а до постной пицци я не охотник и потому прошу извинить меня нездоровьем.

— Что вы, сударь, — возразил мне с язвительной улыбкой посланный. — Вы говорите о временах прошлых. Нынче у нас мясоед круглый год.

Я отправился к Руничу в назначенный день и нашел, что он, видно для возбуждения аппетита, играет с каким-то молодым человеком на бильярде и в то же время толкует ему литургию Василия Великого. Приехал С. Н. Глинка. Обед был скромный и беседа отнюдь не великопостная!

Рунич оставался попечителем округа и в министерстве Шишкова, до открытия беспорядков по хозяйственной части, и всячески старался к нему подбиться. На экзамене гимназии Шишков, утомясь испытанием учени-

ков в каких-то скучных предметах, вздумал посмотреть книги, разложенные на столе перед ним, для раздачи в награду ученикам. Взял одну и развернул: «О старом и новом слоге русского языка»; другую: «Разговор о словесности»; третью: «Детская библиотека» — все его собственные сочинения! Он видимо смутился.

Шутники говорили, что потом, когда он, по приглашению попечителя, пришел к нему на завтрак, дети Рунича (а их была куча) запели хором из «Детской библиотеки»: «Хоть весной и тепленько, а зимой холодненько» и проч.

И Магницкий не избежал своей участи. Ниже сказано как он поехал на поклонение в Грузине. Там он всячески льстил и пресмыкался, но вряд ли умел надуть Змея Горыныча: Аракчеев, употребив его в свою пользу, бросил бы как выжатый лимон. Магницкий, уезжая, поднес Аракчееву описание вещего сна, будто бы виденного им, когда он ночевал в Грузине: в том сне видел он дивные вещи в будущем и предсказывал успехи и всякое счастье поборнику православия. Воротясь в Петербург, занялся он какими-то планами о пре-

образовании просвещения и духовной части в России.

27-го ноября 1825 года Магницкий сидел в своем кабинете и сочинял — Бог знает что. Входит к нему ренегат, примкнувший к православию, но человек честный, сенатор Матвей Петрович Штер. Магницкий показывает ему с торжеством написанную им бумагу.

— Открою глаза государю! — говорит он. — Увидит всю мерзость людей!

— Вы пишете к государю? — спросил Штер.

— К государю, а что?

— Государь скончался.

Магницкий опустился на стул и преклонил голову, закрыв глаза руками. Между тем Штер сообщал ему подробности плачевного события. Через несколько минут Магницкий вскочил и закричал: «Пишу к императору Константину Павловичу». Единственным делом, которое дозволил себе Николай Павлович, до вступления своего на престол, была высылка Магницкого. Ему велено было ехать в место служения своего, Казань. Он барахтался несколько времени, но принужден был повиноваться. Вскоре он был уволен от служ-

бы, с приказанием жить в Ревеле. Впоследствии жил он в Одессе, где и умер. Все его старания выкарабкаться оттуда были напрасны.

У Магницкого был один сын, хорошенький собой, умный мальчик, служивший в гвардейских гусарах. За какую-то шалость он был выписан из гвардии. Я видел его потом у Ростислава (Феофила Матвеевича Толстого). Он был человек образованный и приятный. Женатый уже, он влюбился в другую замужнюю женщину, сошел с ума и умер. Дочь его незамужняя, дурно воспитанная, упала до степени публичной женщины: «аз семь господь Бог твой, Бог ревнитель, отдавый грехи отец на чада до третьяго и четвертого рода ненавидящим меня!» (Исх. XX, 5).

Голицын, Попов и вся эта шутовская компания восхищалась плодами трудов своих. Но — *on n'est jamais trahi que par les siens*, что значит по-русски: «не выкормя, не выпоя, ворога не узнаешь». Аракчеев издавна, со всей злобой зависти, смотрел на успехи и распространение силы Голицына. Под влиянием его внушений, составила партия антиголицынская, ничем не лучше в нравственном отно-

шении: ее составляли петербургский митрополит Серафим, отданный преосвященным митрополитом Московским Платоном из семинаристов в монахи, чтоб спасти его от позорного наказания за какое-то мерзкое преступление; петербургский обер-полицмейстер пьяный Иван Васильевич Гладков; сестра его, игуменья казанского женского монастыря Назарета, Прасковья Михайловна Нилова, урожденная Бакунина, и еще некоторые особы, собиравшиеся у вдовы Державина. Через кого действовать на Голицына, не знали.

Думали, думали, и наконец догадались пощупать Магницкого, не согласится ли святой человек сыграть роль Иуды, изменить своему благодетелю. Между тем В. М. Попов не согласился на одно нелепое предложение Магницкого об исключении из службы казанского профессора Пальмина (величайшего скота), которого он сам недели за две представил к ордену за христианскую его душу, и положение Комитета министров было уже утверждено государем. К тому Магницкий получил все, чего мог ожидать: аренду, земли, пенсион, единовременное награждение; с чего было

ему оставаться у Голицына? Он склонился на предложения благородного Аракчеева и поехал на поклонение в его Мекку (Грузине). Там Иуда Искариотский раскрыл перед Вельзевулом все подробности, все таинства библейского союза, всю нелепость, все ухищрения их: он мог сделать это легко и скоро, ибо сам был в этих проделках главным действующим лицом.

Новые друзья условились, как погубить Голицына, и действительно в том успели. Подробности этого дела известны мне потому, что я был в них если не действующим, то страдательным лицом. Государя убедили, что Голицын и его приверженцы составили заговор против Православной Церкви, распространяли учение протестантизма и намерены водворить в России безбожие и нечестие. Выкрали для того подлым образом корректуру одной книги, печатавшейся с одобрения цензур князя Голицына, выписали из нее несколько мест и дали им кривой толк. Слабый Александр испугался, отнял у Голицына Министерство просвещения и духовных дел, оставив его только главноначальствующим

над почтовым департаментом, сменил Александра Ивановича Тургенева, бывшего директором Департамента духовных дел, и директора Департамента просвещения Попова, с преданием последнего уголовному суду. Министром на место Голицына поступил выживший в то время из ума бестолковый Шишков за сочинение нелепого разбора означенной заподозренной книги. Не знаем, что случилось бы с лицами, прикосновенными к этому делу, если б не умер Александр.

* * *

В числе замечательных лиц, с которыми случай свел меня в жизни, должен я упомянуть о Варфоломее Филипповиче Боголюбове. Он представляет любопытное зрелище — человека, всеми презираемого, всем известного своими гнусными делами и везде находящего вход, прием и наружное уважение! Таковы милые светские связи. Человек честный, благородный, откровенный, но простой, не умеющий хорошо говорить по-французски, незнакомый с приемами и хитростями большого света, при всех дарованиях и заслугах своих, не добьется и десятой доли того, чем пользу-

ется смелый, бесстыдный и бессовестный негодяй, известный своими порочными наклонностями и делами.

Отец Боголюбова в последние годы царствования императрицы Екатерины служил экономом в Смольном монастыре и исполнял свою должность с большим попечением о своем кармане. Когда, по вступлении на престол императора Павла, все воспитательные и богоугодные заведения отданы были в ведомство императрицы Марии Федоровны и главное над ними начальство было поручено умному, деятельному и строгому графу Якову Ефимовичу Сиверсу, последовала ревизия — хозяйственной их части за прежние годы. Боголюбов, видя себе неминуемую беду, решился предать себя смертной казни и вонзил себе в живот кухонный нож. На вопль его домашних сбежались соседи, пригласили медика и исследовали состояние больного, который терзался в ужасных мучениях. На вопрос одного наследника, есть ли надежда на спасение его жизни, врачи отвечали единогласно: — Нет никакой.

— Долго ли проживет он в этих мучениях?

— Он умрет, лишь только вынут нож из раны.

— Да кто на это решится?

Тогда девяти- или десятилетний сын его, Варфоломей, смело подошел к кровати больного и, бестрепетно вынув нож, прекратил тем и страдания и жизнь своего отца. Дивный пример сыновней любви и самоотвержения!

Мария Федоровна изъявила глубокое сожаление об этом несчастном случае, призрела осиротевшее семейство и поручила юного Варфоломея попечению князя Алексея Борисовича Куракина. Князь исполнил желание государыни, взял юного героя и дал ему воспитание наравне с своим родным сыном, воспитание светское, блистательное, и потом определил Боголюбова в Коллегию иностранных дел. Он был командирован в Корфу, к генералу Анрепу, познакомился там с Бенкендорфом и другими молодыми людьми первых фамилий; потом был при посольстве в Мадриде и Вене под начальством Дм. П. Татищева. В последнее время числился он при министерстве и жил в Петербурге, имея вход в лучшие дома, и находился в дружеских связях с

Тургеневым, Блудовым и другими светскими людьми. Я знал его только потому, что видел иногда у Тургенева и у Воейкова, но в 1831 году, когда открылась холера, он был назначен попечителем квартала 1-й Адмиралтейской части, в которой частным попечителем был С. С. Уваров, с которым он вошел в тесные связи по родству Уварова с князем Куракиным. Боголюбов, посещая дома разных обывателей, зашел и ко мне. Мы разговорились с ним и познакомились; не говорю — подружился.

Когда я переехал в свой дом (в июле 1831 г.), он продолжал посещать меня, иногда у нас обедал и забавлял всех своими анекдотами и остротами; только нельзя было остеречься от его пальца. «Плохо лежит, брюхо болит». Он воровал все, что ни попадалось ему под руки. Спальня моя была внизу; кабинет на антресолях. Одеваясь поутру, я оставлял в спальне бумажник.

Однажды пришел ко мне Боголюбов, заглянул в спальню и, видя, что меня там нет, взобрался в кабинет и, посидев около часу, ушел. Я отправился со двора и, переходя через мостик на Мойке, встретился с наборщиком, ко-

торому за что-то обещал дать на водку, остановил его, вынул из кармана бумажник, чтоб из бывших в нем пятнадцати рублей вынуть синенькую. Не тут-то было: бумажник оказался пустым! В другой раз, воротясь домой перед обедом, нахожу, что Боголюбов сидит у меня в зале перед столом, покрытым газетами, и читает одну. Разговорившись с ним, я увидел у него за пазухой в боковом кармане картинку модного журнала и без всякого умысла сказал ему, шутя:

— К какой это даме несете вы моды, услужливый кавалер?

Он побледнел и застегнул фрак, сказав:

— Да к одной почтенной барыне.

Я поглядел на пачку новых газет: действительно, в ней не доставало модного журнала. До обеда зашел я к матушке, сестре и дочерям и рассказал им штуку Боголюбова. Он остался у нас обедать; сверх того обедал у нас один француз Бонне, разодетый куколкой. Между разговорами я сказал ему: «Как вы можете в нашем климате (это было в глубокую осень) одеваться так легко: и фрак, и жилет у вас нараспашку. Долго ли простудиться! Вот по-

смотрите на этого застегнутого дипломата: как он сохраняется. Подумаешь, что он прячет краденое». Домашние мои были в страхе, что Боголюбов обидится. Но все прошло благополучно.

Однажды, во вторник на первой неделе Великого поста, приехал ко мне звать меня к обеду Булгарин и при этом случае взял у меня двести рублей; потом он отправился в Большой театр и купил там пять билетов по пяти рублей, на вечерний маскарад. Обедали у него свитский генерал граф Нессельрод (дворянский брат министра), один польский полковник, Боголюбов и я. Беседа за столом была преприятная. После обеда гости, кроме Боголюбова, тотчас отправились по домам. Булгарин проводил их, в том числе и меня. Боголюбов оставался и, когда воротился Булгарин, простился с ним и ушел также. В комнате, где мы сидели после обеда, было бюро, на которое Булгарин положил свой бумажник. Хватить, все оставшиеся в нем сто семьдесят пять рублей исчезли. Таких случаев знал я, знали все до тысячи, но никто не успел застать и уличить Боголюбова с поличным. А

сколько он утащил у меня книжек! Добро бы украл полные сочинения, а то почти все разрознил.

Я говорил выше, что он был знаком и короток с Бенкендорфом. Говорили, что он был его шпионом. Не знаю этого в точности, но эту славу раздавали многим и мне самому, потому и не дерзаю говорить о том положительно. Вспомню только один случай. Однажды, когда Уваров был в Москве, Боголюбов пришел ко мне и прочитал письмо, в котором тогдашний товарищ министра просвещения уведомлял его, старого друга, о разных встречах, о блюдах в Английском клубе, о речах и суждениях некоторых именитых особ.

— Не правда ли, интересно? — спросил у меня Боголюбов.

— И очень, — отвечал я.

Я читал это письмо генералу (тогда Бенкендорф не был еще графом), и ему оно понравилось.

Оставляю читателя догадываться, кто играл здесь какую роль. Дружба Боголюбова с Бенкендорфом пресеклась трагической сценой. Однажды Боголюбов приходит к нему,

ни о чем не догадываясь, и видит, что его появление произвело на графа сильное впечатление.

— Что с вами, дорогой граф? — спрашивает Боголюбов.

Бенкендорф подает ему какую-то бумагу и спрашивает:

— Кто писал это?

Это была перлюстрация письма, посланного Боголюбовым к кому-то в Москву: он насмеялся в нем над действиями правительства и называл самого Бенкендорфа жалким олухом. Это письмо доставил графу почтди-ректор Булгаков, ненавидевший автора. Боголюбов побледнел, задрожал и упал на колени.

— Простите минуту огорчения и заблужде-ния старому другу!

— Какой ты мне друг? — закричал Бенкендорф. — Ордынский! Велите написать в кан-целярии отношение к военному генерал-гу-бернатору о высылке этого мерзавца за город.

Боголюбов плакал, рыдал, валялся в ногах и смягчил приговор.

— Убирайся, подлец! — сказал Бенкендорф. — Чтоб твоя нога никогда не была у ме-

ня!

Боголюбов удалился. Этот случай рассказан был Булгарину Ордынским, секретарем Бенкендорфа.

С Уваровым сохранил он связь до конца своей жизни: видно, между ними были какие-то секреты, но Уваров стыдился этой связи. Однажды Боголюбов застал меня за сочинением одной статьи, помещенной потом в «Пчеле», о начале «Сына Отечества».

— Что же вы ее не печатаете?

— Нужно прежде цензуры показать Сергею Семеновичу, — сказал я, — потому что в ней идет речь о нем, а я не соберусь идти к нему.

— Сделайте мне одолжение, Николай Иванович, поручите это дело мне: я очень часто бываю у Сергея Семеновича и непременно исполню ваше желание.

Я, враг всех министерских передних, согласился и отдал ему статью. Через неделю добрый и любезный Василий Дмитриевич Ковровский, директор Канцелярии министра, привез ко мне эту статью, одобренную к напечатанию, и, отдавая ее мне, просил, именем Уварова, не относиться к нему через Боголю-

бова, а являться лично или передавать через канцелярию.

Боголюбов умер в марте 1842 года, после кратковременной болезни, оставив двух сестер, престарелых девиц, без всякого пропитания. Вероятно, Уваров не оставил их. Я спрашивал у домашних Боголюбова, не остались ли после него книги, в числе которых находились многие, взятые им у меня. Мне отвечали: не осталось ничего.

И все это примерло: и Боголюбов, и Бенкендорф, и Уваров! К чему послужило воровство одному, царедворничество другому, тщеславию и властолюбие третьему?

Любопытное дело Госнера могу я описать во всей подробности, потому что сам участвовал в нем — страдательным лицом. Описание мое будет справедливое и беспристрастное, потому что по истечении тридцати с лишком лет исчезли в душе моей все неудовольствия и огорчения, претерпенные мною; осталось воспоминание о любопытной драме.

В то время, когда мистицизм, методизм, библизм и тому подобные поветрия проникли в Россию и распространились в ней, как

сорная трава на черноземе, приехали сюда два католических священника: Линдль и Госнер. Оба они, не отрекаясь от католицизма, проповедовали чистый мистический протестантизм, говорили южнонемецким наречием, прямо, грубо, с убеждением и с красноречием проповедников средних веков. Линдль проповедовал в Мальтийской церкви, а Госнер в большой католической (св. Екатерины), на Невском проспекте. Католики видели в этих проповедниках предателей и еретиков и проклинали их. Слушателями их были отчасти верующие и убежденные, но не находившие достойной духовной пищи в поучениях пасторов протестантских и православных священников, но большая часть их ходила на эти поучения из подлой угодливости покровителю их Голицыну. Магницкий, Рунич, Кавелин, Попов, Пезаровиус (основатель «Инвалида»), Ливен (князь Карл Андреевич), Адеркас (этот скотик жив поныне), директор Петровской школы Шуберт, Серов и т. д. окружали их кафедры, выворачивали глаза, вздыхали, плакали, становились на колени. Желющие знать содержание, направление и слог

этих речей могут прочесть напечатанные тогда, в русском переводе, три проповеди Линдля.

Госнер написал в то время толкования на Новый Завет на немецком языке. Набожный осел Карл Карлович фон Поль (впоследствии тайный советник и директор Канцелярии Министерства внутренних дел при Блудове) одобрил эти книгу к напечатанию; думаю, он читал ее, стоя на коленях. Другой усердный читатель Госнера, отставной инженер-генерал-майор Александр Максимович Брискорн (дядя Максима Максимовича, пострадавшего в деле Политковского), занимавшийся попеременно пуншем и Библией, вздумал перевести эти толкования на русский язык; но, получив в Инженерном корпусе образование безграмотное, споткнулся на первом шагу и нанял для перевода бывшего казанского профессора Яковкина и одного чиновника 5 класса Трескинского. По окончании перевода первого тома Брискорн принес рукопись Павлу Христиановичу Безаку (моему двоюродному брату), с которым мы вместе купили и содержали типографию. Безак как для увеличения

доходов типографии, так и из угодливости к партии Голицына, к которой принадлежал друг его Николай Дмитриевич Жулавский, охотно взялся напечатать книгу, но, взглянув на перевод, ужаснулся. Не было ни смыслу, ни толку. Надлежало все исправить. Я обязан был принять участие в этой адской работе. Целые дни проходили у нас в корректурах. Брискорн умер в конце 1823 года. Госнер принял на себя продолжение издания. Василий Михайлович Попов взялся кончить перевод и перевел несколько глав.

Между тем произошла катастрофа, о которой я упоминал выше. Магницкий, предавшись Аракчееву, возгласил, что Голицын покровительствует шайке безбожников и злодеев, которые пытаются сгубить в России христианскую веру, и взялся доказать это книгой Госнера, которая печатается с ведома и позволения Голицына. Для этого нужны были доказательства, нужно было выкрасть из типографии книгу или хотя бы листок ее. «Дайте мне три неважные слова, — сказал какой-то инквизитор, — я найду в них средство сгубить сочинителя». Однажды, в марте 1824 года,

явился ко мне некто Платонов, крещеный жид, известный шпион, умевший пробраться в порядочный дом, например, к князю Салтыкову, и с иезуитской покорностью просил дать ему хотя бы только прочесть листочек из душеспасительной книги Госнера, печатаемой в моей типографии. Зная этого молодца, я отвечал ему, что, во-первых, я не смею распоряжаться чужой собственностью, а во-вторых, книга не отпечатана, следовательно, билета на выпуск в свет не получено, и я не в праве выпускать ее из типографии. Он стал всячески улаживать меня. Я отвечал сухо, что не дам, и просил его оставить меня в покое.

Не успевши у меня, подлецы нашли другой путь. Узнали, что Брискорн давал корректуру для прочтения доктору Христиану Яковлевичу Витту. Некто Степанов, чиновник 5 класса, прикинулся больным, послал за Виттом и на вопрос, чем он болен, отвечал: «Стражду не телом, а душой. Меня давят тяжкие грехи. Только духовная пища может утолить меня. Вот если б я мог прочитать хоть строчку святого мужа Госнера, я непременно бы выздоровел». Витт, не замечая и не подозревая ниче-

го, отвечал: «В этом случае могу служить вам, У меня есть два листочка этой книги, и я припшлю их вам». — «Благодетель! Спаситель!» — отвечал ему Степанов.

Получив листки, воспрянул с одра болезни и кинулся к обер-полицмейстеру; тот отдал листки Магницкому. Магницкий на первой же странице нашел богохульство и безбожие и препроводил к Аракчееву. Аракчеев отдал их на рассмотрение Шишкову. Шишков, занимавшийся только корнями славянского языка, не понимавший ни богословия, ни философии, стал разбирать листы. Цитаты и стихи из Библии приведены были не на славянском языке, а в русском переводе. Что ж! Храбрый адмирал нашел безбожие и побуждение к мятежу в словах самого Спасителя. Так, например, из слов: «И не бойтесь убивающих тело, бойтесь могущих убить душу», он вывел, что автор учит не бояться суда царского, и т. п. Критика его оканчивалась словами: «Читая таковые мерзости, перо из рук моих упадет». Подписали: Александр Шишков, Василий Ланской, тогдашний министр внутренних дел, баран, не виноватый ни телом ни душой.

Вскоре разнесся в городе слух об этой книге и ее богопротивном содержании. Ко мне приехал правитель Канцелярии военного генерал-губернатора графа Милорадовича, Н. И. Хмельницкий, и спрашивает, одобрена ли цензурой печатаемая у меня книга. Я показал ему одобрение. Прибежал Булгарин и говорит, что надо мной собирается гроза. Я отвечал, что, действуя по совести и по законам, не боюсь никакой грозы. Да и что мне было до глупых светских и судебных отношений! Меня поразили удар, какого не мог отворотить ни Александр I, ни весь Священный Союз: 24 апреля 1824 года в шесть часов утра умерла моя милая одиннадцатилетняя дочь Ольга; вечером в тот же день родилась другая, Александра. Стечение и борение противоположных чувств заглушало во мне все мои мысли, и я мог бы в то время перенести бестрепетно самые жестокие удары.

В этот самый несчастный для меня день Платонов (я узнал его по описанию) приходил ко мне в типографию, нашел одного ученика на крыльце и предлагал ему сто рублей за четыре экземпляра листов Госнеровой книги.

Мальчик просил его прийти на другой день. Он явился и обещал троим ученикам двести рублей за два экземпляра. Они отвечали, что не смеют и не могут сделать этого без ведома фактора. Искуситель удалился. Как сожалел я, что мне не сказали о первом его посещении!

Я захватил его при втором пришествии, скрутил бы ему руки, как вору, и повел бы его с дворником моим среди белого дня на съезжую, мимо Гладкова и Милорадовича! Я пожаловался письменно Милорадовичу на подкуп моих людей и, разумеется, не получил ответа. К чему были им нужны печатные экземпляры, когда они имели уже корректуру? Они хотели предъявлением этих экземпляров подтвердить выдуманную и распространенную ими ложь, будто я напечатал две тысячи экземпляров и распространил их в публике. И Александр верил этому!

27 апреля, в воскресенье, после обеда, является ко мне одобвивший эту книгу к напечатанию цензор Александр Степанович Бируков, величайший глупец и подлец, и говорит с умильной улыбкою:

— Ну, попали мы с вами, Николай Ивано-

вич!

— Что за «мы»! — возразил я. — Вы, вы одни восхищались Госнером; вы с Магницким стояли перед ним на коленях; вы подписали рукопись со всеми ее нелепостями; вы и отвечайте. Я только напечатал то, что вы одобрили, и если б объявил, что не хочу печатать этой книги, Голицын предал бы меня суду, как богохульника и бунтовщика.

Бируков отвечал дерзко:

— Да вы Бог знает, что прибавили к одобренной мною рукописи. Отдайте мне рукопись!

— Не отдам! — отвечал я, — Она одна мое спасение. Вы исключите теперь из нее что угодно, а я подвергнусь ответу.

Он всячески старался убедить меня, я отвечал, что рукопись у П. Хр. Безака, товарища моего по типографии, и тем отделался от него.

На другой день призвал я переплетчика, заставил его при себе переплести рукопись, переметил в ней страницы, продел шнурок, и где были сделаны перемены в рукописи цензором, отметил на поле. Изготовил и жду. Во вторник утром приезжал ко мне адъютант

графа Милорадовича граф Мантейфель, и просил пожаловать к графу.

Я взял рукопись и приехал по назначению, оставив рукопись у кучера. Милорадович встретил меня как-то торжественно и, сказав, что «он орган его величества», объявил, что государь император, обязанный пе щись о благочестии и нравственности своих подданных, требует, чтоб не было печатаемо ничего богопротивного и безнравственного.

— И потому, — сказал он, — спрашиваю вас, как вы смели напечатать книгу, не получив, на то билета из цензуры?

Узнав накануне, что таков был в Комитете министров отзыв князя Голицына, я отвечал ему:

— Не удивительно, что ваше сиятельство, как человек военный, не знает подробностей цензурного и типографского дела. Странно только, как оно неизвестно министру просвещения. Цензурный билет выдается из комитета по отпечатании книги и по сличении печатного экземпляра с одобренной рукописью, а печатается книга по такой рукописи без всякого билета. Книга не была еще отпечатана, и

потому надобности в билете не настояло.

— А рукопись была одобрена?

— Была, ваше сиятельство.

Казалось, он сомневался в правде слов моих.

— Можете ли вы представить ее мне?

— Я взял ее с собой, она у моего кучера.

Позвольте послать за нею Фогеля (шпиона 1 класса), которого я видел в передней.

— Извольте.

Принесли рукопись. Граф, увидев, что она продета шнуром за печатью и все листы ее помечены, сказал, улыбаясь:

— Вы приняли все предосторожности.

— Я знал, — отвечал я, — с кем буду иметь дело: эти святоши — люди бессовестные и наглые.

Он посмотрел на меня с удивлением. Видно было, что он почел было меня принадлежащим к шайке Магницкого и подобных.

— Чья эта рука? — спросил он.

— Рука писаря, — отвечал я, — перебелившего перевод покойного Брискорна.

— А это?

— Профессора Яковкина.

— А это?

— 5 класса Трескинского.

— А это?

— Действительного статского советника Попова, директора Департамента Министерства просвещения.

— Точно ли?

— Точно, ваше сиятельство.

— Да как цензор мог допустить все это?

— Цензор не виноват: он не читал рукописи и подписал ее по воле своего начальства, князя Голицына, Рунича, Попова и прочих.

— Чем вы это докажете? — спросил граф.

— А вот чем; вот стих из Библии: «Иисус ходил... исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». В рукописи ошибка: вместо «в людях», написано «в лошадях». Если бы цензор читал ее, то непременно поправил бы эту непростительную опisku.

Граф, рассмеявшись, согласился со мной, и мы расстались. В донесении своем он совершенно оправдал меня и другого содержателя типографии, Края, печатавшего немецкий подлинник. Вообще во всем этом деле граф Милорадович вел себя честно и благородно.

Имея давнишнюю злобу на Безака, который насолил ему в турецкую кампанию 1809 года, когда был директором канцелярии князя Багратиона, Милорадович всячески допытывался, не участвовал ли и он в этом деле. Я отвечал, что я один содержатель типографии и только должен за нее деньги Безаку.

Комитет министров решил предать суду за составление этой книги Попова, Яковкина, Трескинского, цензора Бирукова и фон Поля, содержателей типографий Греча и Края. За двух последних вступились некоторые члены, находя их невинными. Шишков заметил: «Если они невинны, то оправдаются по суду». Прекрасное суждение! Прочие с ним согласились. Впоследствии я спрашивал у Канкринна: как он смог согласиться с такой гнусностью. Он отвечал мне: «Дело шло о выгодах православия. Нессельрод, Моллер и я, как протестанты, не противились ничему и согласились с большинством». Попов был предан суду в Сенате, Яковкин, Трескинский и оба цензора — в Уголовной палате, а мы, содержатели типографий, как люди, производящие свободный промысел, в Надворном суде.

Процесс тянулся. Разумеется, что в Сенате, как в верхней инстанции, он был решен прежде, нежели в низших присутственных местах. Все сенаторы, отличавшиеся известным своим благородством и независимым мнением, пристали к стороне сильного Аракчеева, все — кроме одного, Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола. Рассмотрев и обсудив дело со вниманием и чистой совестью, он написал свое решительное и основанное на здравом смысле и на законах мнение, в котором доказывал несправедливость обвинения и невинность прикосновенных к делу лиц, особенно Попова, подлежавшего непосредственно суду Сената. По разногласию в департаменте, дело следовало перенести в Общее собрание. Докладная записка о нем была напечатана и разошлась в публике.

Изумление и негодование было всеобщее. Дошло и до государя. Он встревожился и хотел узнать правду, но, не смея сделать этого явно, дал знать Муравьеву под рукой, чтоб он в такое-то утро был в такой-то аллее Каменного острова, где Александр Павлович часто прогуливался с Елисаветой Николаевной Ку-

совой, урожденной Тухачевской, препорядочной полуфранцузской дурой. В назначенное утро (это было в августе 1825 года) он встретился, будто невзначай, с Муравьевым, сел с ним на скамью, стал говорить о Сенате и спросил, какие важные дела производились у них недавно. Муравьев исчислил их и в том числе назвал дело Попова. Император пожелал узнать подробности, и Муравьев рассказал все откровенно, смело и справедливо. Александр поблагодарил его, но не изъявил своего мнения. Вскоре потом уехал он в Таганрог, где судьба положила предел дням его.

Не знаю, какое направление принял бы этот процесс при жизни Александра. По вступлении на престол Николая рухнулось все это здание, составленное из флигелей Аракчеевского и Голицынского. Царствовать начал российский самодержец, а не добрый наш угодник Запада, спрашивавший: что говорят обо мне в салоне мадам Сталь? Как отзовется Шатобриан? Пали и исчезли и протестантские иезуиты с своими библиями, из которых черкесы делали патроны, и с трактатами, пославшими не одного человека в дом

умалишенных. Пали и исчезли Фотий и другие монахи, полуплуты и полудураки!

Николай Павлович умер, и его можно хвалить без зазрения совести. Скажу прямо и от души: и он и его внутреннее правление России было лучше Александрова. Александр был чужд и неприступен своему народу; он рисовался и кокетничал, а дела не делал; разумею последние его годы. Вдруг, бывало, падет на кого-нибудь немилость: не давать ходу! — был технический термин этой инквизиции. Явишься к какому-нибудь министру, требуешь если не правосудия, то объяснения, ответа. Нет ответа: пожимают плечами. Наконец добьешься: «ступайте к графу Алексею Андреевичу». А этот был неприступен, как китайский богдыхан. При Николае поступали иногда крутенько, но скоро и решительно. При каком-либо доносе, промахе или недоразумении, идешь к фон Фоку или к Дубельту или прямо к Бенкендорфу и к Орлову, объяснишь дело, оправдаешься или получишь замечание; тем и кончится. Как часто Николай просил прощения у особ, обиженных им в пылу гнева или нетерпения! Александр, чув-

ствуя свою вину, усугублял немилость и гонения, чтоб загладить ее. Внешняя политика дело иное. Александр был в ней тем, чем должен быть великий дипломат: византийский грек, двойной плут. Сладил бы он добром с Наполеоном! Надул, столкнул и отместил. Честный, благородный, чуждый притворства Николай пошел бы на врага, и, как рыцарь XIII века со щитом и копьем правды, он встретил бы штуцера Минье. Уже теперь (в июле 1858-го) начинает заниматься для Николая заря правды. Со временем он явится в истории во всем своем блеске, чести и доблести.

Процесс наш длился до 1828 года по всей форме суда и кончился в Сенате совершенным оправданием подсудимых. Я получил в вознаграждение (22 января 1829 года) чин статского советника. Этому процессу обязана существованием «Северная Пчела». В 1824 году, видя, что мне нет ходу по Министерству просвещения, я обратился к Канкрину с просьбой принять меня к себе на службу. Он знал меня и прежде (я имел случай сделать добро его сестре, госпоже Шлютер) и изъявил свое согласие. Вдруг узнали, что я предан су-

ду. Канкрин объявил, что я не могу поступить к нему на службу до оправдания. Что делать? «Сын Отечества» шел вяло. Мы с Булгариным затеяли издание «Северной Пчелы» и начали ее с 1 января 1825 года.

Глава десятая

В политическом отношении жизнь и царствование Александра с 1815 года были также беспокойны, неровны и никак не походили на первые лета его владычества, благие и кроткие. Не в одной России, во всех государствах Европы народ был разочарован и обманут. Тонули — топор сулили, вытащили — топорща жаль. Низвержение преобладания Наполеонова произошло при восклицаниях: да здравствует независимость, свобода, благоденствие народов, владычество законов! Все ждали наступления какого-то Астреина века. Венский конгресс показал, что о народах и правах их никто не заботится. Один Александр ратовал, назло всем и во вред себе, за безмозглых поляков.

Между тем либеральные, или, как называли их Александр, законосвободные, идеи разлетелись, укоренились, расцвели и принесли плоды во всей Европе. Началось ропотом, кончилось мятежом. В разных местах Германии, в Испании, в Португалии и особенно в Италии народ, подстрекаемый честолюбцами

и поджигателями, восстал на правительство и принудил неограниченных дотоле владык своих надеть цепи конституционного правления, за которым скорыми шагами шли республика и анархия. Государи Европы испугались и стали советоваться, как бы усмирить эти волнения и утвердить свои престолы. Александр видел справедливость их опасения и разделял их испуг, но решительно начал действовать против либерализма только после Троппауского конгресса, в которое время вспыхнула вестница судеб, семеновская история.

Как в XVIII веке пребывание французских генералов и офицеров в Северной Америке подало случай занести семена возмущения во Францию, так в начале XIX века наши молодцы заразились либеральными идеями во Франции, поощряемые к тому правилами и мнениями своего законного государя. Общее мнение не батальон; ему не скажешь: весьгом[28]. Не только офицеры, но и нижние чины гвардии набрались заморского духа; они чувствовали и видели свое превосходство перед иностранными войсками, видели, что те

войска при большем образовании пользуются большими льготами, большим уважением, имеют голос в обществе. Это не могло не возбудить вначале их соревнования и желания стать наравне с побежденными.

Я был свидетелем обеда, данного в 1816 году гвардейским фельдфебелям и унтер-офицерам одним обществом (масонской ложей). Люди эти вели себя честно, благородно, с чувством своего достоинства; у многих были часы и серебряные табакерки. Некоторые — вклеивали в свою речь французские фразы. Одни из посторонних зрителей обеда восхищались этой переменной, другие пожимали плечами. Офицеры делились на две неравные половины. Первые, либералы, состояли из образованных аристократов, это было меньшинство; последние, большинство, были служаки, люди простые и прямые, исполнявшие свою обязанность без всяких требований. Аристократо-либеральные занимались тогдашними делами и кознями Европы, особенно политическими, читали новые книги, толковали о конституциях, мечтали о благе народа, и в то же время смотрели с гордостью и

презрением на плебейских своих товарищей; в числе последних было немало Репетилых, фанфаронов, которые, не имея ни твердого ума, ни основательного образования, повторяли фразы людей с высшими взглядами и восхищались надеждой, что со временем Пестель или Сергей Муравьев отдаст им справедливость и введет их в свой круг.

Наконец высшее начальство заметило ослабление дисциплины и фронта в войсках гвардейского корпуса и сочло нужным поприжать вожжи. Бригадными командирами 1-й гвардейской дивизии назначены были: первой бригады (полки Преображенский, Семеновский и Егерский) великий князь Михаил Павлович, а второй (полки Лейб-Гренадерский, Павловский и Саперный батальон) Николай Павлович. В Преображенском полку назначили командиром (на место барона Розена) умного и благородного полковника Карла Карловича Пирха, в Семеновском (на место Потемкина) армейского служаку, строгого исполнителя своих обязанностей, Федора Ефимовича Шварца. Этот несчастный выбор был причиной всей беды. Шварца, человека чужо-

го, не аристократа, приняли офицеры с явным презрением, которое вскоре выразилось эпитаграммами и насмешками.

Брат мой, служивший в Финляндском полку, предсказывал мне, что добра в Семеновском не будет. Он стоял однажды в карауле в семеновском гошпитале. Один батальон учился. Пошел сильный дождь. Офицеры укрылись в коридорах гошпиталя и, несмотря на присутствие солдат, издевались и ругались над полковыми командирами, и, как нарочно, по-русски.

Я сам был свидетелем одной сцены. Потемкин не съезжал еще с квартиры полкового командира, в деревянном доме по Загородному проспекту, напротив летних палат Обуховской больницы. В палатах загорелось. Солдаты в казармах, завидев дым, поднявшийся в той стороне, все, без приказанья, опрометью бросились спасать дом бывшего любимого командира. «Отец наш Яков Алексеевич, — кричали они, — он не то, что этот подлец Шварц». Офицеры дали прощальный обед Потемкину, произносили тосты, плакали, бранили Шварца (который приглашен не был), и

после обеда некоторые из них, разгоряченные шампанским, подошли к квартире Шварца и громко его ругали.

По званию моему директора полковых училищ, я познакомился со Шварцем и нашел в нем доброго, простого православного человека, в котором не было и тени немца. Он видел свое ложное положение, горевал о нем, предчувствовал беду и говорил о том, не зная, как вывернуться. Презрение к нему офицеров, неуважение и дерзость солдат доходили до высшей степени.

Он нашелся принужденным наказать одного унтер-офицера, и пламя, таившееся под пеплом, вспыхнуло. Одна рота, первая гренадерская, оказала послушание; ее не могли успокоить добром и отправили в крепость. Весь полк пришел в волнение, требовал возвращения роты, и когда в том было отказано, равномерно был арестован и отведен в крепость. Всему виновато было начальство. Корпусной командир Васильчиков, впрочем человек благородный, был нездоров, приставил мушку к боку и поручил дело бестолковому царедворцу Бенкендорфу. Все делалось глупо

и безрассудно.

На Александра это происшествие произвело сильное и бедственное впечатление по одному особенному обстоятельству. Он находился на конгрессе в Троппау. Лишь только история эта сделалась известной, австрийский посланник Лебцельтерн отправил о ней донесение с курьером к Меттерниху. Васильчиков с своей стороны послал своего адъютанта Чаадаева, но несколькими часами позже, потому что дежурный штаб-офицер, Александр Иванович Казначеев, племянник Шишкова, не успел так скоро написать красноречивое донесение. Случилось так, что именно в то самое время государь, толкуя с Меттернихом о волнениях Европы, сказал, что она может положиться на верную русскую армию. Меттерних возразил ему: «Государь! В сию минуту готовился я донести вам, что первый полк вашей гвардии взбунтовался. Вот депеша Лебцельтерна». Александр остолбенел, как громом пораженный. Через несколько часов прибыл Чаадаев, и известие о происшествии подтвердилось. Александр стал доискиваться причин и находил их в за-

ражении войска (а не офицеров) либеральными идеями, и тут, действительно, в числе подозреваемых назвал и меня.

Так как незванный летописец русский (в «Полярной Звезде») обнаружил, что имя мое произнесено было в этих важных событиях, то я считаю обязанностью изложить здесь в подробности все обстоятельства, по которым я сделался соприкосновенным к важным делам тогдашнего времени. В первое время пребывания моего в Париже (в 1817 году) прихожу я к состоявшему тогда при графе Воронцове Николаю Александровичу Старынкевичу (впоследствии сенатор в Варшаве), самому умному и любезному человеку, отъявленному либералу. Он сидел за какими-то огромными таблицами, на которых начертана русская азбука, и на вопрос мой: что это значит? — отвечал: «Это таблицы для обучения чтения, по недавно изобретенной удивительной методе ланкастерской. При пособии ее сотни человек могут без учителя выучиться грамоте в самое короткое время. Эти таблицы составлены для обучения солдат нашего корпуса в Мобеже». Я стал рассматривать таблицы и нашел, что

они составлены с совершенным незнанием свойств русской азбуки: например, между прочим, буква ж поставлена была в числе гласных. На замечание мое о том, Старынкевич сказал;

— Да вы не знаете этой методы!

— Так, но знаю русскую азбуку.

— Посвятите меня в ее тайны, — сказал Старынкевич насмешливо, и я написал перед ним разделение русских букв, которые впоследствии изложил в моей грамматике. Он начал спорить.

К нему в то время пришел профессор персидского языка, Ланглес.

— Посмотрите, — сказал ему Старынкевич, — вот господин Греч сообщает неизвестную мне доселе систему русской азбуки.

Ланглес любопытно старался узнать ее состав и свойства. Я изложил ему истинную систему наших букв, отличительные свойства полугласных, деление гласных на твердые и мягкие; согласных на произносимые разными органами; показал сродство их, слияние и сочетание, изменения обеих букв от присоединения к другим. Ланглес пришел в восхи-

щение, списал мою систему и тут же предложил мне место профессора русского языка в парижском училище живых восточных языков, которого я, к сожалению, принять не мог. Старынкевич убедился в истине и важности моей системы. По его просьбе составил я таблицы азбуки, складов (слогов) и слов для обучения чтения и письму по ланкастерской методе, посещал училище взаимного обучения в Rue St. Jean de Beauvais, ездил с Сергеем Ивановичем Тургеневым, секретарем графа Воронцова, в королевскую типографию, чтоб заказать буквы для перепечатания таблиц. Тем занятие мое и кончилось: я не думал, чтоб мне пришлось употребить эти опыты на деле. По приезде в Петербург посетил я, по постороннему делу, инженер-генерала графа Егора Карловича Сиверса. Мы разговорились, между прочим о методах обучения, и я упомянул о ланкастерской. Граф сказал мне, что ему хотелось бы выписать кого-либо из Франции, для введения этой методы обучения в кантонистских школах. Я объявил ему, что посвящен во все тайнства этого учения и могу быть ему полезным. Он очень этому обра-

довался и предложил мне вступить членом в Комиссию составления учебных пособий кантонистам поселенных войск, в которой он был председателем. Я был тогда на службе почетным библиотекарем в Императорской публичной библиотеке, состоявшей в ведении Министерства просвещения. По требованию графа Аракчеева меня откомандировали в Комиссию, в которой, под председательством графа Сиверса, были членами генералы Перский (директор 1-го кадетского корпуса) и Петров, флигель-адъютант полковник Клейнмихель, священник Герасим Петрович Павский, статский советник Иван Осипович Тимковский и я, коллежский ассесор Греч. Я написал руководство к учреждению и действиям училищ, составил таблицы, книги и проч., но вскоре разошелся в мнениях с графом Сиверсом, который был человек образованный и почтенный, но тяжелый педант и крохобор. Меня уволили с чином надворного советника.

Между тем я вошел в моду. В конце 1818 года начальник штаба гвардейского корпуса, Николай Мартьянович Сипягин, поручил мне заведение центральной школы для обучения

солдат гвардейского корпуса. Не могу не сказать здесь несколько слов об этом добром, любезном, умном человеке в частной жизни, храбром на войне, прилежном и деловом в службе, но при том крайне честолюбивом и придворном, то есть жертвовавшим всем удовлетворению своего тщеславия. Он служил в походах 1812–1815 годов при графе Милорадовиче, был везде правой его рукой, в звании начальника штаба его отряда. По назначению Милорадовича командиром гвардейского корпуса, Сипягин, сделавшись и здесь начальником штаба, умел оттеснить его и забрать в свои руки всю власть. На пути его стоял генерал Криднер, почему-то возбудивший неудовольствие императора, который, однако, изъявил желание с ним примириться. Сипягин мешал Криднеру сблизиться с государем, уверяя, что Александр все еще гневается на него. Начальник штаба был на деле корпусным командиром: делал что хотел, переводил офицеров в гвардию по своему усмотрению, раздавал батальоны, полки и проч., но никому не делал зла; напротив, делал добра сколько мог. Между прочим, я обязан ему вечной благо-

дарностью за перевод брата моего в гвардию. Мне лично он не успел сделать ничего, но его дружеское, благородное, доверчивое со мной обращение останется на всю жизнь в благодарном моем воспоминании. Какая разница с преемником его, добрым, но пустым Бенкендорфом!

Школа устроена была в просторных залах новопостроенных казарм Павловского полка, на Царицыном Лугу. Ученики были набраны из всех полков гвардейского и гренадерского корпусов, числом до двухсот пятидесяти. В числе их было несколько грамотных унтер-офицеров, служивших учителями. Начальником школы определен был гвардейского генерального штаба штабс-капитан. Иван Григорьевич Бурцев, человек возвышенной души, благороднейшего сердца, большого ума и редкого образования. Он в начале 1819 года (по падении Сипягина) перешел в южную армию, к полковнику П. Д. Киселеву, назначенному начальником ее штаба; был дружен с некоторыми героями 14-го декабря, но не участвовал в их замыслах и даже не знал о них; в 1824 году был уже командиром

Уфимского полка, но, по открытии заговора, обратил на себя неудовольствие государя и был переведен в другой полк (Мингрельский) младшим штаб-офицером. В 1828 и 1829 годах отличился он своими подвигами в Азиатской Турции, назначен был командиром Херсонского гренадерского полка, произведен был в генералы, но тем и прекратилось его блистательное поприще: он был убит при Байбурте (23-го июня 1829 года), на тридцать пятом году от рождения. Нет ни малейшего сомнения, что Бурцов, оставшись в живых, сделался бы великим полководцем. Память его дорога для всех, кто имел счастье знать его.

Сказав доброе слово о чужом человеке, позволяю себе написать несколько строк в память человека, мне близкого. Помощником ему назначен был брат мой Павел Иванович, бывший тогда прапорщиком в Финляндском полку. Он был человек не блистательный, не общительный, скромный, молчаливый (мой антипод!), ревностный служака и честный солдат. Вся жизнь его была цепью препятствий, и лишь только он вышел на торную дорогу, смерть прекратила дни его. По

примеру среднего нашего брата, Александра, убитого потом при Бородине, и Павел хотел служить в артиллерии и поступил во 2-й кадетский корпус, но в конце 1812 года от дурного содержания в корпусе жестоко заболел, все его тело покрылось струпьями. Только неусыпным, нежным попечением нашей доброй, несравненной матери обязан он был спасением от смерти и восстановлением здоровья. По болезни он был уволен из корпуса, и то с большим трудом, потому что в 1812 году нужны были офицеры, и их выпускали совершенными еще детьми. Когда брат выздоровел, положили быть ему чиновником гражданским, но лишь только он увидел военный мундир на одном сверстнике, родственнике моей жены, то объявил, что никак не может быть статским. Между тем он учился в гимназии и все налегал на математику. Его определили юнкером в гвардейскую артиллерию и года через два выпустили в армию подпоручиком. Но и тут не обошлось без затруднения. Когда ему надлежало явиться на смотр к графу Аракчееву, начальнику артиллерии, он как-то натер себе ногу и не мог надеть сапога.

Его исключили из списка производимых. К счастью, я знал графа, при посредстве Мишки Шуйского, написал к нему о том письмо и требовал моему брату нового смотра. Граф был особенно в духе, осмотрел брата и аттестовал его.

Выше говорил я, что Сипягин перевел брата в гвардию. Он назначил его было в гвардейскую артиллерию, но так как не дали пятисот рублей правителю канцелярии инспектора артиллерии барона Меллер-Закомельского. Александру Яковлевичу Перрону, то объявлено было, что в гвардейской артиллерии нет вакансии. И так брат мой, оставив артиллерию, поступил в егеря, в Финляндский полк. Перед самым его прибытием в полк, когда уже отдано было в приказе о переводе его, полковой казначей Колокуцкий промотал казенные деньги. Офицеры сложились, чтобы внести их, и Павел лишился значительной части своего жалованья.

Во время наводнения, 7-го ноября 1824 года, стоял он в карауле в Галерной гавани, в ветхой караульне, построенной на берегу на сваях. Вода поднялась до верху. И караульные

и арестанты взобрались на крышу; здание качалось во все стороны. Ежеминутно ждали падения его и неминуемой смерти. Солдаты, любившие своего офицера (он командовал их ротой), хотели спасти его, высадив на одно из судов, которых бурю гнало мимо караульни, собирались даже спустить его насильно, но он, отбившись от них, объявил, что предоставляет каждому из них спасаться как кто может; сам же сойдет с поста последним. Один солдат действительно спасся таким образом. Смерклось. Вода начала сбывать. Из морских казарм заметили бедствие караульни и отправили на помощь катер (причем с трудом добились у смотрителя весел: он боялся, что погибнет казенное добро). Тут опять началась борьба, чтоб офицер ехал первым на катере, который, может быть, потом бы и не мог прийти вторично. Брат посадил на катер несколько солдат с арестантами и унтер-офицером и дождался их возвращения, на расшатанном здании караульни. Отправив таким образом всех (шестьдесят нижних чинов и двадцать двух арестантов), он с старшим унтер-офицером поехал последним. Спа-

сены были и все бумаги; пропали только два кивера. Лишь только отвалил катер в последний раз, дом рухнул в воду. Ночевали они в морской казарме, поужинав черствым хлебом, которым поделились с ними добрые моряки.

На другой день офицеры Финляндского полка, узнав от спасенного солдата о бедствии, в котором он оставил караул, пошли на то место, где стояла караульня, чтоб отыскать хотя следы несчастных. Им навстречу идет караул с барабанным боем.

За это дивное спасение караула командир полка, генерал Шеншин, получил второго Владимира, а поручик Греч не удостоился даже изъявления благодарности. Эти Васильчиковы, Бенкендорфы и тому подобные великие люди награждали только своих родных или аристократов, или же по крайней мере лифляндцев, да подлецов, которые у них пресмыкались в передних, а не людей истинно полезных и заслуженных. Так велось издавна; так ведется и доньше. Получали же в Севастополе Георгия на шею не те, которые шли грудью на врага, а спокойно прогуливавшиеся с

сигарой по бульвару.

14-го декабря 1825 года рота моего брата стояла в карауле в Зимнем дворце. Государь Николай Павлович отрекомендовал его принцу Евгению Виртембергскому как известного ему отличного офицера, на которого можно положиться, и тут брат мой узнал, что государь думает, будто он получил Аннинский крест за наводнение, а не за командование школой за пять лет до того! В то время великий князь не был еще их дивизионным командиром. Павел Иванович Греч простоял в карауле двое суток, и занимался составлением бланков, при которых перепроводжали арестантов в крепость.

В 1827 году, наскучив гарнизонной службой и не успев снискать благоволения Михаила Павловича, перешел он офицером в Пажеский корпус, но вскоре стосковался по военной службе, и когда, в 1828 году, сказан был поход в Турцию, перепросился на прежнее место. И эта карьера была ему невыгодна. При осаде Варны, стоя по колени в холодной воде, он лишился употребления ног от ревматизма; по взятии крепости отправлен был с

другими больными и ранеными на далматском судне в Одессу; их носило целый месяц по Черному морю, и они едва не погибли. Между тем все товарищи брата, участвовавшие в походе, были награждены крестами, а он, командир роты его высочества, обойден был потому, что его считали утонувшим.

К тому присоединилось еще одно обстоятельство. В продолжение турецкой войны наблюдалось правило давать в награду отличившимся офицерам двух действующих батальонов кресты, а не чины, чтоб не обидеть офицеров батальона, остававшегося в Петербурге. В польскую кампанию, в продолжение которой батальон моего брата оставался в Петербурге, это правило было оставлено: штабс-капитаны и поручики, оставившие моего брата капитаном, вернулись полковниками.

Он командовал ротой двенадцать лет, и во все это время подвергался замечаниям, придиркам и выговорам великого князя Михаила Павловича, который хоть и уважал его, но поступал так по какому-то странному предубеждению. Наконец он произведен был в полковники и вскоре получил батальон. И тут обо-

шлось не без беды. На маневрах в Гатчине, осенью 1844 года, лошадь его, испугавшись нечаянных выстрелов, упала с ним навзничь на мостовую (на возвышении Коннетабля), и он так сильно Ушиб затылок, что лишился памяти. Это было в виду императора Николая Павловича. Его внесли во дворец.

Государь и государыня принимали самое жаркое участие в его положении и радовались его выздоровлению.

В 1847 году был он назначен с.-петербургским плац-майором и вскоре снискал полное внимание и доверенность государя, уважение начальства города и всех, кто имел с ним дело, был произведен в генерал-майоры и назначен вторым комендантом. В этой должности он мог удовлетворить влечениям доброго своего сердца, облегчением участи и страданий тех лиц, которые, находясь под военным судом, содержались в ордонансгаузе.

16 марта 1850 года скончался он скоропостижно. Государь, услышав о его смерти от коменданта, сказал: «Он был достойнейший человек». Эти слова были вырезаны на его надгробном камне на Волковском кладбище.

За гробом шли, проливая слезы умиления и благодарности, люди, сидевшие у него под арестом!..

Кто станет укорять человека за многоречие, когда идет дело о его друге? А я говорю здесь о родном брате. *Le frere est un ami donne par la nature*[29].

Возвратимся к солдатской школе. Учебной частью заведовал я только сначала: вскоре моя помощь сделалась ненужной. Учение продолжалось с удивительным успехом., В конце второго месяца солдаты, не знавшие дотоле ни аза, выучились читать с таблиц и по книгам; многие писали уже порядочно. Нельзя вообразить прилежания, рвения, удовольствия, с каким они учились: перед ними разверзлся новый мир. Сипягин был в восторге. Л. В. Васильчиков, Карл Ив. Бистром, Потемкин, Храповицкий и многие другие приезжали смотреть училище и не могли надивиться. Ожидали, что пожалует сам государь. Однажды, вовсе неожиданно, приехал начальник главного штаба князь Волконский, осмотрел школу с явным неудовольствием, сделал несколько замечаний Бурцеву

за несоблюдение солдатами формы и уехал.

Вскоре за ним прибыл Сипягин и, узнав, что приезжал князь Волконский (который обещал ему поехать в школу на другой день с ним самим), изменился в лице. Это было первым признаком его падения. Второй признак заметили в том, что командир Павловского полка Адам Бистром (недостойный брат Карла Ивановича) велел выкинуть из сарая казарм разные вещи Сипягина, которые там до того хранились с благоговением. Падение Сипягина последовало оттого, что государь где-то встретился с Криднером и стал укорять его, что он упрямится и не хочет покориться, сколько ни убеждали его к тому через Сипягина. Криднер отвечал и доказал, что именно Сипягин отсоветовал ему обращаться к государю. К тому же Сипягин тяготился своим превосходством корпусного командира Васильчикова. Положили сбыть его с рук, и сбыли: он был назначен командиром 6-й пехотной дивизии, стоявшей в Ярославле.

Перенес он эту невзгоду с величайшею твердостью и спокойствием. Я был у него на другое утро по напечатании приказа о его пе-

ремещении. Он говорил со мной равнодушно, изъявлял только сожаление, что не дождался плодов школы. Призвал к себе гвардейского капельмейстера Дерфельда, заказал ему новые инструменты для шести полков своей дивизии и просил доставить ему учителей. Товарищи Сипягина, пресмыкавшиеся перед ним накануне, прислали к нему Николая Ивановича Демидова, чтоб посмотреть, как он выглядит. Сипягин принял генерал-лейтенанта стоя, в сюртуке и ночных сапогах, не вынимая изо рта сигары, не прося его садиться, и прервнодушно говорил о новом своем назначении, как будто бы это было повышение. Демидов не знал куда деваться. Да и то сказать, порядочная скотина был покойник! Разграблением Вазы, в шведскую войну, он осрамил себя навеки, но, несмотря на это, был потом главным начальником военно-учебных заведений! Сипягин уехал в тот же вечер, командовал усердно 6-ю дивизией, потом 20-й в Пензе. Там, в 1824 году, смотрел ее Александр и восхитился совершенством. Между прочим третья шеренга всех полков была выучена артиллерийской службе. Случись, что перебьют

в деле прислугу у пушек, строевые солдаты заменят ее мгновенно. Государь возвратил Сипягину прежнюю милость. Он приезжал в Петербург, и я обрадован был его встречей и приемом. Потом он был военным губернатором в Тифлисе, действовал успешно против неприятелей (в персидскую войну) и умер в 1827 году от болезни. Память его не исчезнет в сердцах людей, знавших его в частной жизни.

Училище шло своим чередом. Бурцев, оставив службу при гвардейском корпусе, рекомендовал моего брата — как совершенно способного заменить его. Я продолжал свой надзор, но училище утратило часть своего блеска. Новый начальник штаба, граф А. Х. Бенкендорф, был человек приятный, образованный, добрый, но равнодушный к делам, выходящим из обыкновенного круга. Между тем назначение школы было достигнуто. В полгода все солдаты в ней выучились грамоте, разумеется, лучше или хуже. 19-го июля 1819 года происходил смотр ее Александром I. Государь приехал, в сопровождении Васильчикова, Бенкендорфа, графа Орлова и нескольких

других генералов, был очень весел и доволен, любовался пестротой разнокалиберных мундиров, обласкал меня. Произведен был экзамен и кончился к общему удовольствию.

При этом произошел неважный случай, могущий служить прибавлением к истине: большие действия от малых причин. Главным указателем или монитором в классе был кавалергардский унтер-офицер Горшков, красавец, миловидный собой, умный и проворный. Но и на старуху бывает проруха! Когда брат мой скомандовал к началу упражнений, Горшков сбился и не так повторил команду. Я взглянул на него и покачал головой. Горшков покраснел, улыбнулся и поправился. Эта безмолвная перемолвка не ускользнула от внимания Александра, как оказалось впоследствии. Между тем государь очень милостиво благодарил меня за старание о его солдатах (опричниках) и уехал совершенно довольный. Училище ему понравилось, и он приказал учредить по такому же училищу в каждом полку гвардейского корпуса.

Я был назначен директором с пятью тысячами рублей жалованья, за экзамен получил

перстень в 3 тыс. руб., брату моему дан орден Св. Анны 3-й степени, унтер-офицеры, бывшие мониторами, произведены в 14-й класс, словом, все шло как по маслу. Я составил уставы, руководства и учебные таблицы, напечатал их и разослал по армии. Начали учреждаться школы: они были устроены в Преображенском полку, в Московском, в Егерском, в Кавалергардском. В других готовились.

Здесь должен я опять сделать отступление.

Введение ланкастерской методы не ограничилось гвардейскими полковыми училищами. В начале 1820 года императрица Мария Федоровна поручила мне, через почетного опекуна, Карла Федоровича Модераха, ввести этот метод в классах воспитанников и воспитанниц воспитательных домов Петербургского и Гатчинского: это было исполнено вскоре и с успехом. Потом заведены были существующие поныне училища солдатских дочерей полков гвардии (первое в Семеновском полку, другое в Большой Конюшенной). И здесь успех совершенно оправдал и метод и способ его приложения. В то же время соста-

вил я преимущественно из членов масонской ложи избранного Михаила (графа Ф. П. Толстого; Ф. Н. Глинки, П. Я. фон Фока, В. И. Григоровича, Н. И. Кусова и некоторых других, общество для заведения училища взаимного обучения, и мы открыли одну школу (на 360 человек) в доме Шабишева, на углу Вознесенской и Садовой улиц. Во всех этих начинаниях был я действующим лицом. Кажется, по естественному порядку вещей, следовало бы Министерству просвещения воспользоваться моими знаниями и опытностью и употребить меня на пользу народных школ, которые находились тогда и находятся ныне в жалком положении. Вышло противное. Министерство просвещения (т. е. главный его двигатель Магницкий) возненавидело меня, осмелившегося действовать в пользу общую без его ведома, и положило стереть меня с лица земли. Может быть, я сам подал к тому повод явными и громкими своими суждениями об этих лицемерах и негодях. Обстоятельства им благоприятствовали.

Семеновская история изменила и огорчила Александра. Он получил известие о ней в

Троппау, как сказано выше. Вместо того, чтоб видеть в этом неповиновении вспышку нетерпения избалованных солдат, которых хотели обратить к прежнему порядку, он вообразил, что это есть проявление революционных замыслов, о существовании которых он давно догадывался. Случилось так еще, что король прусский сообщил ему догадку свою о существовании в Швейцарии центрального комитета для возмущения Европы. Александр спросил у Чаадаева, прибывшего из Петербурга с донесением о неприятном происшествии:

— Знаешь ли ты Греча?

— Знаю, ваше величество.

— Бывал ли он в Швейцарии?

— Был, сколько знаю, — отвечал Чаадаев по всей справедливости.

— Ну так теперь я вижу, — продолжал государь и прибавил: — Боюсь согрешить, а думаю, что Греч имел участие в семеновском бунте.

Эта догадка пришла в Петербург и пала как свежее зерно на удобренную землю. Кто смел противоречить мнению государя о поводах к этим беспорядкам! Действительно,

должна быть тому причиной революционная мысль, да где она таится? Как где? В полковых школах. А кто занес ее? Разумеется, Греч. Началось с того, что число школ ограничилось существующими; новых не заводили, да и в прежних стеснили продолжение уроков, занимая солдат службой. Сколь глубоко вкоренилась в Александре мысль о революционном начале этого дела, явствует из того, что он прогневался на графа Павла Петровича Сухтелена, который сообщил отцу своему (посланнику в Стокгольме) верные сведения о существе этого дела. Отец напечатал их в газетах. Александр думал, что этим хотят прикрыть истину, и во всю жизнь не прощал этого графу П. П. Сухтелену, одному из достойнейших своих слуг и подданных.

К подавлению меня присоединились еще другие обстоятельства и случаи. Известный впоследствии болван и наглец подполковник Лейб-Гренадерского полка, Дмитрий Потапович Шелехов[30], написал глупые стихи на семеновский бунт, и особенно на Шварца. Стихи эти разошлись по городу в рукописях, без имени сочинителя. Автор был известен, но

начальство гвардии хотело его скрыть, и стихи были приписаны мне. «Он не военный, — сказал Бенкендорф, — да и вообще о нем государь нехорошего мнения, так что его щадить?!» Непременно хотели приписать мне участие в подговоре солдат к бунту, — потому только, что я очень часто бывал в училище солдатских дочерей (состоявшем в Семеновском полку), а это ведь была моя служба. Казначеев, дежурный штаб-офицер в гвардейском штабе (ныне сенатор в Москве), не благоволил ко мне за критику на грамматику Российской Академии, которой обиделся дядя его, Шишков. Признаюсь, всех лучше обходился со мной Грибовский (библиотекарь и секретарь комитета 18-го августа). Говорят, он доносил на своего благодетеля Глинку, но Глинка был хотя и невинен, но в какой-то связи с заговорщиками, а я был им чужд совершенно, и Грибовский знал это в точности.

Но всего замечательнее было, что главные наветы на меня произошли от Воейкова, человека мной призренного и облагодетельствованного, которому я посвящу, в моих Записках, особую статью. Он был моим поло-

винщиком в «Сыне Отечества» и старался сжить меня с рук, чтоб завладеть всем журналом, клеветал и доносил на меня и словесно и письменно, и когда это не удалось, советовал мне бежать за границу для уклонения себя от гонений, принимая на себя издание в пользу моего семейства. Я был ошеломлен этим предложением, но Булгарин, бывший тогда еще человеком порядочным, открыл мне глаза.

Впрочем, я переносил тогдашние бури, невзгоды и опасения равнодушно, по той причине, что сердце мое страдало от существенных потерь, и я ожесточился против других ударов судьбы. 12-го декабря 1820 года умерла любезная моя свояченица Сусанна Даниловна Мюссар, а 11-го января 1821 года скончался первый друг мой в мире Иван Карлович Борн. Так было и с госнеровской историей; она разразилась у меня над головой в то самое время, когда скончалась дочь моя Ольга: я глядел на житейскую невзгону равнодушно.

Однажды в январе 1821 года прислал ко мне граф В. П. Кочубей, тогдашний министр внутренних дел, своего камердинера и про-

сил приехать к нему на другой день вечером. У меня бывали частные сношения с графом: я доставлял ему учителей. Приезжаю и нахожу в приемной зале М. Я. фон Фока, директора Особенной канцелярии Министерства внутренних дел (что ныне III Отделение государственной канцелярии). Нас позвали в гостиную. Граф, страдая подагрой, лежал на диване. Мы сели по сторонам. Граф заговорил со мной об учителе русского языка, которого я рекомендовал ему и который оказался пьяницею. Я обещал ему приискать другого и, думая, что дело кончилось, встал, чтоб откланяться и уйти, тем более, что фон Фок приехал с портфелем, следственно, по делам службы.

— Куда это вы спешите? — сказал граф. — Вот не хотите посидеть с больным человеком. Что вы подделываете? Как идут ваши солдатские школы?

— Очень плохо, ваше сиятельство: видно, полковые командиры боятся, чтоб солдаты не сделались учение их, и потому нимало не радуют об успехах школ, уже существующих, и об учреждении новых.

— А как принимают солдаты это обуче-

ние? Как они учатся?

— Они принимают это как величайшее благодеяние и учатся с большим усердием.

— И семеновские хорошо учились?

— Семеновские еще вовсе не учились.

— Почему так? — спросил граф с удивлением.

— Потому что в Семеновском полку и школы не было.

При этом взглянул я на фон Фока и заметил, что он, переглянувшись с графом, улыбкой выражал подтверждение сказанного мной.

— Почему же не было?

— Школы учреждаемы были по возможности и по благоусмотрению полковых командиров, особенно адъютантов. В Семеновском полку материальное устройство классов было кончено, люди назначены, но я в училище не бывал, да и не знал, где именно оно в полку находится. В субботу, 20-го ноября, явился ко мне фельдфебель от полкового флигель-адъютанта Бориса Петровича Бибикова, с вопросом, нельзя ли сделать открытие школы в понедельник, 22-го. Я отвечал, что 22-го положе-

но быть открытию школы в Лейб-Гренадерском полку, и потому нужно отложить до вторника, 23-го. Между тем случилось в воскресенье, 21-го, известное происшествие, и школа не открылась.

Граф видимо был доволен моим ответом, и после других ничтожных разговоров я откланялся. Впоследствии я узнал, что это был допрос, произведенный по высочайшему повелению, и что граф Кочубей, в своем донесении, изложил это дело в истинном его свете и выставил совершенную мою невинность. Какое счастье, что я попался в руки честных и беспристрастных людей! Впрочем, мои похождения этим не кончились. Воспользовались выступлением гвардии в поход (в начале 1821 года) для закрытия училища, с чем вместе прекращалось звание директора. На бумаге о том государь написал svoеручно: «А надворного советника Греча не оставить без пропитания». Когда мне объявили о том, я отправился к Л. В. Васильчикову (корпусному командиру) и объявил ему, что считаю себя обиженным, что благодарю государя за внимание, в пропитании не нуждаюсь, но имею

все право требовать гласного признания непорочности и безукоризненности моей службы.

— Чего же вы хотите? — спросил Л. В.

— Я дослуживаю последний год в настоящем чине: дайте мне чин коллежского советника, который следует мне и без того через четыре месяца за выслугу лет, но упомянув в указе, что это повышение есть награда за верную и усердную мою службу по званию директора полковых школ.

— Справедливо, — отвечал Васильчиков, в котором был один порок, что он был большой барин и придворный. — Постараюсь об этом и надеюсь на успех.

Я сдал свою должность в штабе; гвардия вышла в поход; чин мне не выходил, и я вскоре утешился. Ну стоит ли этим тревожиться! Я и теперь легко переношу эти дрянные неудачи, а тогда! В молодости чего не вытерпишь, а мне был тридцать четвертый год от роду. Что же вышло на деле? Васильчиков действительно представил государю и получил согласие дать мне чин, если нет к тому препятствий по службе, а как я был почет-

ным библиотекарем Императорской публичной библиотеки, она же (служба) имела несчастье состоять в ведомстве Министерства народного просвещения, то запрос о неимении препятствий отправлен был из штаба в таковое. Там это отношение попало в руки Магницкого. Этот гад натешился при сем случае: написал в ответ, что надворный советник Греч не только не достоин награды, но и не может быть терпим на службе, по вредным своим правилам и действиям, по явному сопротивлению воле начальства и дерзким к оному отзывам. А я от роду не имел сношения с этим начальством, и если писал к нему бумаги, то эти бумаги исходили от Управления Общества училищ взаимного обучения и подписывались не мной. В то же время предписано было этому управлению удалить меня от участия в делах его. Последнее было мне известно, но о первом отзыве я не знал. Начальство Штаба, получив его на походе и видя гнусную несправедливость подлого министерства, пожалело обо мне и не сообщало о том, а я думал, что меня забыли!

Между тем я оставался на службе в Воспитательном доме и в училищах солдатских дочерей, но золотые дни мои прошли. Со мной обходились внимательно и учтиво, но холодно. Государыня уже не приглашала меня к обедам в Гатчине, реже обращала ко мне речь и т. п. При открытии второго училища солдатских дочерей, в Большой Конюшенной, государыня жестоко сердилась на архитектора, который далеко пошел за смету. На внутреннее устройство классов мне отпустили тысячу рублей. Оно обошлось в семьсот рублей, и остаток представлен был мной по начальству. Для смягчения гнева на архитектора Гр. И. Вилламов представил государыне мой отчет. Она обрадовалась, оборотилась ко мне ласково и сказала: «Я от вас иного и не ожидала». Что ж, когда меня представили к награде, она отозвалась: «Que voulez-vous que je lui donne? C'est un grand seigneur!»[31]. В 1822 году представила она меня, однако, к Аннинскому ордену второго класса. Вместо того мне вышел чин, уже за год выслуженный мной. Я довел о том до сведения императрицы. Она поручила Вилламову спросить у государя, по-

чему он, утвердив все награды в представлении, переменял одну, назначенную Гречу. «Доложите матушке, — отвечал Александр, — что Греч, как мне известно, именно желал награды чином. Я не мог исполнить этого прежде, а теперь воспользовался случаем». Дстойная внимания черта характера Александра! Он возымел на меня подозрение, потом уверился в невинности моей и желал сделать мне добро, но боялся гадин, пресмыкавшихся вокруг его престола. Душевная моя признательность следует его памяти за могилу! Я служил еще года два по этим заведениям, но, видя, что не могу принести, в новых обстоятельствах, всей пользы, какой ожидали, вышел в отставку с прекрасными аттестатами. Частная школа взаимного обучения, принесшая в свое время много пользы, потом исчезла от недостатка внимания и соревнования.

При этом случае скажу несколько слов о службе моей при императрице Марии Федоровне. Она пригласила меня к учреждению в Воспитательном доме классов взаимного обучения, через почетного опекуна, Карла Федо-

ровича Модераха, и главного надзирателя, А. И. Нейдгардта (брат генерал-адъютанта, командовавшего на Кавказе). Недели через две, по начатии классов (в марте 1820 г.), государыня приехала посмотреть новую методу на девичьей половине. Когда меня представили ей, она заговорила со мной по-французски; я отвечал ей так же. Потом попросила меня начать упражнения и, когда я скомандовал: «Смирно!», — изумилась и сказала: «Как вы хорошо говорите по-русски!» Модерах подошел к ней и сказал: «Как господину Гречу не говорить по-русски: его дед был моим профессором в кадетском корпусе, и сам он русский писатель и грамматик». Государыня спросила меня о моем происхождении и, узнав, что оно большей частью немецкое, изъявила свое удовольствие. И впоследствии, когда я представлялся ей, когда докладывал ей по делам службы, она изъявляла ко мне свое благоволение, до того, что однажды сказала окружающим ее: «Вот человек, которого можно было бы употребить при воспитании моего внука» (нынешнего государя).

Впоследствии она ко мне охладела, и я

приписывал это неудачам моей службы вообще, но через несколько времени узнал, что я сделался жертвой придворной интриги. Приближенные ее, узнав о ее отзыве, приведенном мной выше, решились воспрепятствовать исполнению этого предположения, находя, вероятно, что человек смелый, открытый, пылкий, независимый не будет хорошим наставником юного царевича. Однажды после обеда в Гатчине (это было осенью 1820 г.), нянька-англичанка принесла маленького князя в так называемый Арсенал, нижний этаж гатчинского дворца, в котором были столовая государыни и залы вечерних ее собраний. Государыня удалилась. Остались несколько человек, в том числе адъютант великого князя Михаила Павловича (Илья Гаврилович Бибилов) и еще гусарские офицеры. Вилламов нянчил младенца, великую княжну Марию Николаевну.

Потом они, и я с ними, окружили великого князька и начали играть с ним. Шевич сказал ему: «Ваше высочество, представьте дядюшку Константина Павловича». Ребенок поднял и сжал носик. Все расхохотались. «Смотрите, —

сказал Бибииков няньке, — если он будет похож на этого дядюшку, мы вам свернем шею». Потом говорено было еще многое на этот счет, между прочим смеялись, что ребенок называет снег белыми мухами. Я спросил у няни, каков у него нрав. «Предобрый, — отвечала она, — он очень жалостлив, и, увидев недавно нищего мальчика, сказал с сожалением: poor boy». У него в руке был кусок кренделя. Я протянул к нему руку и сказал: «Пожалуйста мне!» Он тотчас отдал. «Так вы знаете, — прибавил я, — что значит и good boy».

Из этих невинных слов сплели предлинную сказку, приписали мне все сказанное офицерами, прибавили еще кое-что и донесли всеподданнейше. Засим последовало отчуждение мое, а я и не догадывался о причине. Через несколько лет (в 1830 году) на большом обеде у Василия Васильевича Энгельгардта очутился я за столом подле И. Г. Бибиикова. Он рассказывал тут при всех мою придворную мезавантюру (неудачу), говорил, что его спрашивали об этом случае, что он всячески старался оправдать меня, заверяя, что предосудительные речи произнесены были

не мной, и прочее, но все было напрасно.

Мечта о том, что я, может быть, сделаю карьеру при дворе, ласкала меня слегка, но недолго, и я расстался с нею без сожаления, а потом, размыслив хорошенько, благословил судьбу, что мимолетная мысль Марии Федоровны не осуществилась. Я не ужился бы никак при дворе, и недели через две изгнали бы меня, как из шустер-клуба, mit Skandal (со скандалом). Человек законнорожденный, честный, откровенный, может быть и слишком болтливый, враг подлости, глупости и невежества — не устоял бы на паркетe. Довольно того, что я вблизи видел всю эту мишуру и в душе сетовал за царей, окруженных таким народом.

Недели за две до семеновской истории был я в Гатчине. В этот день являлся я к государыне, но вечером подошел с толпой народа к окнам Арсенала. У императрицы было собрание. В большой зале двигались придворные и другие лица. Видно было их хорошо, но не слышно, что говорили. Вот когда-то молодой человек фронт Милорадович, вот вечно улыбающийся Бенкендорф и тому подобное. Как

они вертелись, кланялись, ухмылялись, точно кукольная комедия. Грешен, я подумал: не дай Бог какого-нибудь непредвиденного случая, какой-либо беды! Далеко ли уйдут с этими фиглярами! Так и сбылось вскоре. Между тем, назвав людей, которые мне вредили у Марии Федоровны, поименую и тех, которые благородно за меня вступались. Это были Г. И. Вилламов, А. К. Шторх, Н. М. Карамзин и И. Ф. Саврасов. С такими заступниками и потеря дела не лишает отрады!

Полк был раскассирован; офицеры его были переведены в армию. Составлен был другой полк из гренадерских батальонов. Но Александру нанесена была глубокая рана. Он сделался задумчив, печален, подозрителен, еще менее стал верить людям откровенным и благородным, обратив все свое внимание и слух, с одной стороны, ко внушениям Аракчева и ему подобных, а с другой, к советам мистиков и святош. В таком положении оставался он до конца своей жизни. Тщетно раздираемая дикими тиранами Греция поднимала к нему окровавленные свои руки. Он видел в несчастных жертвах мусульманского изувер-

ства мятежников и якобинцев. Турция приписывала это долготерпение слабости России и действовала с ним дерзко и нагло. Примиритель Европы не хотел воевать.

Присоедините к этим политическим смятениям нравственное и духовное направление Александра, как я его описал выше, и вы составите себе понятие о положении его души в последние годы его пребывания в здешнем свете. Разочарованный в верованиях своих глубокому библейскому христианству, он обратился не к православию, а к слабой и грязной его стороне, к монахам, глупым и изуверным. Внук Екатерины, ученик Лагарпа, сделался поклонником подлого и нелепого Фотия, принимал у себя глупых и безобразных монахов и целовал им руки. Канун отъезда своего в Таганрог провел он в беседе с каким-то полоумным схимником в Александро-Невской Лавре. Окружавшие его гнусные люди, преимущественно Иуда Магницкий, пугали его и заставляли делать несправедливости: они всячески старались очернить в его глазах бывшего министра внутренних дел Кочубея и директора Особой Канцелярии (что

ныне III Отделение Канцелярии государевой), благороднейшего Максима Яковлевича фон Фока, донесли, что состоящая в ведении его цензура иностранных книг позволила к продаже богопротивную книгу. Книга эта (впрочем, позволенная самим Кочубеем, находившимся во время доноса за границей) была известный «Conversations-Lexicon» Брокгауза, в котором учение о Богородице изложено было по догматам протестантской церкви. Читавших ее двух цензоров, Лерхе и Гуммеля, посадили в крепость. Это случилось 8 августа 1825 года, и в тот самый день сторел Преображенский собор. Цензоров выпустили накануне отъезда государева; в тот же день призывали фон Фока в тайную комиссию, собиравшуюся у Аракчеева, и старались выведать, кто одобрил книгу. Фон Фок отвечал твердо: «Одобрил ее граф Кочубей, но не подписал о том бумаги; я сделал отметку на поле, и один отвечаю». Его отпустили, чего он не ожидал, думая, что будет ночевать в Алексеевской рavelине. Грустное воспоминание! И это происходило в царствование государя доброго, благородного, желавшего счастья своему народу,

ревностного христианина!

К этому же времени принадлежит любопытный эпизод из жизни Аракчеева. Александр осматривал, летом 1825 года, новгородские военные поселения и был восхищен этим уродливым произведением его прихоти, которой исполнение мог принять на себя только один Аракчеев и воспитанник его, Клейнмихель. Оставляя поселения, Александр сказал графу: «Любезный Алексей Андреевич! Требуй чего хочешь! Я ни в чем не откажу тебе». Аракчеев стал на колени и с сатанинским лицемерием сказал: «Прошу одного, государь, позвольте мне поцеловать вашу ручку». Дружеское объятие было ответом.

Оттуда государь приехал в лагерь под Красным Селом, где встретил его весь штаб гвардейского корпуса. Подошли дежурный генерал-адъютант и флигель-адъютант. Последним был Шумский, воспитанник, т. е. побочный сын, Аракчеева, прижитый им с подлой бабой, Настасьей Федоровной. Шумский был совершенно пьян; он подошел к государю, споткнулся, упал, и его вырвало. Александр, брезговавший всем, что походило на пьян-

ство и его последствия, был выведен из себя этим последним явлением, обратился к Аракчееву и сказал: «Ваша рекомендация, граф, покорнейше благодарю!» — и пошел далее, Шумского подняли; он исчез и не появлялся более. Говорят, его увезли в Грузине и там спрятали. Негодование государя не имело следствий, ибо Аракчеев слишком глубоко гнезвился в его сердце. Провидение приняло на себя поразить злодея.

Наложница его, как слышно было, беглая матросская жена, была женщина необразованная, грубая, злая, подлая, к тому же безобразная, небольшого роста, с хамским лицом и грузным телом. Владычество ее над графом было так сильно, что в народе носился слух, будто она его околдовала каким-то питьем, и когда Александр бывал в Грузине, варила волшебный суп и для его стола, чтоб внушить ему благоволение и дружбу к графу. Она обходилась со слугами и людьми графа очень дурно — наговаривала на них, подвергала жестоким наказаниям без всякой вины и особенно тиранила женщин и девок. Они вышли из терпения. В отсутствие графа, осматривавше-

го поселения, вошли ночью (в сентябре 1825 года) в ее спальню, убили ее, отсекли ей голову и потом сами объявили о том земскому начальнику.

Аракчеев, узнав о том, оцепенел было, а потом впал в бешенство, похоронил ее с почестью, подле могилы, которую заготовил себе в церкви села Грузино, и сам сочинил ей надгробную надпись. Он известил государя о постигшем его несчастье и в ответ получил письмо, в котором Александр выражал ему свое соболезнование, уговаривал его и поручал уроду Фотию принять на себя утешение царского друга в постигшем его несчастье. Едва веришь глазам, читая эти письма.

Первым движением Аракчеева было отомстить несчастным, увлеченным в преступление невыносимым тиранством. Опасаясь, чтобы при ревизии этого дела в Сенате не открылось некоторых тайн его домашней жизни, он приказал новгородскому гражданскому губернатору Жеребцову повесть дело так, чтоб оно решено было Уголовной Палатой без переноса в Сенат. Преступников было более девяти (точнее, двадцать шесть), и поэтому

непременно следовало представить процесс Сенату. Что же сделал подлец губернатор? Разделил подсудимых на три категории, каждую не более девяти человек, составил из одного дела три и ускользнул от ревизии Сената.

Между тем воцарился Николай. Вышел милостивый манифест, по которому смягчались казни, еще не исполненные. Полученного в Новгородском губернском правлении манифеста не объявляли, и приговор, жестокий, варварский, исполнили. Николай Павлович ужаснулся, но дело было так искусно облечено во все законные формы, что не к чему было придраться. К тому же не хотели срамить памяти государя, лишь только умершего, но через полгода воспользовались беспорядками в Новгородской губернии, при проходе гвардии в Москву на коронацию, и выгнали Жеребцова. Аракчеев барахтался еще несколько времени, как утопающий, но его солнце закатилось навеки. Между тем он оставил России наследство, которое она долго будет помнить, умолив Александра дать звание генерал-адъютанта другу и помощнику его Клейнмихе-

лю. Достоин замечания отчет Аракчеева, напечатанный им в «Инвалиде» в январе 1826 года, в оправдание управления военными поселениями. Превосходнейшее произведение плутовства и наглости!

Вот каковы были последние дни жизни императора Александра, который своим добрым сердцем, благородством души, умом, образованием, твердостью и упованием на Бога в несчастиях и глубоким смирением в дни успехов и славы достоин был лучшей участи. В цвете лет мужества он скучал жизнью, не находил отрады ни в чем, искал чего-то и не находил, опасался верить честным и умным людям и доверял хитрому льстецу, не дорожил своим саном и между тем ревновал к совместникам.

Я говорил выше, как он, быв наследником, внушил общую к себе любовь всей России, как она обрадовалась, когда он вступил на престол. Это воспоминание, отрадное для частного человека, тяготило царя. Он боялся иметь наследника, который заменил бы его в глазах и мыслях народа, как он, конечно без всякого умысла, затмил своего отца. Соперни-

чества Константина Павловича он не боялся: цесаревич не был ни любим, ни уважаем и давно уже говорил, что царствовать не хочет и не будет. Он опасался превосходства Николая и заставлял его играть жалкую и тяжелую роль пустого бригадного и дивизионного командира, начальника инженерной части, неважной в России. Вообразите, каков был бы Николай, с своим благородным, твердым характером, с трудолюбием и любовью к изящному, если б его приготовили к трону, хоть бы так, как приготавливали Александра. Но того воспитывала Екатерина Алексеевна, а этого Мария Федоровна, женщина почтенная и добродетельная, но ограниченная в своих взглядах и суждениях, трудолюбивая и неусыпная нянька и хозяйка, но весьма недалёковидная в политике и истории. Немка в душе, как сказано выше. Она окружила великих князей людьми добрыми, но посредственными и бесхарактерными. Еще удивительно, что они не вышли хуже. Николай принужден был доучиваться, уже женатый, в Берлине. Михаил лишь только сдал последний экзамен, заколотил огромным гвоздем свой шкаф с книгами,

которого нельзя было назвать библиотекой. Зато великие княжны были образованы и воспитаны тщательно и успешно. Все они принесли честь России, своим родителям и фамилии. От всех отличалась четвертая дочь императора Павла, недаром нареченная Екатериной. Память о ней живет в сердцах виртембергцев, тех самых, которые при жизни на нее жаловались и клеветали. Теперь достойно заступила ее место Ольга Николаевна.

Отчего это превосходство женского пола над мужским? От ненавистного окаянного фрунта, который внесен был в Россию слабомумным Петром III, обожавшим Фридриха II не за его дарования и победы, а за штіблеты, краги, косы, пукли, за ефрейторскую палку. Павел был достойным его преемником и передал эту варварскую страсть своим детям. Александр Павлович искренно полюбил было зятя своего, нынешнего короля Виртембергского, благородного человека и доблестного воина, но эта любовь потухла от одного неосторожного отзыва тогдашнего кронпринца. Это было в начале 1816 года, когда он только женился. За обедом в Зимнем дворце

зашла речь о Фридрихе II. Все наперерыв хвалили его. Кронпринц сказал: «Действительно, он был великий полководец и мудрый государь. Вредно было только пристрастие его к фронту. По его примеру все государи Европы сделались фельдфебелями». Александр не ответил ни слова, только изменился в лице. Можно вообразить себе смущение всех прочих. С тех пор Александр питал к королю Вильгельму недружелюбие, увеличившееся еще, когда король не согласился на требование деспотических дворов нарушить законные права его народа.

Глава одиннадцатая

Едва ли случалось в мире какое-либо великое бедствие, возникало какое-либо ложное и вредное учение, которое в начале своем не имело хорошего повода, благой мысли. Первое движение ума и совести человеческой почти всегда бывает чистое и доброе: потом прививаются к нему помыслы и страсти, порождаемые невежеством и злыми наклонностями, и из благотворного семени возрастает древо зла и пагубы. Так бывает со всеми революциями — и нравственными и политическими. Из христианского усердия возник кровавый фанатизм католиков; от желания очистить религию от суеверия произошло вольнодумство протестантов; из светлых идей 1789 года — кровавые сцены 1793-го; из восстановления порядка единоначалием Наполеона I — порабощение Европы тяжкому и постыдному игу.

И у нас бедственная и обильная злыми последствиями вспышка 14-го декабря 1825 года имела зерном мысли чистые, намерения добрые. Какой честный человек и истинно про-

свещенный патриот может равнодушно смотреть на нравственное унижение России, на владычество в ней дикой татарщины?! Государство, обширностью своею не уступающее древней римской монархии, окруженное во семью морями, орошаемое великолепными реками, одаренное особой, неизвестной в других местах силой плодородия, скрепленное единством и плотностью, обитаемое сильным, смышленным, добрым в основании своем народом, — представляет с духовной стороны зрелище грустное и даже отвратительное.

Честь, правда, совесть у него почти неизвестны и составляют в душах людей исключение, как в иных странах к исключениям принадлежат пороки. Не крепостное состояние у нас ужасно и отвратительно; оно составляет только особую форму подчиненности и бедности, в которых томится более половины жителей всякого и самого просвещенного государства. У нас злоупотребления срослись с общественным нашим бытом, сделались необходимыми его элементами.

Может ли существовать порядок и благоденствие в стране, где из шестидесяти милли-

оно нельзя набрать осьми умных министров и пятидесяти честных губернаторов, где воровство, грабеж и взятки являются на каждом шагу, где нет правды в судах, порядка в управлении, где честные и добродетельные люди страждут и гибнут от корыстолюбия и бесчеловечия злодеев, где никто не стыдится сообщества и дружбы с негодяями и подлецами, только бы у них были деньги; где ложь, обман, взятки считались делом обыкновенным и нимало не предосудительным; где женщины не знают добродетелей домашних, не умеют и не хотят воспитывать детей своих и разоряют мужей щегольством и страстью к забавам; где духовенство не знает и не понимает своих обязанностей, ограничиваясь механическим исполнением обряда и поддержанием суеверия в народе для обогащения своего; где народ коснеет в невежестве и разврате!

Такие печальные размышления возникают в душе особенно при сравнении нравственного и гражданского состояния России с нравственным и гражданским состоянием других стран, где существуют те же челове-

ские пороки и слабости, но умеряются благоустройством, воспитанием, правосудием и религией. Где бессовестный грабитель вдов и сирот, несправедливый судья, развратный священник наказываются позором общего мнения[32].

При таком сравнении России с другими государствами рождается в каждой благородной душе вопрос: отчего у нас это так? Нет ли средства искоренить зло и заменить его добром? Правительство не может желать и терпеть зла, но, видно, средства его недостаточны, честные люди должны помогать ему. Вот и соберутся ревнители добра, обыкновенно люди молодые, начнут судить и рядить: давай поправим это дело. — А как? — Составим общество для искоренения зла. — Да нам не позволят. — Разумеется, не позволят, потому что вся власть в руках самих виновников зла. Общество должно быть тайное. — Прекрасно! И вот благородные, пламенные, но неопытные и заносчивые ревнители добра сходятся, набирают членов, назначают президента, секретаря, спорят, толкуют, сделают, может быть, и добро, но обыкновенно на первых же

порах расшибут себе лоб или, еще обыкновеннее, разойдутся в мнениях, рассорятся, и обществу конец. Обычно тайные общества распадаются от поступления новых членов, принятых без дальнейшего выбора. Бывает и так, что характер общества совершенно изменяется от влияния вновь поступивших членов, так что свои своих не познают.

Подобный случай произошел у нас. Война 1812 года возвысила мнение русских о самих себе и о своем отечестве. В 1813 году сроднились они мыслью и сердцем с немцами, искавшими независимости, прав и свободы, которых лишил их свирепый завоеватель, гонитель чести, правды, просвещения. Освобождение от цепей тирана! — пели они с Шиллером. Во Франции русские были свидетелями свержения тяжкого ига с образованной нации, учреждения конституционного правления и торжества либеральных идей. Возвращаются в Россию и что видят? Татарщину XV века! Несправедливости, притеснения, рабство, низость и бесчестие, противоречие всему, что дорого образованному европейцу. У нас присовокупился к тому пример, подан-

ный государем: мы говорили выше о либеральном направлении Александра, но в самодержавных царях эти благородные намерения не бывают продолжительными: деспотичная натура, кроющаяся во всяком царе, как и во всяком человеке не самого сильного характера, возьмет свое.

Как бы то ни было, наши молодые, пламенные, благородные люди возымели ревностное желание доставить торжество либеральным идеям, под которыми разумеется владычество законов, водворение правды, бескорыстия и честности в судах и в управлении, искоренение вековых злоупотреблений, подтачивающих дерево русского величия и благоденствия народного. Составилось общество благоденствия, основанное на самых чистых и благородных началах, имевшее целью: распространение просвещения, поддержание правосудия, поощрение промышленности и усиление народного богатства.

Это были благодетельные дети, игравшие обоюдоострыми кинжалами, сжигавшие фейерверк под порохowymi бочками. Некоторые из них, встретив с самого начала препят-

ствия, убедившись в неисполнимости их мечтательных замыслов, отказались от участия в делах общества; другие оставались в нем, надеясь что-нибудь сделать; иные еще, честолюбивые мечтатели, вздумали воспользоваться таким союзом для удовлетворения своим страстям, для низвержения правительства и для овладения верховной властью во благо народа, говорили они, но на деле для утоления собственной их жадности. К этим сумасбродам присоединилось несколько злодеев, под маской патриотов, и как зло на свете всегда сильнее добра, последние и одолели. В числе участников было несколько легкомысленных ветреников, которые не смели отстать от других, кричали и храбрились в надежде, что все кончится громкими фанфаронадами, не дойдет до дела. Всего грустнее было то, что заговорщики заманили в свою шайку несколько прекрасных молодых людей, едва вышедших из детского возраста и не понимавших, что заставляют их предпринять.

Таким образом составилось это разнокалиберное скопище. Таким образом подготовились и разыгрались элементы этой нелепой

стачки, стоившей многих слез и страданий целым семействам и могшей навлечь на Россию неисчислимыя бедствия.

При начале всякого драматического творения исчисляются действующие в нем лица с изложением их характера и с описанием костюмов. Так поступаю и я: исчислю и, сколько могу, опишу каждого из действовавших, то есть только тех, которых или я знал лично, или о ком имел достоверные сведения.

1. Павел Иванович Пестель, полковник и командир Вятского пехотного полка. Достоин замечания, что первенствующим из заговорщиков был сын жестокосердого проконсула, врага всякой свободной идеи, всякого благородного порыва. Отец его, Иван Борисович Пестель, был человек очень умный, хорошо образованный, может быть и честный, но суровый, жестокий, неумолимый. При императоре Павле был он почтдиректором в Петербурге, а брат его в той же должности в Москве.

Однажды призывают его к императору. Павел в гневе говорит ему:

— Вы, сударь, должны брать пример с ва-

шего брата. Он удержал одну иностранную газету, в которой было сказано, будто я велел отрезать уши мадам Шевалье, а вы ее выпустили в свет. На что это похоже?

Пестель отвечал, не смутившись;

— Точно выпустил, государь, именно для того, чтоб обличить иностранных вралей. Каждый вечер публика видит в театре, что у ней уши целы, и, конечно, смеется над нелепой выдумкой.

— Правда! Я виноват. Вот, — сказал Павел (написав несколько слов на лоскутке бумаги об отпуске из кабинета бриллиантовых серег в 6000 рублей), — поезжай в кабинет, возьми серьги, отвези к ней и скажи, чтобы она надела их непременно сегодня, когда выйдет на сцену.

Впоследствии Пестель был генерал-губернатором в Сибири и затмил собой подвиги всех проконсулов, Клейва, Гастингса и подобных тиранов. Сибирь стонала под жесточайшим игом. Пестель окружил себя злодеями и мошенниками: первым из них был Николай Иванович Трескин, гражданский губернатор иркутский. До сих пор живо в Сибири вос-

поминание о тех временах. Пестель долго управлял Сибирью из Петербурга, для того чтоб ему не подсидели у двора. Жил он на Фонтанке напротив Михайловского замка, на одном крыльце с Пукаловой, любовницею Аракчеева, и через нее держался у него в милости. Притом он считал себя самым честным и справедливым человеком, гонителем неправды и притеснения. Однажды рассказывал мне сын его Борис Иванович, что не спал он целую ночь от негодования на неправоудие людей, выдав накануне на немецком театре драму, в которой был выставлен бессомвестный судья.

Я должен заметить здесь, почему знал Пестеля. У меня был в пансионе (когда я служил старшим учителем в Петровской школе) третий сын его, Борис Иванович, мальчик неслупый, но злой нравом: в детстве у него отняли ногу, после какой-то болезни, и это имело влияние на его характер. Отец привез его ко мне (1810 г.) вместе со старшими сыновьями, Павлом и Владимиром, только что возвратившимися из Дрездена, где они видели Наполеона. Я спросил у Павла Ивановича, каков те-

перь собой Наполеон. «Говорят, что потолстел, — сказал Павел Иванович смеючись и указывая на отца, который стоял спиной к нам. — Вот точно как батюшка, — старик Пестель был малорослый толстяк.

Жена его, урожденная фон Крок (дочь сочинительницы писем об Италии и Швейцарии, урожденной фон Диц), была женщина умная и не только образованная, но и ученая. Не знаю, как она уживалась с своим тираном (хотя, впрочем, политические тираны бывают иногда самыми нежными мужьями), но детям своим, особенно старшему, Павлу, внушала она высокомерие и непомерное честолюбие, соединявшиеся с хитростью и скрытностью. В нем было нечто иезуитское.

Ума он был необыкновенного, поведения безукоризненного. Он и брат его Владимир воспитывались в Дрездене, под руководством умной и просвещенной бабки. Напрасно станут обвинять иностранное воспитание: отчего же один Павел заразился им, а Владимир остался верноподданным, в день казни брата пожалован был флигель-адъютантом, потом служил ревностно и наконец был губернато-

ром в Крыму.

Возвращение Павла Пестеля в Россию и поступление его на службу сопровождались замечательными обстоятельствами. Он был камер-пажем и, по прибытии в Петербург, явился в корпус на выпускной экзамен. Это было в марте 1812 года. До явки его кончен был общий экзамен, и камер-паж Владимир Адлерберг удостоен был первого номера. Это было в то время очень важно. Первый по экзамену получал чин поручика гвардии и дорогую дорожную шкатулку; второй — чин подпоручика; прочие выпускались прапорщиками. Приказано было сделать экзамен Пестелю; оказалось, что он был по наукам и языкам несравненно выше Адлерберга; ему следовал первый приз. Пошли хлопоты и интриги. Мать Адлерберга (начальница Смольного монастыря) бросилась с просьбой к императрице Марии Феодоровне: «Мой-де сын учился с успехом всему, что преподается в корпусе, получил прилежанием и успехами первое место. Приехал Пестель, и моего Владимира ставят на второе. Да виноват ли он, что его не учили тому, чему учат в Дрездене? Теперь приедет

еще какой-нибудь профессор, и ему должны будут уступить наши бедные дети. Где тут справедливость? Вступитесь за моего сына».

С другой стороны, Пестель, через соседку свою Пукалову, искал помощи у верховного визиря. Аракчеев доложил государю, что Адлерберг награжден уже казенным содержанием и обучением, а Пестель не получил от казны ничего, образовался сам собой и на свой счет и потому заслуживает преимущества. Государь отвечал и матушке своей и ДРУГУ, что поступит по всей справедливости, и, когда кандидаты в герои явились к нему на смотр, сказал им: «Господа, поздравляю вас всех прапорщиками нового гвардейского Литовского полка» (ныне Московский). Замечательно, что один из состязателей теперь генерал-адъютант, граф, андреевский кавалер, министр — а другой повешен как подлый преступник! Судьбы божий неисповедимы!

Пестель служил усердно и честно, был храбр в сражениях и человеколюбив после боя. В 1814 году он был адъютантом графа Витгенштейна. Его послали с немногими казаками с каким-то поручением в Бар-сюр-Об.

Прискакав в городок, Пестель видит на улицах большое смятение. Баварцы вытеснили французов, недавних своих союзников, и грабят немилосердно. Из одного дома несутся раздирающие крики. Пестель входит туда с казаком и видит, что три баварца вытаскивают тюфяк из-под умирающей старухи. Она кричит и просит пощады. Пестель стал было уговаривать солдат, чтоб они сжалились над несчастною, и когда они отвечали ему ругательствами, то приказал казакам выгнать негодяев нагайками.

Когда они выбежали на улицу, раздался голос баварского майора, кутившего (в халате) трубку в окне второго этажа. «Что это значит? Бьют людей, как собак! Как вы смеете?» Пестель оглянулся и закричал казакам: «Стащить скотину!» Майора стащили и тут же высекли. Грабеж кончился. Баварское начальство жаловалось, но Витгенштейн заметил, чтоб не доводили этого до сведения Александра: тогда было бы еще хуже.

Впоследствии Пестель дослужился до полковника и был командиром Вятского полка, стоявшего в Подолии. При начале греческого

восстания его посылали в Молдавию и Валахию, чтоб узнать о причинах и свойстве этого восстания. В донесении своем он сказал, что это то же самое, что освобождение России от татарского ига. Александр принял донесение благосклонно, но грекам, как известно, не помогал.

Лица, замыслившие заговор, не могли не принять к себе Пестеля, и он вскоре сделался главным действующим лицом его. Приехал в Петербург. Я видал его в собраниях масонских лож. Он молчал, и замечал случаи и лица. Рост был невысокого, имел умное, приятное, но серьезное лицо. Особенно отличался он высоким лбом и длинными передними зубами. Умен и зубаст!

Участие его в замыслах революции явствует из официальных бумаг. Какая была его цель? Сколько я могу судить, личная, своекорыстная. Он хотел произвести суматоху и, пользуясь ею, завладеть верховной властью в замышленной сумасбродами республике. Достойно замечания, что он составил себе роль, которую через четверть века разыграл с успехом другой бунтовщик, Людовик-Наполеон, —

по тому непреложному закону, что плохая монархия производит республиканцев, а плохая республика тиранов. Достигнув верховной власти, Пестель дал бы, несомненно, волю своей отцовской крови, сделался бы жесточайшим деспотом.

При следствии и суде он вел себя твердо и решительно, но не всегда говорил правду и старался оправдаться во многих уликах, иногда играл разные роли. Есть слух, что перед смертью не хотел исповедоваться и причащаться. Это правда: его не было в списке особ, причащавшихся у православного священника, потому что он был лютеранин. Его приобщал тогдашний пастор (и супер-интендант Рейнбот), живший в то время подле меня, на Черной речке.

В первом часу ночи приехал к нему адъютант генерал-губернатора (чуть ли не нынешний обер-форшнейдер, заведующий просвещением России), разбудил и просил приехать в крепость для напутствия приговоренных к смерти преступников. Рейнбот, впоследствии, рассказывал мне о последнем своем свидании с Пестелем. Он нашел его не

упавшим в духе, но беспокойным и тревожным. После первых слов о поводе к этому свиданию, Пестель начал говорить о своем деле, стал оправдываться, жаловаться на несправедливость суда и приговор, причем беспрестанно хватался за галстух. Рейнбот, выслушав его внимательно, сказал ему: «Теперь вам не до света и не до его мнений: вы должны помышлять о том, что вскоре явитесь перед Богом». В дальнейшей беседе Пестель еще порывался оправдываться, но Рейнбот наводил его на предмет своего посещения. Наконец Пестель покорился и исполнил обряд, с благоговением, и просил пастора передать последнее прости его родителям. Вообще он показался Рейнботу неоткровенным иезуитом, даже в эту великую минуту.

2. Кондратий Федорович Рылеев — соучастник Пестеля, но самая резкая ему противоположность. Один был аристократ и метил в цари; другой — человек не важный и сам не знал, чего хотел. Рылеев, небогатый дворянин, был воспитан в 1-м кадетском корпусе, показывал с детства большую любознательность, учился довольно хорошо, чему учили в

корпусе, вел себя порядочно, но был непоко-рен и дерзок с начальниками, и с намерени-ем подвергался наказаниям: его секли нещад-но; он старался выдержать характер, не про-износил ни жалоб, ни малейшего стона и, став на ноги, опять начинал грубить офицеру.

Он был выпущен в артиллерию, вскоре вы-шел в отставку и был по выборам дворянства заседателем в Петербургской Уголовной Па-лате, служил усердно и честно, всячески ста-рался о смягчении судьбы подсудимых, осо-бенно простых, беззащитных людей. В то же время был он правителем дел Правления Рос-сийско-Американской компании. Как я слы-шал от директора компании Ивана Василье-вича Прокофьева, он в начале своего служе-ния трудился ревностно и с большой пользой, но потом, одурев от либеральных мечтаний, охладел к службе и валил через пень колоду.

Поэтического дарования он не имел и пи-сал стихи не гладкие, но замечательные сво-ею силой и дерзостью. В послании к Вязем-скому, написанном будто бы в подражание Персией сатире к Рубеллию, напечатанном в «Невском Вестнике», он говорил очень явно

об Аракчееве:

*Надменный временщик, и подлый
и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг
неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны
своей,
Внесенный в высший сан проныр-
ствами злодей,
Ты на меня взирать с презрением
дерзаешь
И в грозном взоре мне свой ярый
гнев являешь!
Твоим вниманием не дорожу, под-
лец!*

В одном отношении Рылеев стоит выше своих соучастников. Почти все они, замышляя зло против правительства и лично против государя, находились в его службе, получали чины, ордена, жалованье, денежные и другие награды. Рылеев, замыслив действовать против правительства, перестал пользоваться его пособием и милостями.

В этом отношении могу сообщить любопытный анекдот, характеризующий либералов всех времен и стран. Николай Иванович

Тургенев, будучи статс-секретарем Государственного совета, пользуясь разными окладами и т. п., толковал громогласно об всех министрах, и особенно истощал все свое красноречие на обличение Аракчеева. В начале 1824 года изъявил он желание ехать за границу: ему дали чин действительного статского советника, орден Владимира 3-й степени и, кажется, тысячу червонцев на проезд. Тургенев обедал обыкновенно в Английском клубе и после обеда возвращался домой пешком, но вскоре, уставая от хромоты, отдыхал на скамье аллеи Невского проспекта. Вечером в апреле (1824) мы шли с Булгариным по проспекту, увидели отдыхающего Тургенева и присели к нему. Булгарин стал рассказывать, как я накануне в большой компании уличал гравера Уткина в лениности и говорил: «Ты выгравировал картофельный нос Аракчеева, получил зато пенсию и перестал работать». Булгарин думал, что рассмешит Тургенева, вышло иное; тот сказал с некоторой досадою: «С чего взяли, будто у Аракчеева картофельный нос: у него умное русское лицо!» Нас так и обдало кипятком. «Вот наши либералы! — сказали

мы в один голос. — Дай им на водку, все простят!»

Воротимся к Рылееву. Откуда залезли в его хамскую голову либеральные идеи? Прочие заговорщики воспитаны были за границей, читали иностранные книги и газеты, а этот неуч, которого мы обыкновенно звали цвибелем, откуда набрался этого вздору? Из книги: «Сокращенная библиотека», составленной для чтения кадет учителем корпуса, даровитым, но пьяным Железниковым, который помещал в ней целиком разные республиканские рассказы, описания, речи, из тогдашних журналов. Утверждают, что мятежники 14-го декабря были большей частью лицеисты. Неправда: были два лицеиста, Пущин и Кюхельбекер, да и последний был полоумным. Большая часть была воспитанники 1-го кадетского корпуса, читатели библиотеки Железникова.

Заманчивые идеи либерализма, свободы, равенства, республиканских доблестей ослепили молодого недообразованного человека! Читай он по-французски и по-немецки, не говорю уже по-английски, он с ядом нашел бы и

противоядие. За улыбающимися обещаниями и светлыми мечтами 1789 года разверзла бы перед ним пасти свои гидра 1793 года!

Революции 1830 и 1848 годов имели благие последствия для направления умов в Европе, показав, что за свободой для народов, не понимающих ее и к ней непривыкших, следует своеволие; за своеволием жесточайший деспотизм. Мечтания и обаяния пылкого оптимизма исчезают перед светом истории. Кажется, опыт научил нас, что известный образ правления, как пища человеческая, равно несвойствен всем народам.

Нации холодные, рассудительные, притом нравственные и преимущественно прозаически-протестантские, могут жить под правлением рассудка и права, выражающимся формой представительной. Англичане, шведы, датчане, северные германцы (а не глупые австрийцы), североамериканцы под этой формой живут счастливо и успешно. Народы племени романского и славянского к ней неспособны: у них должна царствовать палка, да и палка.

Упаси, бывало, Боже, в двадцатых годах

возгласить эти пресные математические истины: поднимут тебя на смешки, выставят дураком и, что еще хуже, подлецом, рабом и шпионом! Большинство либеральных умов было так велико, что его решения считались мнением общим, за немногими исключениями; к нему привыкли, как к закону всеобщей моды, никто не смел ему противоречить, в нем сомневаться. И в этой толпе олухов и пустомелей вращались лица, замыслившие мятеж и перемену правительства, но так как они говорили, как все, никто не замечал их, и потому не удивительно, что бедный генерал-губернатор граф Милорадович, в эпоху общего жужжания, не мог отличить мух ядовитых от просто жужжавших и только грязных. К тому же запевалами в этом хоре были аристократы, подававшие тон в высшем обществе. Вот полезли за ними мошки и букашки.

Рылеев был не злоумышленник, не формальный бунтовщик, а фанатик, слабоумный человек, помешавшийся на пункте конституции. Бывало, сядет у меня в кабинете и возьмет «Гамбургскую газету», читает, ничего не

понимая, строчку за строчкой; дойдет до слова Constitution, вскочит и обратится ко мне: «Сделайте одолжение, Николай Иванович, переведите мне, что тут такое. Должно быть, очень хорошо!»

Фанатизм силен и заразителен, и потому не удивительно, что пошлый, необразованный Рылеев успел увлечь за собой людей, которые были несравненно выше его во всех отношениях, — например, Александра Бестужева. Однажды шли они вдвоем из заседания Общества соревнователей просвещения и благотворительности и толковали, каким образом может быть направлено это общество к какой-либо высшей, практической цели. Тогда Рылеев открыл Бестужеву о замысле некоторых, по его словам, благородных людей, имеющих целью преобразование России, и взял с него слово приступить к этому скопищу.

С Николаем Тургеневым Рылеев познакомился у меня, 4 октября 1822 года, на праздновании десятилетия «Сына Отечества». Меня и многих изумило, что надутый аристократ и геттингенский дурак долго беседовал с

плебеем и кадетом, который даже не говорил по-французски. Могли ли мы воображать, о чем они толкуют и до чего дойдет бедный цвибель! Рылеев сделался двигателем и душой этого дела, искал, набирал соумышленников, внушал им свои революционные мечтания, писал сатирические и возмутительные стихи.

Сообщу средства, какими эти господа вербовали рекрут, в которых предполагали законный по ним рост. Однажды Рылеев сидел у меня вечером в кабинете наедине со мной и толковал о разных неинтересных предметах. Вдруг сказал он:

— Удивительно, как иногда можно очутиться в неприятном положении.

— Точно, — отвечая я, — мало ли что бывает.

— А что, по-вашему, — спросил он, — было бы вам неприятнее всего?

— Всего неприятнее было бы, — отвечал я, — если бы мне следовало завтра заплатить три тысячи рублей, которые я должен на честное слово, и у меня не было бы ни копейки.

— Это пустое, — сказал Рылеев, — есть случаи гораздо неприятнее.

— А какие, например?

— Вот, — сказал он, вперив в меня свои вечно движущиеся маленькие глаза. — Если бы вам открыли, что существует заговор против правительства и пригласили бы в него вступить? А? Что бы вы сделали?

— Это решить нетрудно, — отвечал я хладнокровно и вовсе того не подозревая, что он говорит это с каким-либо намерением. — Я поступил бы с приятелем, как советовал граф Растопчин поступать с французским шпионом: за хохол да и на съезжую.

— Возможно ли, — сказал он, — так думать! Подумайте, если бы заговор был составлен для блага и спасения государства, как, например, против Павла Первого.

— Нет, Кондратий Федорович, — отвечал я, — заговоры составляются не для блага государства, а для удовлетворения тщеславия или корыстолюбия частных лиц. Пользы они не принесут никакой, кроме горького урока. Что же касается до заговора, какой был против Павла, во-первых, участники его князья, гра-

фы, адъютанты не оказали бы нам, прочим смертным, великой чести участвовать в их подвиге, а во-вторых, я гораздо скорее желал бы быть на месте камер-гусара Саблина, которому заговорщики изрубили голову, когда он закричал Павлу: «Государь! Спасайся!» — нежели, как Платон Зубов, шататься по свету подобно Каину с клеймом на лбу: цареубийца!

— Да что же вас так привязывает к царям? — спросил он с какою-то досадой.

— Положим, — отвечал я, — что вы ни во что ставите присягу, но между царем и мной есть взаимное условие: он оберегает меня от внешних врагов и от внутренних разбойников, от пожара, от наводнения, велит мостить и чистить улицы, зажигать фонари, а с меня требует только; сиди тихо! Вот я и сижу.

Рылеев не продолжал разговора, обратил речь к чему-то другому и, напившись чаю, уехал. Потом он никогда не проронил о том ни слова.

Другое искушение. Никита Михайлович Муравьев повадился приезжать ко мне по утрам, едучи на службу в Главный штаб. При-

едет, поболтает, и только. Разумеется, разговоры были тогдашние, либеральные. Однажды приехав ко мне, нашел он меня в большой досаде и расстройстве. На вопрос о том, что меня сердит, я отвечал: «Да вот, посмотрите, как этот дурак цензор Бируков вымарал из «Сына Отечества» самые невинные вещи, в которых он видит черт знает что! Да и хорошо наше умное правительство! Цензуру поручает набитым дуракам и подлецам. Ну может ли такой глупый семинарист судить о литературе, о политике? Может ли он быть хорошим, верным подданным? А ему верят, а не верят мне, известному писателю, дворянину, отцу семейства; стану ли я изменять правительству, действовать вопреки его видам? При этих словах, сказанных без умысла, от глубины души, Муравьев, видимо смутился, тотчас уехал и уже не являлся более.

Третья вербовка была еще оригинальнее. В ноябре 1825 года, за месяц до вспышки, я обедал у Булгарина с Батеньковым и Погодиным. Батеньков пил досуха и в конце обеда спросил еще шампанского. Эти господа в последнее время пили непомерно, как бы стараясь

тем придать себе духу или выбить что-то из ума и памяти. Булгарин, не желая оскорбить чувство бережливости своей тетки, сказал ему: «Пойдем ко мне в кабинет и выпьем там на просторе». Встали и пошли. На стол поставили бутылку, наполнили стаканы. Батеньков, развалившийся с трубкой в зубах на диване, духом выпил стакан, крякнул и сказал:

— Ах, как все гадко в России! Житья скоро не будет. Не правда ли, Николай Иванович?

Я отвечал:

— Кому и знать это, если не вам, мизинцу правой руки государевой!

— Нет, — продолжал он, — невтерпеж приходит.

Булгарин испугался этих слов из уст Батенькова.

— Ну полно, — сказал он, — что ты людей морочишь, аракчеевский шпион.

— Молчи, — возразил Батеньков, — я не с тобой говорю. Ты поляк, и чем для нас хуже, тем для вас лучше. Я говорю с Николаем Ивановичем: он сын отечества и согласится со мной, что все это надо переделать и переменить.

— Да нашли ли вы на то средство? — сказал я, чтоб сказать что-нибудь.

— Нашел! Надобно составить тайное общество, набрать в него сколько найдется честных людей в России, прибрать в руки власть и рассадить этих людей по всем местам. Тогда Россия переродится.

Булгарин трусил и показывал мне знаками, чтоб я не соглашался. Батеньков продолжал:

— Конечно, вы, Николай Иванович, не откажетесь вступить в такое общество?

— Разумеется, не откажусь.

Булгарин побледнел. Батеньков поднялся, выпустил трубку изо рта.

— В самом деле? — спросил он.

— В самом деле, — отвечал я, — только у меня есть одно маленькое условие.

— Какое?

— Чтоб председателем этого общества был обер-полицмейстер Иван Васильевич Гладкий.

Булгарин восхитился, расхохотался и закричал:

— Ай да Греч! Браво, браво! Председатель

Гладкий!

Батеньков возразил с досадою:

— Да вы шутите, Николай Иванович?

— И вы, конечно, шутите, Гаврило Степанович, — отвечал я.

Разговор принял другое направление.

Я приписывал эти отзывы Батенькова внушениям паров шампанского, не воображая, чтобы член Совета военных поселений мог в здравом уме говорить такие вещи. Через несколько дней после 14-го декабря узнал я, что и он был в этом заговоре. Не приписываю себе никакой заслуги, что не попал сам в эту кутерьму. Меня предоохранила оттого, во-первых, семеновская история: в ней видел я, как легко было запутаться одним словом, одним каким-либо необдуманым шагом. Во-вторых, берегла меня милость божия!

Сколько запутано было в это дело людей, виновных столько же, как и я; слышавших дерзкие речи и не донесших о них, потому что считали их пустыми и ничтожными. Так, например, в донесении следственной комиссии отзыв Якубовича («Вы хотите быть головами, господа! Пусть так, но оставьте нам ру-

ки») сказан был в моем присутствии. Это было в субботу 26-го ноября, на обеде у директора Американской компании, Ивана Васильевича Прокофьева. Обедали у него, сколько помню, Ф. Н. Глинка, Батеньков, Якубович, Рылеев, Михаил Кюхельбекер, Александр Бестужев, Штейнгель, Муханов, я и еще несколько человек. Булгарина, помнится, не было. Беседа была шумная, веселая и преприятная. Добрый хлебосол ходил вокруг стола и подливал вина, добываемого за шкуры сивучей и котиков, не догадываясь, кого потчевает. Вдруг Батеньков спросил:

— А где Николай Иванович? (Кусов, тогдашний городской голова.)

Отвечали, что он остался за Невой, которая только что стала.

— Голова! — сказал Батеньков. — Какое славное звание голова! Ну что значит против этого какой-нибудь майор! Ах, если бы быть головой!

Якубович сказал на это:

— Будьте головами, только нам развяжите руки.

Все мы, непричастные к удольфским таин-

ствам, приняли эти слова раненного на Кавказе офицера, с повязанной головой, за желание его подраться с горцами. И сколько таких порывов и намеков промелькнуло у нас мимо ушей!

Какая была цель Рылеева? Он сам ее не знал. Учреждение ли конституционного правления, водворение ли республики; только бы пошуметь, подраться, пролить крови и заслужить статью в газетах, а потом и в истории. Нечего сказать! Завидная слава!

12-го декабря в бывшем у него в квартире предуготовительном собрании заговорщиков он вынудил у них согласие взбунтовать войска и народ 14-го числа и потом, при следствии, откровенно признался, что был главным деятелем, и если бы хотел, то мог бы все остановить.

14-го декабря Рылеев сам на площади не сражался, но бегал повсюду, как угорелая кошка, поощрял своих соумышленников, приглашал людей из народа к участию в бунте, причем происходили иногда сцены пресмешные и оригинальные. Когда начала напирать гвардия и впереди ее корпусный ко-

мандир, генерал Воинов, Рылеев закричал мужикам:

— Что вы стоите, братцы! Бейте их: они ваши злодеи!

— Да чем прикажете?

— Хоть вот этими поленьями, — сказал он, указав на дрова, складенные у забора Исаакиевской церкви.

— Помилуйте, ваше благородие, — отвечали ему, — как можно! Дрова-то казенные!

Когда кончилась драка, Рылеев скитался не знаю где, но к вечеру пришел домой. У него собралось несколько героев того дня, между прочим, барон Штейнгель: они сели за стол и закурили сигары.

Булгарин, жестоко ошеломленный взрывом, о котором он имел темное предчувствие, пришел к нему часов в восемь и нашел честную компанию, преспокойно сидящую за чаем. Рылеев встал, преспокойно отвел его в переднюю и сказал: «Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой. Я погиб! Прости! Не оставляй жены моей и ребенка». Поцеловал его и выпроводил из дому.

Он не только не утрастился смерти, но и

встречал ее с какою-то гордой радостью. Выслушав смертный приговор, он написал к жене своей письмо следующего содержания:

13 июля 1826 года.

Бог и Государь решили участь мою: я должен умереть и умереть смертью позорной. Да будет Его Святая воля! Мой милый друг, предайся и ты воле Всемогущего, и Он утешит тебя. За душу мою молись Богу: Он услышит твои молитвы. Не ропщи ни на Него, ни на Государя; это будет безрассудно и грешно. Нам ли постигнуть неисповедимые суды Непостижимого? Я ни разу не возроптал во все время моего заключения и за то Дух Святый дивно утешал меня.

Подивись, мой друг, и в сию самую минуту, когда я занят только тобой и нашею малюткой, я нахожусь в таком утешительном спокойствии, что не могу выразить тебе.

О милый друг, как спасительно быть христианином! Благодарю моего Создателя, что Он меня просветил и что я умираю во Христе, это дивное

спокойствие порукой, что Творец не оставит ни тебя, ни нашей малютки. Ради Бога не предавайся отчаянию: ищи утешения в религии, Я просил нашего священника посещать тебя. Слушай советов его и поручи ему молиться о душе моей. Отдай ему одну из золотых табакерок в знак признательности моей или, лучше сказать, на память, потому что возблагодарить его может только один Бог за то благодеяние, которое он оказал мне своими беседами.

Ты не оставайся здесь долго, а старайся кончить скорее дела свои и отправься к почтеннейшей матушке. Проси ее, чтобы она простила меня; равно всех родных своих проси о том же. Катерине Ивановне и детям ее кланяйся и скажи, чтобы они не роптали на меня за М.П.[33], не я его вовлек в общую беду: он сам это засвидетельствует. Я хотел было просить свидания с тобою; но раздумал, чтоб не расстроить себя. Молю за тебя и Настиньку и за бедную сестру Бога, и буду всю ночь молиться. С рассветом будет у меня священник, мой друг и благодетель, и опять при-

частит. Настиньку благословляю мысленно нерукотворенным образом Спасителя и поручаю всех вас святому покровительству живого Бога. Прошу тебя: более всего заботься о воспитании ее. Я желал бы, чтобы она был воспитана при тебе. Старайся перелить в нее христианские чувства — и она будет счастлива, несмотря ни на какие превратности в жизни, и когда будет иметь мужа, то осчастливит и его, как ты, мой милый, мой добрый неопеченный друг, счастливила меня в продолжение восьми лет. Могу ли, мой друг, благодарить тебя словами: они не могут выразить чувств моих. Бог тебя наградит за все. Почтеннейшей Прасковье Васильевне моя душевная, искренняя, предсмертная благодарность. Прощай! Велят одеваться. Да будет Его Святая воля.
Твой истинный друг К. Рылеев.

Не трудно понять, что он разумел под словами Духа Святого и Христа!

Он сделал к письму коротенькую приписку, в которой распоряжался какою-то неваж-

ной суммой, будто ехал на дачу. Он был из числа тех трех несчастных, которые сорвались с петли и были повешены вторично. Говорят, он сказал при том: «И в этом неудача!» Можно сказать, что он погиб от несварения в желудке неразжеванной пищи.

3. Сергей Иванович Муравьев-Апостол, сын бывшего в Мадриде русским посланником Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола (человека необыкновенного ума, познаний, учености и талантов), воспитан был в Париже, в Политехническом училище, служил в Семёновском полку и был во время бунта (в 1820 г.) командиром роты его величества, оказавшей непослушание. Он был любим и уважаем своими солдатами, употреблял все средства, чтоб удержать их, но не успел в том. Его перевели в армию подполковником в Черниговский пехотный полк. Вероятно, что эти неудачи по службе распалили дремавшие в нем страсти.

Я видал Сергея Ивановича в доме Алексея Николаевича Оленина: он был не очень общителен, но учтив, приветлив и приятен в обращении, — разумеется, с душком аристо-

кратическим. В тесном кругу был он весел и остер. Однажды Оленин жаловался на необразованность нашей публики. В одном публичном чтении в Императорской библиотеке слетело с верхней галереи яблоко. «Cela doit vous faire plaisir, — сказал Муравьев, — on a écoute avec fruit»[34].

Нравом он казался очень кроток, и в нем никак нельзя было подозревать того исступленного революционера, того безумного предводителя шайки мятежников (и еще обманутых), каким он явился впоследствии. Общество людей, в обыкновенное время, похоже на озеро, гладкое в безветрие. Когда буря всколыхнет его, поднимутся на поверхность такие уродливые гадины, о существовании которых нельзя было бы и подумать. Конечно, Сергей Муравьев получил идеи и направление от воспитания своего во Франции, но сколько молодых русских, воспитанных там, остались чистыми и верными!

По всему видно, что Сергей Муравьев действовал решительно, твердо, по внутренним убеждениям, и остался им верен до конца. Он привезен был в петербургскую крепость в

конце января. Когда его посадили в каземат, он написал на обороте оловянных тарелок, на которых подавалось кушанье арестантское: «Сергей Муравьев здесь». С тех пор стали давать им посуду глиняную. Отцу позволили посетить его в тюрьме. Старый дипломат огорчился, увидев сына своего в изодранном мундирном сюртуке, обрызганном кровью (Сергей Муравьев был ранен, когда его взяли), и сказал, что пришлет ему другое платье. «Не нужно, — отвечал сын, — я умру с пятнами крови, пролитой за благо отечества!» Такое ослепление непостижимо! Несчастные слепцы не видели, что ведут свое отечество на край гибели. Удайся хоть часть их безрассудного, нелепого и глупого замысла, пропала бы Россия, стоявшая при Александре на высокой степени славы и могущества.

Я полагаю, что виной действий Сергея Муравьева была семеновская история. Не случись ее, он преспокойно прослужил бы в гвардии, получил бы полк или поступил бы в флигель-адъютанты, женился бы на богатой барышне и был бы теперь где-нибудь хорошим военным губернатором. Нет сомнения,

что начала либерализма были питаемы в нем воспитанием и обучением во Франции, но они заглохли бы в шуме света, высохли бы от лучей царской милости: остался б человек благородный, умный, полезный отечеству.

Он командовал в Семеновском полку ротой его величества, которая любила его как отца. Прибыв благовременно в казармы, он успел было усмирить волнение, но какая-то нелепая весть вновь воспалила солдат. «Ваше высокоблагородие! — кричали они, — не троньте нас, мы идем за своих».

Перевод его в армию, заградив ему путь службы, возбудил ненависть к престолу в высшей степени, беседа с Пестелем и другими поддерживала этот огонь, и Муравьев ринулся в бездну.

Достоинно замечания, что одним из первых крикунов-либералов в Южной армии был знаменитый впоследствии начальник Штаба жандармов, Леонтий Васильевич Дубельт. Когда арестовали участников мятежа, все спрашивали: «Что же не берут Дубельта?»

Впрочем, долг справедливости требует сказать, что Дубельт, в последней своей старо-

сти, вел себя как честный и благородный человек, и если не сделал много добра, то отвратил много зла и старался помочь и пособить всякому. Он был очень полезен при бестактном Бенкендорфе и при добром, умном, но беспечном Орлове. Главным недостатком его было, что он обещал многое, чего не мог исполнить. Еще имели на него большое влияние женские глазки.

Брат Сергея Ивановича, Исполит, убит был при усмирении мятежа при Белой Церкви. Матвей Иванович, другой брат, человек слабо телосложения, малорослый, тщедушный (тяжело раненный в 1813 г.), как видно, увлекся Сергеем: увидев всю важность своего преступления, он впал в отчаяние и искренно раскаялся. По прощении осужденных за мятеж, он поселился в Москве.

4. Подпоручика Бестужева-Рюмина я не знал, слышал только, что он был нечестивый, бестолковый фанатик, не знавший сам, что говорит и делает.

5. Петр Каховский, уроженец Смоленской губернии, сделался мне известен летом в 1825 году, когда он приходил в гости к Кюхельбе-

керу, жившему у меня вовремя пребывания семейства моего на даче. Он был человек с виду невзрачный, с ничтожным лицом и оттопырившеюся губой, которая придавала ему вид какой-то дерзости. Образование его было недалёкое. Известно, что он был убийцей Милорадовича, полковника Стюрлера и еще ранил одного офицера. Однажды вечером, когда я пил чай с Кюхельбекером, пришел к нему Каховский и между прочим рассказывал о приключениях своего детства. Он был в каком-то пансионе в Москве, в 1812 году, когда вступили туда французы. Пансион разбежался, и Каховский остался где-то на квартире. В этом доме поселились французские офицеры и с мальчиком ходили на добычу. Однажды приобрели они несколько склянок разного варенья. Нужно было откупорить. За это взялся Каховский, но как-то неосторожно засунул палец в горлышко склянки и не мог его вытащить. Французы смеялись и спрашивали, как он освободит свой палец. «А вот как!» — сказал мальчик и, размахнувшись, разбил склянку об голову одного француза. Его поколотили за эту дерзость и выгнали. Это начало обеща-

ло многое, и он сдержал обещанное.

6. Князь Сергей Трубецкой, самая жалкая фигура в этом кровавом игрище. Длинный, сухопарый, носастый, женатый на дочери графа Лавалля, образованный по-французски, как все ему подобные, умом ограниченный, сердцем трус и подлец, не знаю, почему он вошел в славу и почет у наших либералов. Как мужики боялись в бунте бросать казенными дровами, так и либералы, проповедовавшие равенство, охотно забирали под свои знамена князей и князьков всякого рода, и Трубецких, и Оболенских, и Щениных, и Шаховских, и Голицыных, и Одоевских, и графов, и баронов. Это звучит хорошо!

Князя Трубецкого все знали за добряка и самого ничтожного человека, и потому именно не могли бы подозревать не только в начальстве над заговорщиками, но и участии с ними. Он и повел себя удивительно. 12-го числа был у Рылеева на сходбище, условился в действиях, но, проснувшись на утро 14-го числа, опомнился, струсил, пошел в штаб, присягнул новому государю и спрятался у свояка своего графа Лебцельтерна, австрийского по-

сланника. Когда его схватили и привели к государю, он бросился на колени и завопил: «Жизни, государь!» Государь отвечал с презрением: «Даю тебе жизнь, чтоб она служила тебе стыдом и наказанием». Он пережил время заточения и живет ныне в полуденной России.

7. Вильгельм Карлович Кюхельбекер, комическое лицо мелодрамы. Он воспитывался в лицее с Пушкиным, Дельвигом, Корфом и др., успел хорошо в науках и отличался необыкновенным добродушием, безмерным тщеславием, необузданным воображением, которое он называл поэзией, и раздражительностью, которую можно было употреблять в хорошую и в дурную сторону. Он был художав, долговяз, неуклюж, говорил протяжно с немецким акцентом. По выходе из лицея был он учителем в одной из петербургских гимназий, потом поехал в чужие края секретарем при Александре Львовиче Нарышкине, который было полюбил его, но вскоре принужден был с ним расстаться.

В Париже Кюхельбекер свел знакомство с какими-то либеральными литераторами и

вздумал читать на французском языке лекцию в Атенее о литературе и политическом состоянии России, наполненную вздорными идеями, которые тогда (1820 г.) были в моде. Часть публики смеялась над ним, другая рукоплескала его выходкам. В конце речи он сделал какое-то размашистое движение рукой, сшиб свечу, стакан с водой, хотел удержать и сам слетел с кафедры. Один седой якобинец слушал его внимательно и поддержал его словами: «Берегите себя, молодой человек! Ваше отечество нуждается в вас». Нарышкин, узнав об этом, взбесился и выгнал от себя Кюхельбекера, который пропал бы в Париже без помощи благородного Василия Ивановича Туманского (писателя с замечательным талантом, неизвестно почему оставившего службу и свет); он же помог Кюхельбекеру пробраться в Россию.

Здесь он жил то в Москве, то в Петербурге, издавал в Москве с князем Одоевским журнал «Мнемозину», потом участвовал в разных изданиях петербургских. Пушкин любил Кюхельбекера, но жестоко над ним издевался. Жуковский был зван куда-то на вечер и не

явился. Когда его спросили, зачем он не был, он отвечал: «Мне что-то нездоровилось уж накануне, к тому же пришел Кюхельбекер, и я остался дома». Пушкин написал:

*За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно,
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.*

Кюхельбекер взбесился и вызвал его на дуэль. Пушкин принял вызов. Оба выстрелили, но пистолеты заряжены были клюквой, и дело кончилось ничем. Жаль, что заряд Гекерна был не клюквенный! Кюхельбекер служил в 1824 году на Кавказе, где приятелем его был Грибоедов, встретивший его у меня и с первого взгляда принявший его за сумасшедшего. На Кавказе он тотчас наделал глупостей, и Ермолов, называвший его «хлебопекарем», выпроводил чудака. В Петербурге он занимался литературой, и в последнее лето (1825 г.) жил у меня, когда семейство мое было на даче, как я сказал, говоря о Каховском. В сентябре он от меня выехал и поселился в доме Булатова, что ныне Китнера, на углу Почтамтской улицы и Исаакиевской площади. В обвинитель-

ном акте сказано, что он приступил к обществу вместе со многими другими; потом, что его приняли после получения известия о смерти Александра, или даже накануне происшествия. В воскресенье 29 ноября он обедал у меня, был тих, скромн, изъяслял сожаления о смерти государя и прибавлял, улыбаясь: «Добрый был человек Александр Павлович; другой царь не так поступил бы со мною».

14-го декабря, когда я, в собрании моего семейства (из посторонних были при том Булгарин, племянник его, Генерального штаба подпоручик, Демьян Александрович Искрицкий и маклер Толченев), читал манифест, раздавался громкий звон колокольчика в передней, и вошел Кюхельбекер, расстроенный, со взглядом театрального бандита, и, не здороваясь ни с кем, подошел и спросил у меня:

— Что вы читаете? Кажется, манифест?

— Да, манифест. Слушайте! — отвечал я и продолжал чтение, а когда остановился на одном каком-то пункте, он спросил:

— А позвольте узнать, от которого числа отречение Константина Павловича?

Я отвечал:

— Я и не видал. Посмотрим! От 26-го ноября.

— От 26-го, — возразил он, — хорошо! Прощайте!

Булгарин, с которым он в то время был на ножах, сказал ему, подавая руку:

— Здравствуйте, Вильгельм Карлович!

Он отвечал: «Здравствуйте и прощайте!» С этими словами он ринулся из комнаты.

Матушка спросила у меня, что с ним случилось.

— Ничего, — отвечал я, — вероятно, идет оду на восшествие на престол.

Это было часу в двенадцатом утра. Вскоре потом актер Каратыгин и еще кто-то встретили его идущего в исступлении к Исаакиевской площади.

— Слышали ль вы, — спросил один из них, — на Исаакиевской площади бунт.

— Знаю, — отвечал Кюхельбекер, — это наше дело.

Подвиг его на площади описан в книге барона Корфа, который, однако, щадя школьного своего товарища, не называет его по имени. Он метил пистолетом в великого князя

Михаила Павловича, которому был обязан своим воспитанием — он был его пансионером, до вступления в лицей. Достоинно замечания, что люди сметливые и проворные не успели бежать, а взбалмошный и бестолковый хлебопекарь утек из Петербурга и шел бы за границу, если бы сам не сделал колоссальной глупости.

Когда сделалось известным, что Кюхельбекер бежал, приняты были все средства, чтоб узнать, где он, и схватить его. И меня при этом тревожили. В самый день 14-го декабря часу в первом ночи, когда все в доме у меня улеглись спать, раздался громкий звон колокольчика у дверей. Я вскочил с постели, накинул на себя халат и вышел в гостиную. Двери отворились, и вошел полицмейстер Чихачев, сопровождаемый квартальными, жандармами, драгунами и т. п. Не извиняясь в том, что потревожил меня, он сказал мне: «Извольте отвечать на эти вопросы» — и подал бумагу, на которой было написано: «Где живет Кюхельбекер? Где живет Каховский?» При этом имени написано было в скобках: «(у Вознесенского моста, в гостинице Неаполь, в доме

Мюссара)». Было еще несколько имен, которых не упомяну. Я отвечал:

— Кюхельбекер живет, сколько я знаю, неподалеку отсюда в доме Булатова. У Каховского адрес показан, но верно ли, мне неизвестно. О прочих не знаю.

— Точно ли так? — спросил Чихачев.

— Точно!

— Знаете ли вы, кто написал это? Сам государь!

— Хорошо пишет! — сказал я.

Полицмейстер откланялся.

В четверток (17-го декабря) пришел ко мне брат мой, стоявший в карауле в Зимнем дворце двое суток. Мы пошли с ним пройтись по улицам и около четырех часов подошли обратно к моей квартире (в доме Бремме) на углу Новоисаакиевской улицы и Исаакиевской площади. Я спросил, будет ли он у меня обедать. Брат извинялся тем, что не хочет в нынешнее смутное время оставлять свою роту. Вдруг увидели мы жандарма, который усиливался разобрать прозвание домохозяина на бляхе дома.

— Кого тебе надобно? — спросил я.

— В доме Бремме ищу коллежского советника Греча.

— На что тебе?

— Обер-полицмейстер просит его прийти тотчас к нему.

— Я этот Греч, — отвечал я. — Ступай и скажи, что я сейчас буду.

С тем вместе сказал я брату: «Ты знаешь, куда я иду. Если не ворочусь, отыщи меня и приходи ко мне».

Нанял извозчика, заехал к Булгарину (жившему в Офицерской, в доме Струговцова, ныне Сельского) и объявил, куда еду. Когда я вошел в гостиную обер-полицмейстера, Александра Сергеевича Шульгина, он, хватив полный стаканчик рому, и, вероятно, с утра не первый, сказал мне довольно учтиво:

— Я должен попросить у вас объяснения по одному делу и прошу вас сказать сущую правду, по долгу чести и присяги.

— И без этого предисловия, во всяком случае скажу вам сущую правду. Что вам угодно знать?

— Знаете ли вы Кюхельбекера?

— Знаю и очень коротко: он жил у меня

все нынешнее лето.

— И вы его узнаете, когда его вам покажут?

— Непременно.

— Итак, пожалуйста.

Он ввел меня в другую комнату. Там поднялся с софы высокий, худощавый молодой человек.

— Кюхельбекер ли это?

— Нет!

— А кто он?

— Не знаю.

Тогда молодой человек возопил жалким голосом:

— Как это, Николай Иванович, вы не хотите узнать меня?! Сколько раз видали меня у Александра Федоровича Воейкова. Я Протасов, племянник Александры Андреевны.

Я взгляделся и вспомнил, что действительно его там видал.

— Довольно, — сказал Шульгин, — нам нет нужды знать, кто он; довольно того, что он не Кюхельбекер.

— В этом я могу вас уверить, — сказал я. — Да как вы попали на этого господина?

— Мы ищем Кюхельбекера по сообщенным нам приметам. Вот полиция нашла этого долговязого господина, как он кутил в загородных трактирах, и наложила на него руку. Извините, что я вас обеспокоил.

— Очень рад, что не больше, — отвечал я и попросил скорее отпустить невинного.

Полиция искала Кюхельбекера по его приметам, которые описал Булгарин очень умно и метко. Но в Петербурге Кюхельбекера не было.

Он не знаю как пробрался до Варшавы и оттуда легко успел бы уйти за границу; если б он говорил и имел дело только с поляками и жидами, то, вероятно, ускользнул бы от поисков, но судьба навела его на русских. Он вошел в одну харчевню или пивную лавочку в Праге (предместье Варшавы) и, увидев пирующих там солдат, подсел к ним, начал беседовать и вздумал ни с чего потчевать их пивом. В этой беседе открылся он весь, как был и как описан в приметах. Один из присутствующих, унтер-офицер гвардии Волынского полка Григорьев, догадался, кто должен быть этот взбалмошный угодитель, и закричал:

«Братцы, возьмите его: это Кюхельбекер!» Раба божия схватили, заковали и отправили в Петербург.

Так как главной его виной было, что он метил пистолетом в Михаила Павловича, великий князь просил о пощаде его. Кюхельбекер не был сослан в Сибирь, а сидел несколько лет на гауптвахтах в Финляндии и в западных губерниях. Между прочим содержался он в Динабургской крепости, но ходил на свободе и занимался обучением детей коменданта. Наконец был освобожден, жил у сестры своей (Глинки) в Смоленской губернии и там умер. Великий князь, конечно, поступил великодушно, испросив облегчение судьбы несчастного, но Кюхельбекер был взбалмошный полупомешанный человек и не мог подлежать суду уголовному. Гораздо справедливее и человеколюбивее было бы отправить его на житье в деревню к сестре в самом начале. Виноваты были те, которые взбаламутили слабую голову.

8. Михаил Карлович Кюхельбекер, брат Вильгельма, но мало на него похожий, твердый характером, скромный, хороший мор-

ской офицер, правдивый и неуступчивый. Он видел все сумасбродство своего брата и старался его удерживать. «Вообразите, — говорил Вильгельм, — брат Михаил считает меня дураком». Михаил Кюхельбекер увлечен был в заговор, вероятно, дружбой с Николаем Бестужевым и Торсоном и безропотно подвергся постигшему его жребию.

Братья не видались во все продолжение процесса. Когда их вывели из каземата (13 июля 1826 года) на гласис Петропавловской крепости выслушать приговор, а может, для отправления в Кронштадт, восторженный Вильгельм, еще размягченный в тюрьме, кинулся к Михаилу со слезами и с высокопарными фразами о покаянии, раскаянии, покорности судьбе и т. п. Михаил отвечал твердо и спокойно: «Я знал, что делал, знал, что произойдет из этого, и безропотно подвергаюсь заслуженному».

Когда сосланным в Сибирь предложено было, в напутствие, исполнить долг христианский, покаянием и причащением святых тайн, Вильгельм, приобщившись с глубоким чувством и горькими слезами, просил пасто-

ра смягчить затверделое сердце брата. Михаил встретил пастора учтиво, почтительно, но спокойно и сказал: «Не чувствую теперь необходимости приобщаться. Еду в Сибирь по решению правительства, как, бывало, отправлялся в поход. Не зная за собой никакого греха, думаю, что могу ехать и так».

Он отправился в Сибирь и безмолвно исполнял все, чего от него требовалось. По миновании годов каторги он перешел на поселение и там познакомился с одной молодой женщиной (кажется, дочерью священника), женился на ней и был совершенно счастлив! Что ж? Через несколько лет узнали, что он когда-то крестил с нею ребенка, и брак был расторгнут на основании богопротивного закона о духовном родстве. Что было с ним потом, не знаю. Думаю только: «Должно же непременно быть возмездие на том свете за бедствия, претерпеваемые людьми в нынешнем от варварских законов, вымышленных невежеством, злобой и фанатизмом».

9. Александр Иванович Якубович, капитан знаменитого Нижегородского драгунского полка, был человек умный и образованный,

но самый коварный, бессовестный, подлый и зверский из всех участников заговора и мятежа. В молодости служил в гвардии и был сослан на Кавказ за участие в поединке графа А. В. Завадовского с Шереметевым (который в нем был убит). Грибоедов, бывший секундантом Завадовского, отправился туда на службу и, поступив в канцелярию Ермолова, приобрел его уважение и дружбу. Якубович, недовольный Грибоедовым по случаю этой дуэли, вызвал его в Тифлисе и имел зверство умышленно ранить его в правую руку, чтоб лишить Грибоедова удовольствия играть на фортепиано. К счастью, рана была неопасна, и Грибоедов, излечившись, мог играть по-прежнему.

Якубович храбро сражался с горцами, был ранен в голову и приехал в Петербург летом 1825 года. Он ходил с повязкой на голове, говорил громко, свободно, довольно умно и красноречиво и вошел в сношения с шайкой Рылеева. В нем заговорщики видели нечто идеальное, возвышенное: это был Дантон новой революции.

23 ноября был я на именинах Александра Бестужева (в квартире Сомова, в доме Амери-

канской компании). Беседа была приятельская, веселая, живая, но довольно скромная. В одиннадцатом часу приехал из театра Якубович и начал говорить очень дельно об обязанности офицера, отряженного на отдельный пост: он утверждал, что такой офицер не должен связываться словами данной ему инструкции, а обязан действовать по своим соображениям. Собственно либерального и предосудительного не было сказано ни слова: в то время не знали еще о кончине государя.

Из донесения следственной комиссии видно, что Якубович, собственно, не вступал в заговор, но обещал заговорщикам свои услуги. Видно, что он поступал двулично. На площади он подходил к государю и предлагал ему свои услуги, чтоб убедить мятежников сдаться. Государь поручил ему сказать им, что дарует прощение всем, кроме главных зачинщиков. Якубович пошел к ним и, воротясь, донес, что они не соглашаются. Он заговорил еще что-то вполголоса. Государь наклонился, чтоб его выслушать. Вероятно, Якубович имел намерение убить государя, но у него не стало духу к исполнению.

Вечером приехал он в дом генерал-губернатора, чтоб узнать, что делает граф Милорадович. В это время ехал к графу, лежавшему в конногвардейских казармах, адъютант его, Александр Павлович Башуцкий. Якубович предложил свезти его в своей карете четверкой. Башуцкий согласился и, войдя в карету, почувствовал, что сел на пистолеты.

— Это что?

— Они заряжены, — сказал Якубович. — Бунтовщики хотели меня убить за то, что я не соглашался войти в заговор с ними.

Якубович является самым гнусным лицом в этом деле. Другие разбойники и убийцы — Каховский, Щепин и т. п. действовали бесчестно, зверски, но с каким-то убеждением, а он играл и словом и делом. Имей он силу, не знаю, что бы вышло.

Я слышал, что и в Сибири оказывал он ту же бессовестность, то же коварство и был наказан, как наказывают каторжников. И такой человек жил и действовал между нами! И мы разделяли с ним трапезу, мы подавали ему руку!

10. Александр Александрович Бестужев, ха-

рактер совершенно противоположный предыдущему, добрый, откровенный, благородный, преисполненный ума и талантов, красавец собой. Вступление его в эту сатанинскую шайку и содействие его могу приписать только заразительности фанатизма, неудовлетворенному тщеславию и еще фанфаронству благородства.

Отец Бестужева, Александр Федосеевич, умерший рано, был, как я слышал, человек умный и почтенный: он издал две книги о воспитании военного юношества. Мать была женщина простого звания. Александр Бестужев учился в Горном кадетском корпусе и, вступив в военную службу, был адъютантом главноуправляющего путями сообщения, генерала Бетанкура, а потом поступившего в ту же должность герцога Александра Виртембергского, брата императрицы Марии Федоровны. Он влюбился было в прелестную дочь Бетанкура, успел снискать и ее благоволение, но отец не соглашался на брак его. Бестужев впал в уныние и искал развлечений при скучной и безотрадной должности адъютанта докладывать о приходящих и отказывать до-

кучливым.

Познакомившись с Рылеевым, который был несравненно ниже его и умом, и дарованиями, и образованием, заразился его нелепыми идеями, вдался в омут и потом не могли совестился выпутаться, руководствуясь правилами худо понимаемого благородства; находил, вероятно, удовольствие в хвастовстве и разглагольствиях, и погиб! Вероятно, мучило его и желание стать выше, подняться до степени аристократов, игравших роль в обществе.

Мало ему было славы и чести в русской литературе, в которой он явился с блистательным успехом и с некоторыми особенностями в мыслях и оборотах, которые один приятель назвал Бестужевскими каплями. Повесть его «Амалат-Бек» и некоторые другие, написанные им под гнетом тяжелых обстоятельств, среди тундр якутских или под солдатской шинелью в ущельях Кавказа, свидетельствуют о его неотъемлемых, своеобразных талантах, которые, созрев в жизни благоприятной, дали бы ему почетное место в первом ряду русских писателей.

Он просил меня из Якутска о присылке ему книг. Дело было щекотливое. Благонамеренные книги глупы или по крайней мере скучны. Других нельзя было отправить. Что же я сделал? Послал ему несколько латинских классиков с переводом и пособия к изучению латинского языка. Он этим воспользовался и через несколько времени стал понимать и читать римлян, которым прежде того вздумал было подражать.

В мятеж действовал он в Московском полку, но не он, а капитан князь Щепин-Ростовский зверски ранил несколько человек из начальников, старавшихся образумить ошеломленных солдат. Потом отправился он на площадь, впереди увлеченного батальона, размахивая саблей и крича: «Ура Константин! Долой Николая! Извести картофельницу!» (разумея Александру Федоровну). Народ думал, что не офицеры ведут солдат, а солдаты их гонят. Одна дама, увидев его на Исаакиевской площади в окно впереди неистовой толпы, открыла форточку и закричала: «Александр Александрович! Ступайте сюда. Здесь вас не тронут!» Он был главным действующим ли-

цом на площади и, когда мятежники разбежались, успел уйти и где-то скрыться. На другой день, услышав, что забирают людей невинных, что главные зачинщики стараются слагать вину на других, он явился вечером на гауптвахту Зимнего дворца и сказал дежурному по караульням полковнику:

— Я Александр Бестужев. Узнав, что меня ищут, явился сам.

Это было произнесено спокойно, просто. Увидев моего брата, бывшего в карауле, он сделал вид, будто его не знает.

— Вяжите его, — сказал солдатам один унтер-офицер.

— Не троньте его, — возразил Василий Алексеевич Перовский, только что назначенный в флигель-адъютанты. — Он не взят, а сам явился, — и повел его к государю.

Бестужев просто, откровенно и правдиво изложил перед государем все, как было, и умел заслужить внимание прямодушного Николая. Слова Бестужева принимаемы были без малейшего сомнения. Государь спросил у него:

— Скажи правду, участвовали ли в вашем

деле журналисты?

— Нет, ваше величество, они не имели о нем ни малейшего понятия.

— Как же это? Вы были с ними в беспре-
станных сношениях.

— Булгарину мы не могли ввериться. Он поляк, и дело России ему чуждо. Греча мы не хотели запутать: он не одного с нами мнения, притом он отец семейства, да еще слишком доверчив и откровенен: тотчас разболтал бы нашу тайну.

Когда допрос кончился и Бестужева пове-
ли в крепость, великий князь Михаил Павло-
вич нагнал его на крыльце и спросил убедит-
тельно:

— Скажи правду, Бестужев, знали ли Греч
и Булгарин о вашем замысле?

— Ваше высочество! — сказал Бестужев. —
Клянусь всем, если еще могу клясться: они
были чужды всему этому делу и понятия о
нем не имели.

Вследствие этого все наветы и доносы бы-
ли отвергаемы государем и нас не тронули.
Долгом считаю объявить об этом в честь Бес-
тужева и для выражения ему чувств искрен-

ней благодарности за могилой. Он видит и слышит меня.

Таков он был и во все продолжение производства дела: говорил прямо и просто сущую правду и, сколько совместно с нею, щадил других. Государь, довольный его откровенностью и правдивостью, обещал ему прощение и сдержал свое слово, но по-своему. Его не отсылали на так называемую каторгу, но отправили на жительство в русский Сорренто — Якутск, а оттуда перевели в кавказский корпус солдатом. Бестужев нес службу безропотно и усердно, получил чин унтер-офицера, Георгиевский крест, был произведен в прапорщики и погиб в деле с горцами в лесу. Тело его не было найдено.

Повышению его по службе и смягчению его судьбы повредила одна история. Он имел любовницу, унтер-офицерскую дочь. Она застрелилась у него в квартире. Обстоятельства этого самоубийства были неясны. Подозревали и обвиняли в умерщвлении ее ревность Бестужева. Дело это известно Богу. Нам остается только жалеть от глубины сердца о потере человека, который, при другой обстановке,

сделался бы полезным своему отечеству, знаменитым писателем, великим полководцем: может быть, граф Бестужев отстоял бы Севастополь. Бог суди тех сумасбродов и злодеев, которые сгубили достойных иной участи молодых людей и лишили Россию благороднейших сынов! Остался урок потомству, да пользуются ли уроками? Послушайте, что говорят и толкуют ныне! (1859 г.)

11. Николай Александрович Бестужев, капитан-лейтенант, старший брат Александра, человек редких качеств ума, рассудка и сердца, искренний мне друг, уступал Александру в блистательных талантах и в пылкости характера, но заменял эти качества другими, менее великолепными, но тем не менее достойными обратить на него внимание и уважение людей. Он был воспитан в Морском корпусе и уже гардемаринком был в действительном сражении при взятии англичанами 14-го августа 1808 года линейного корабля «Всеволод», бывшего под командой капитана Руднева. Корабль «Всеволод», отрезанный от эскадры впадшего в ребячество престарелого адмирала Ханыкова, был атакован двумя ан-

глийскими кораблями: один бил его с носу, другой с боку. Он не сдавался и тогда, когда из тысячи человек экипажа оставалось только восемьдесят. Флаг его был не спущен, а сбит неприятельским ядром. Бестужев был на одном из катеров, которые завозили канат.

Я познакомился с ним в 1817 году, отправляясь во Францию на корабле «Не тронь меня», на котором он был лейтенантом. Мы с ним подружились и оставались в неразрывных сношениях до несчастной эпохи 14-го декабря.

Бестужев занимался и литературой, писал умно и приятно. В «Сыне Отечества» напечатано любопытное его описание гибели брига «Фальк», взятое Головниным в собрание статей о важнейших кораблекрушениях. В последнее время находился он при начальнике маяков в Балтийском море вице-адмирале Леонтии Васильевиче Спафарьеве и лично содействовал улучшению этой части морского управления, но скучал и искал развлечения. Главной его слабостью была страсть к женскому полу, особенно к порядочным замужним женщинам. И в Кронштадте и в Петер-

бурге было у него несколько нежных связей, особенно занимала его одна любовь кронштадтская. И женщины привязывались к нему легко и страстно.

Но как мог человек умный, рассудительный принять участие в этом сумасбродном, нелепом предприятии? Я могу растолковать его тем только, что Николай Бестужев поступил в заговор позже своих братьев, которых он любил глубоко: он решился разделить с ними ожидавшую их участь и бросился стремглав в бездну. Направлению его ума содействовало еще другое обстоятельство. В 1821 году ходил он, как говорят моряки, «на эскадре» в Средиземное море и несколько дней пробыл в Гибралтаре. Там видел он, с высоты утеса, как королевские испанцы расстреливали на перешейке взятых ими безоружных либералов, сообщников Риего, — расстреливали как татей и разбойников, сзади. Это зрелище заронило в душу его ненависть к деспотическому испанскому правительству, да русское-то чем было виновато? У нас только что кололи аракчеевскими и голицынскими булавами, а кнуты еще были оку-

нуты в святую воду! Но кто проникнет в душу человека, кто постигнет ее движения и порывы?

*Сердце наше кладезь мрачный,
Тих, спокоен сверху вид,
А спустишь на дно — ужасный
Крокодил на нем лежит.*

Николай Бестужев обедал у меня на именинах 6-го декабря с братьями своими, Александром и Павлом. Николай пришел позже, и я сказал ему:

— Пришел, спасибо. А я думал, что ты изменишь!

— Никогда не изменю! — сказал он твердым голосом, взглянув на Александра.

А я, олух, еще пожал ему руку!

14-го числа он вывел на площадь Гвардейский экипаж. В нем было несколько матросов, служивших под командой Бестужева на походе в Средиземное море. «Ребята! Знаете ли вы меня? Пойдемте же!» И они пошли. Я видел, как экипаж, мимо конногвардейских казарм, шел бегом на площадь. Впереди бежали в расстегнутых сюртуках офицеры и что-то кричали, размахивая саблями. Я не узнал в

числе их Бестужева, да и до такой степени был уверен в неучастии его, что, услышав о делах Александра, сказал с сердечным унынием: «Бедный Николай Александрович! Как ему будет жаль брата!»

По прекращении волнения Николай Бестужев уехал на извозчичьих санях в Кронштадт; переночевав у одной знакомой старушки, он на другой день сбрил себе бакенбарды, подстриг волосы, подрисовал лицо, оделся матросом и пошел на Толбухин маяк, лежащий на западной оконечности Котлина острова. Там предъявил он командующему унтер-офицеру предписание вице-адмирала Спафарьева о принятии такого-то матроса в команду на маяк.

— Ну, а что ты умеешь делать? — спросил грозный командир.

— А что прикажете, — отвечал Бестужев, прикинувшись совершенным олухом.

— Вот картофель, очисти его.

— Слушаю, сударь, — отвечал он, взял нож и принялся за работу.

Полиция, не находя Бестужева в Петербурге, догадалась, что он в Кронштадте, и туда

послано было предписание искать его. Это было поручено одному полицейскому офицеру, который, лично зная Бестужева, заключил, что он, конечно, отправился на маяк, чтоб оттуда пробраться за границу. Прискакал туда, вошел в казарму и перекликал всех людей. «Вот этот явился сегодня», — сказал унтер-офицер. Полицейский посмотрел на Бестужева и увидел самое дурацкое лицо в мире. Все сомнения исчезли: здесь нет Бестужева, должно искать его в другом месте. Когда полицейский вышел из казарм, провожавший его денщик (бывший прежде того денщиком у Бестужева) сказал ему:

— Ведь новый-то матрос господин Бестужев: я узнал его по следам золотого кольца, которое он всегда носит на мизинце.

Полицейский воротился, подошел к мнимому матросу, который опять принялся за свою работу, ударил его слегка по плечу и сказал:

— Перестаньте притворяться, Николай Александрович, я вас узнал.

— Узнали? — сказал Бестужев. — Так поедем.

Военный губернатор отправил его в Петербург под арестом в санях на тройке. Когда приостановились перед гауптвахтой при выезде, он сказал случившимся там офицерам:

— Прощайте, братцы! Еду в Петербург: там ждут меня двенадцать пуль.

Дорогой по заливу, поравнявшись с полыньей, он хотел было выскочить из саней, чтоб броситься в воду, но был удержан. В Петербурге привезли его к морскому министру фон Моллеру, который, как все дураки, ненавидел в Бестужеве умного человека; он велел скрутить ему на спине руки и отправить днем по Английской набережной и по Адмиралтейскому бульвару в Зимний дворец. Один из адъютантов накинул на него шинель. Во дворце развязали ему руки и привели к императору.

— Вы бледны, вы дрожите, — сказал ему государь.

— Ваше величество! — отвечал Бестужев. — Я двое суток не спал и ничего не ел.

— Дать ему обедать! — сказал государь.

Бестужева привели в маленькую комнату Эрмитажа (в котором помещался тогда госу-

дарь по случаю переделки комнат Зимнего дворца), посадили на диване за стол и подали придворный обед.

— Я не пью красного вина, — сказал он официанту, — подайте белого.

Он преспокойно пообедал, потом приклонился к подушке дивана и крепко заснул. Пробудясь часа через два, встал и сказал:

— Теперь я готов отвечать.

Его привели в прежнюю залу. Там поклонился он Василию Алексеевичу Перовскому, как короткому знакомому, и, увидев нового флигель-адъютанта Алексея Петровича Лазарева, сказал ему:

— Ну, Алешка, теперь перестанешь шалить!

Его ввели в кабинет государя. Он не только отвечал смело и решительно на все вопросы, но и сам начинал говорить: изобразил государю положение России, исчислил неисполненные обещания, несбывшиеся надежды и объяснил поводы и ход замыслов. Государь выслушал его внимательно, и нет сомнения, что не одна истина, дотоле неизвестная, упала в его душу.

Обряд лишения чинов и дворянства был исполнен над флотскими офицерами в Кронштадте, на военном корабле. Их отвезли туда из петербургской крепости ночью (на 13 июля) на арестантском катере. Бестужев спокойно беседовал дорогой с командующим и караульными офицерами, не жаловался, не сетовал на судьбу.

— Я заслужил смерть, — говорил он, — и ожидал ее. Теперь все время, что проживу, будет для меня барышом и подарком. Но вот кого мне жаль — этих бедных юношей (указывая на приговоренных мичманов, спавших крепким сном молодости): они дети и не знали, что делали.

Так, Николай Александрович, они дети, но зачем те, которые знали, что делают, увлекали детей? Тяжкая ответственность за гибель этих юношей легла на вас, старших, умных, перед их родителями и перед Богом! Правительство в этом винить нельзя: оно еще смягчило наказание, по собственному вашему признанию!

В Кронштадте он взошел по трапу на корабль, бодро и свободно, учтиво поклонился

собравшейся там комиссии адмиралов и спокойно выслушал чтение приговора.

— Сорвать с него мундир! — закричал один из адмиралов, вероятно, породнившийся с Бестужевым посредством своей супруги.

Два матроса подбежали, чтоб исполнить приказание благонамеренного начальства. Бестужев взглянул на них так, что они остолбенели, снял с себя мундир, сложил его чин-нехонько, положил на скамью и стал на колени, по уставу, для переломления над ним шпаги. Когда его привезли назад в Петропавловскую крепость для отправления в ссылку, я пошел к военному генерал-губернатору, добрейшему Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову, и просил его дать мне свидание с Николаем Бестужевым.

— Родственник ли вы ему? — спросил Кутузов.

— Нет, ваше высокопревосходительство.

— Так нельзя.

— Никак нельзя?

— Никак!

— Но позвольте мне проститься с ним хоть письменно: он друг мне.

— Извольте.

Я сел за стол и написал несколько строк, продиктованных мне сердцем. Кутузов сам отдал их Бестужеву и рассказал мне, с каким восторгом несчастный принял этот привет дружбы.

И любовь его не оставляла. Одна дама прислала ему из Кронштадта свой портрет и колоду карт для препровождения времени гранд-пасьянсом. Бестужев, мастер на все руки, сберег рыбные кости от своего обеда,ковытаскал нитей из наволочки и из этих припасов, без всякого инструмента, смастерил красивенький гребешок: не знаю, дошел ли он по адресу. Через несколько лет, на танцевальном вечере Петра Ивановича Рикорда, где было несколько дам из Кронштадта, две молоденькие, хорошенькие девицы, дочери одного адмирала, посматривали на меня с большим вниманием и как бы хотели заговорить со мной, а я этого и не заметил. Им интересен был во мне друг друга их матери...

Бестужев скоро нашелся в ссылке, занимаясь чтением, живописью. В первые годы нарисовал он несколько акварельных портре-

тов, в том числе и свой — очень похожий, только по лбу шла глубокая морщина, проведенная страданиями. Потом занялся он механическими работами: придумал какую-то повозку, удобную для того края, и вообще старался быть сколь возможно полезным в своем кругу. Он скончался в 1854 году, не дождав-шись своего освобождения. Император Нико-лай Павлович лишал себя большого насла-ждения, заключающегося в праве миловать. Карает закон, но закон постановлен людьми и людьми же исполняется, а люди ошибаются на каждом шагу. Благодать же и милосердие исходят от Божества и не ошибутся никогда.

12. Михаил Александрович Бестужев, тре-тий брат, человек простой и недалкий, был лейтенантом во флоте и перешел потом в Московский полк (полагают, чтоб успешнее содействовать в мятеже); он участвовал в бунте без сознания, что поступает дурно. То же можно сказать и о четвертом, Петре Бесту-жеве: он был лейтенантом. Наказание сильно подействовало на душу последнего; он поме-шался в уме и был отдан матери с тем, чтоб жить у ней в Новгородской губернии, и там

умер. Пятый брат, Павел, мальчик живой и умный; воспитанный в Артиллерийском училище, был во время мятежа в верхнем офицерском классе. Его не удостоили чести принятия в этот гибельный круг, но он пострадал за родство с несчастными.

В августе 1826 года во время иллюминации, по случаю коронации, Павел Бестужев проталкивался в толпе народа на Невском проспекте, у Казанского моста, и за что-то поспорил с одним из прохожих, но без всяких последствий. Воейков, смотревший иллюминацию из окна книжного магазина Оленина, бывшего в доме Энгельгардта, где теперь магазин русских изделий, донес полиции, что Бестужев буянил на улице и произносил дерзкие речи; его отправили на Кавказ, где он несколько лет боролся в горах с черкесами, а в Сухум-Кале с убийственной лихорадкой. Он прилежно занимался артиллерией и придумал новые превосходные диоптры для прицела орудий; на отливку их он пожертвовал своим медным чайником. Изобретение его было найдено полезным, и он переведен был в бригаду, стоявшую в Москве. Он выслужил-

ся и, как я слышат, женился на любезной и богатой девице. Итак, уцелел хотя один Бестужев! Что случилось с Михаилом, не знаю.

13. Артамон Захарьевич Муравьев, полковник, командир Ахтырского гусарского полка, брат графини Канкриной, надутое, не весьма умное существо. Я бывал с ним на обедах у Чебышева и коротко его не знаю; только он отнюдь не походил на заговорщика.

14. Никита Михайлович Муравьев, сын Михаила Никитича, молодой, благородный, образованный, добрый человек, несколько серьезный и дикий, был офицером Генерального Штаба и находился среди самого омута заговора. Он был мечтателем, фанатиком либерализма. Увидев слишком поздно бездну, в которую ринулся с своими сообщниками, он ужаснулся и искренно раскаялся в своем непростительном заблуждении, которому началом была благородная любовь к отечеству.

Достоин замечания, каким образом зародились в нем идеи Запада. Он произведен был в офицеры в 1815 году и находился в штабе князя Волконского при вторичном занятии Парижа. Ему дали квартирный билет в та-

кой-то улице, под номером таким-то. Муравьев отыскивает дом — огромный, великолепный, и, не желая беспокоить жильцов бельэтажа, идет в верхний ярус и предъявляет билет. Его встречают досадой и жалобами:

— Мы люди бедные, живем в тесноте, делиться с вами не можем: подите в бельэтаж к г. Ледюку[35]: он живет на просторе, один, и поместит вас гораздо лучше.

Муравьев спускается по крыльцу, звонит у дверей. Отворяют.

— Monsieur Le Duc?

— Здесь, сударь, входите, — отвечает лакей и вводит его в комнаты.

Его встречает учтиво человек средних лет, благородной наружности и, увидев билет, говорит:

— Радуюсь, что ко мне на постой назначен русский. Извольте выбрать себе комнату.

Скромный офицер отвечает, что будет доволен всякой.

— Не угодно ли вот эту? — спрашивает господин, отворяя дверь в уютный кабинет с альковом, в котором стояла кровать.

— Очень охотно, — отвечает Муравьев, —

благодарю вас всепокорнейше.

— Да вы с дороги устали, вероятно, проголодались. Позвольте предложить вам завтрак.

— Принимаю с удовольствием.

В ту же минуту накрыли на стол и принесли великолепный завтрак с шампанским и проч. Хозяин радовался аппетиту молодого человека, потчевал его, стараясь угодить ему.

Насытившись, Муравьев встал, поблагодарил и сказал, что должен идти по службе. В передней спросил он у слуги: кто этот господин Ледюк?

— Это герцог Виченский.

— Следовательно, это господин де Коленкур, бывший послом в России?

— Да, сударь!

Муравьев поспешил воротиться в гостиную и извинялся перед хозяином.

— Нимало! — отвечал Коленкур. — Хорошо было бы, если б все поступали в земле неприятельской, как вы. Я искренно предан вашему государю, в нем одном вижу надежду на спасение Франции; о России сохраняю самое приятное воспоминание и считаю обязанностью

служить русским, чем могу. Вы одолжите меня, если будете ежедневным моим гостем. Вы найдете у меня общество, в котором не соскучитесь.

Действительно, общество было очень интересное: оно состояло из бонапартистов и революционеров, между прочими приходил очень часто Бенжамен Констан. Замечательно во Франции постоянное сродство бонапартизма с революцией: синий мундир подбит красным сукном. И нынешний Гришка Отрепьев, принизив Францию самым постыдным и оскорбительным игом, твердит о правилах 1789 года, низвергших династию Бурбонов. В этой интересной компании неопытный молодой человек напился правилами революции, полюбил республику, возненавидел русское правление. Удивительно ли, что он вступил в союз, составившийся для ниспровержения трона: в слепоте своей он воображал, что идет к блистательной цели.

Поэт Батюшков, двоюродный его брат, будучи всем обязан отцу, нежно любил сыновей. Батюшков состоял в двадцатых годах при посольстве в Неаполе, видел всю ничтож-

ность, всю гнусность революции и потом содрогался, видя казни, которым подвергаемы были не одни преступники, но также восторженные мечтатели и легкомысленные говоруны. Воротясь в Россию, он, вероятно, узнал от Никиты Муравьева о существовании тайных замыслов; может быть, и ему предложено было вступить в союз... Он ужаснулся и сошел с ума. Вот, по моему мнению, истинная причина расстройства его рассудка. Он возненавидел род Муравьевых, гнушался Никитой, проклинал его мать, называя ее по фамилии отца Колокольцовой...

В то время (1822) вышла моя «История русской литературы». В ней помещено суждение П. А. Плетнева о творениях Батюшкова, о его поэтическом даровании, суждение самое справедливое и благоприятное. Батюшков нашел в нем не только оскорбление, но и донос, жаловался на Плетнева, называя его, будто по ошибке, Плетаевым. Напрасно все мы (особенно честный, благородный Гнедич), не подозревая, чтоб болезнь его могла усилиться до такой степени, старались его образумить. В последний раз виделся я с ним, встретившись

в Большой Морской. Я стал убеждать его, просил, чтоб он пораздумал о мнении Плетнева. Куда! и слышать не хотел. Мы расстались на углу Исаакиевской площади. Он пошел далее на площадь, а я остановился и смотрел вслед за ним с чувством глубокого уныния. И теперь вижу его субтильную фигурку, как он шел, потупив глаза в землю. Ветер поднимал фалды его фрака... Всех лучше ладил с ним кроткий, терпеливый Жуковский, но и тот наконец с грустью в душе отказался от надежды образумить несчастного друга. И вот Россия лишилась гениального поэта, благородного человека, полезного гражданина! И сколько еще потеряла она от последствий этого бедственного стечения людей и обстоятельств.

Брат Никиты Муравьева, Александр, корнет Кавалергардского полка, молодой, тихий и недалний человек, удостоен был участия в заговоре и погиб ни за что.

15. Иван Иванович Пущин, один из воспитанников Царскосельского лицея, первого блистательного выпуска, благородный, милый, добрый молодой человек, истинный филантроп, покровитель бедных, гонитель

неправды. В добродетельных порывах, для благотворения человечеству вступил он на службу, безвозмездно, по выборам, в Уголовную Палату, познакомился, на беду свою, с Рылеевым, увлекся его сумасбродством и фанатизмом и сгубил себя. Он выстрадал с лишком тридцать лет в Сибири; был освобожден с прочими, женился и в нынешнем (1859) году умер от болезни в Петербурге. Я не имел случая видеть его по возвращении. Память о его уме, сердце и характере и глубокое сожаление о его несчастьи останутся навеки в глубине души моей. Брат его, капитан Гвардейского саперного батальона, человек тоже хороший и благородный, также пострадал.

16. Николай Иванович Тургенев, Достояна замечания судьба этого семейства. Отец их, Иван Петрович Тургенев, бывший куратором Московского университета, друг и товарищ Новикова, поплатился и пострадал за эту дружбу при гонении, воздвигнутом на мартинистов в конце царствования Екатерины II. Сколько можно догадываться, она преследовала в них не вольнодумцев, не якобинцев, а приверженцев наследника своего Павла Пет-

ровича. Это явствует и из того, что Павел, человек, конечно, не либеральный, освободил и возвысил всех их, лишь только вступил на престол.

У Ивана Петровича были четыре сына: Андрей, Александр, Николай и Сергей. Все они получили основательное и блистательное воспитание, сначала в Московском университете, потом в Геттингенском университете, и обещали принести своему отечеству большую пользу своими дарованиями, умом, познаниями и характером. Надежды эти не сбылись. Андрей, товарищ Жуковского, умер в молодых летах: память его осталась в прекрасной элегии, написанной его другом. Прочие трое были в государственной службе и шли вперед очень быстро и счастливо.

Каждый из них имел по несколько мест и, разумеется, с хорошим жалованьем: Александр был и директором Департамента духовных дел, и статс-секретарем в Государственном совете, и в Комиссии составления законов: немногое делал сам, прочее заставлял делать других, разъезжал с визитами, по обедам и балам, был человек умный, приятный и

очень добродушный, особенно если дело или лицо не касались мнений и интересов партии. А к какой партии он принадлежал? По службе — к Голицынской, анти-Аракчеевской, а по литературе — к Карамзинской. Свет литературный делился тогда на две, резко обозначенные, партии Шишкова и Карамзина. К первой принадлежали все Кутузовы, Кикин, И. С. Захаров, Хвостов (Александр Семенович), князь Шаховской и вообще большая часть членов Беседы любителей русского слова. К последней — Дмитриев, Блудов, Дашков, Тургенев, Жуковский, Батюшков, В. Л. Пушкин, Вяземский и т. д. Державин, Крылов, Гнедич держались середины, более склоняясь к последней.

Карамзинолатрия достигла у его читателей высшей степени: кто только осмеливался сомневаться в непогрешимости их идола, того предавали проклятию и преследовали не только литературно. Гораздо легче было ладить с самим Карамзиным, человеком кротким и благодушным, нежели с его исступленными сеидами. Дух партии их был так силен, что они предавали острацизму достойней-

ших людей, дерзавших не обожать Карамзина, и приближали к себе гнусных уродов, поддельывавшихся под их тон, как, например, вора Жихарева, воришку Боголюбова, мужеложника Вигеля, величайшего в мире подлеца Воейкова.

Второй драгоценностью этого круга был Жуковский. Его любили, честили, боготворили. Малейшее сомнение в совершенстве его стихов считалось преступлением. Выгоды Жуковского были выше всего. Павел Александрович Никольский, издавая «Пантеон русской поэзии», не думал, что может повредить Жуковскому, помещая в «Пантеоне» его стихотворения. Александр Тургенев увидел в этом денежный ущерб для Жуковского, которого сочинения тогда еще не были напечатаны полным собранием, и, однажды заговорив о них с Гнедичем на обеде у графини Строгановой, назвал Никольского вором. Гнедич вступился за Никольского. Вышла побранка, едва не кончившаяся дуэлью. Никольский, узнав о том, перестал печатать в «Пантеоне» сочинения Жуковского; об этом предмете, вероятно, придется мне говорить со временем. Эти ис-

ступленные фанатики требовали не только признания таланта в Карамзине, уважения к нему, но и самого слепого языческого обожания. Кто только осмеливался судить о Карамзине, видеть в его творениях малейшее пятнышко, тот, в их глазах, становился злодеем, извергом, каким-то безбожником. В. Л. Пушкин сказал о приверженцах Шишкова:

*А еще смеет кто Карамзина хвалить,
Наш долг, о людие, злодея истребить.*

То же можно было сказать о противной партии, переложив только первый стих: «И еще смеет кто Карамзина судить».

Приверженцы Карамзина составили особое закрытое литературное общество под названием Арзамаса, в которое принимали людей, поклявшихся в обожании Карамзина и в ненависти к Шишкову. Каждый при вступлении должен был прочитать похвальное слово, сатиру или что-нибудь подобное в восхваление идола и в унижение противника. Я был всегда ревностным читателем Карамзина, не по связям и не по духу партии, а по искренне-

му убеждению; ненавидел Шишкова и его нелепых хвалителей и подражателей, но не налагал на себя обязанности кадить Карамзину безусловно и беспрестанно, и потому не только не был принят в Арзамас, но и сделался предметом негодования и насмешек его членов. Приверженцы же Шишкова злились на меня и преследовали меня за действительную мою оппозицию. Впоследствии роли переменились. Например, Блудов, самый иступленный карамзинист, веровавший в «Бедную Лизу», как в Варвару великомученицу, сделался по Министерству просвещения товарищем Шишкова. Один Дашков остался верен своему призванию. Лет через пятнадцать после того, бывши товарищем министра внутренних дел, он, при встрече, спросил у меня:

— И вы не обратились к Шишкову?

— Нет, — отвечал я, — остался при прежнем мнении. А вы, Дмитрий Васильевич?

— Я тоже. У меня два врага: Ш-и-шков и турки, — отвечал он, заикаясь.

Воротимся к Александру Тургеневу. Он был любимцем князя Голицына и служил

очень счастливо. Этот добрый, но ветреный и мечтательный человек был в звании директора Департамента духовных дел, одним из секретарей Библейского общества и наружным приверженцем английского мистицизма. Жил он в верхнем этаже казенного дома, занимаемого А. И. Голицыным (на Фонтанке, напротив Михайловского замка, где ныне живет граф Адлерберг). Братья Тургеневы были связаны между собой самой нежной любовью и жили вместе: все они были холостые.

Сергей Иванович учился, как и прочие, в Московском, а потом в Геттингенском университете и, по фамильному праву Тургеневых, имел места и получал жалованье по разным ведомствам: он был секретарем при графе М. С. Воронцове, командовавшем корпусом, стоявшим во Франции, а потом, между прочим, состоял при Комиссии составления законов. После падения Сперанского (1812) дела в ней шли вяло и безотчетливо. Чиновники-синекюристы (искатели теплых мест), не уважавшие пустого и подлого своего начальника барона Розенкампа, разделили дела между собой полюбовно, пописывая каждый

про себя, что ему вздумается; Сергей Тургенев писал проект Уголовного устава. Однажды, летом 1823 года на Черной речке, я застал его за работой и любопытно посмотрел. Составляя лестницу преступлений и полагаемых за каждое наказаний, он написал: «№ 2. За умысел государственной измены, посягательство на особу государя и т. п. — смертная казнь. № 3. За раскаяние в том — ссылка в Сибирь и т. д.», — вместо того, чтоб сказать: «в случае раскаяния казнь смягчается». Прочитав эти строки, я сказал ему мое мнение. Он сам рассмеялся и сказал: «Да я это только так набросал». А посмотревши на этих господ, бывало, подумаешь: вот великие, государственные люди, поднимают нос, презирают всех, весь род человеческий, кроме Карамзина, Орденского Капитула и Государственного казначейства.

Самым умным и солидным и к тому наиболее знающим был младший, Николай, хромой на левую ногу от следствий золотухи. И он учился в Геттингене, и он шел по службе счастливо и быстро, но он заслуживал это добросовестным исполнением своей обязан-

ности, примерной деятельностью и благородным бескорыстием. Он был правителем дел у знаменитого барона Штейна и пользовался его искреннею дружбой и доверенностью, впоследствии был помощником статс-секретаря в Государственном совете. Он имел глубокие познания в финансовой науке (чему доказательством служит его «Опыт теории налогов») и писал по-русски, как ныне, конечно, никто не пишет. Живя и служа долго в чужих краях, он увлекся понятиями о законности, о свободе и равенстве людей, и точно помешался на мысли, впрочем справедливой, о необходимости истребления рабства в России и о введении в ней благоустроенного правления.

В Совете он был верным последователем благородного, но пылкого мечтателя, графа Николая Семеновича Мордвинова, одного из достойнейших людей, родившихся на небогатой ими русской почве. Не удивительно, что его пригласили ко вступлению в Союз благоденствия, что он участвовал в его собраниях, трудах и планах; но этот Союз прекратился в 1821 году и с тех пор не возобновлялся.

Тургенев участвовал в последовавших со-

бытиях и делах только сочувствием своим, только выражением своих мнений и желаний, но ни словом, ни делом: обвинение его произошло от легкомыслия, бестолковости и глупости Блудова, который, может быть, увлекся и желанием явить свое беспристрастие беспощадностью к брату бывшего своего друга и сопоклонника в храме святого Карамзина: Николай Тургенев был в отсутствии из России с весны 1824 года, следовательно, не мог участвовать в делах, происходивших в 1825 году, и вообще не мог быть уличен ни в каком преступлении. Брат его, Александр, употреблял все средства к его спасению, но напрасно.

Летом 1826 года (отличавшимся необыкновенной засухою) шел я в светлую полночь по Невскому проспекту. Вижу: идут по другую сторону Александр Тургенев и Блудов, взявшись под руки. Александр смотрит Блудову в лицо с выражением недоумения, боязни и печали. Блудов, в глубоком трауре и в плерезах, размахивает правой рукой и говорит что-то с жаром. Дело кончилось осуждением Николая Тургенева к позорной смертной казни за преступление, которого он не мог сделать. Его об-

виняли в словах, произнесенных будто бы им в 1825 году, когда он был в чужих краях. Винили Тургенева за то, что он не явился к суду, когда его приглашали. Я никак не виню его в том. Если бы суд был правильный, благоразумный, справедливый, беспристрастный, гласный, он непременно бы ему подвергся. А кто явится добровольно на Шемякин суд?

Я порицаю его за издание книги «La Russie et les Russes», Он имел все право оправдаться перед своими соотечественниками и Европой, но должен был сделать это с простотой и благородством, тоном благородным и приличным. Ему поверили бы вполне. Но он избрал тон дерзкий, бранчивый, отзывавшийся желчью и злобой. Человек правый так оправдываться не должен. Во всей этой защитительной речи не видать ни искры чувства, любви к отечеству, к его страданиям. В нем господствует строгая логика предубеждения, которую другой логикой опровергнуть можно. И притом какая односторонность! Тургенев полагает все спасение России в прекращении крепостного права. Мне кажется, что одно это нам не поможет и что, при совершен-

ном расстройстве нравственности и недостатке истинной душевной религии, при безнравственности мелких чиновников наших, освобождение диких рабов принесет России полное разорение и неисчислимыя бедствия. Пишу эти строки 2 июля 1859 года. Дай Бог, чтобы мое предчувствие не сбылось.

Еще одно обстоятельство говорит против Тургенева. Доколе жив был брат его Александр, доколе еще Николай не получил всего своего наследства из России, он молчал, но, получив деньгами все свое фамильное достоинство, он заговорил смело. Прощу это всякому, только не либералу. Это я говорю по искренней совести, а не по чему иному.

В 1853 году встретился я с Тургеневым в Париже, в Rue de la Paix, подошел к нему, поздоровался с ним. Он изумился.

— Я думал, — сказал он, — что вы не захотите узнать меня.

— А почему же нет? Я вижу в вас старого знакомого, которого всегда уважал, и бесчестно было бы, если бы я от вас отрекся.

— А вот Жуковский, — сказал он, — без высочайшего позволения не хотел видеться со

мною в Женеве.

— Жуковский иное дело, — сказал я, — он служил при дворе, при обучении царских детей, следственно, обязан был соблюдать отношения, которые меня не связывают.

На другой день пригласил он меня к себе. Я обедал у него два раза в кругу милой семьи и всячески старался образумить насчет императора Николая Павловича. Когда он воротился в Петербург в 1856 году, первый его визит был у меня. И нынче, в 1859 году, посетил он меня и упрекал, что я ничего не пишу об освобождении крестьян. Я сказал ему, что считаю это дело важным и необходимым, желаю ему успеха, но писать не стану, потому что не имею об этом предмете достаточных понятий. Кажется, он не был этим очень доволен. Он приехал в Россию, чтоб вступить во владение тремястами душ, доставшимися ему по наследству. Любопытно знать, откажется ли он от них на основании своих теорий.

Жаль, что Россия не пользовалась умом, дарованиями и познаниями этого необыкновенного человека. Он сделался бы превосходным министром финансов или юстиции. А

там Вронченко, Брок, Панин!

Брат его Сергей находился в 1825 году в Дрездене, любезном ему потому, что он был секретарем саксонского генерал-губернатора князя Репнина. Узнав об участи, постигшей брата его, Николая, он сошел с ума и вскоре умер. Нужно отдать полную справедливость благородству брата его Александра. После несчастья, которому подвергся Николай, он вышел в отставку, несмотря ни на какие убеждения и обещания. Александр Иванович отправился в чужие края и занимался там отыскиванием, в архивах и библиотеках, материалов и документов касательно русской истории. Он несколько раз приезжал в Россию и умер в Москве в 1845 году.

Не так поступили другие родственники погибших в этом водовороте, например, графиня Лаваль, теща князя Трубецкого, — она давала пиры и балы, между тем как Дочь ее изнывала с благородным самоотвержением в Сибири. Эта женщина и жалкий муж ее были в общем презрении у двора и в публике, доколе племянник ее, князь Белосельский, не женился на падчерице графа Бенкендорфа: тогда

и они пошли в гору.

Замечательно, каким образом Тургеневы пострадали от закадычных друзей своих. Во-первых, засудил Николая Блудов; во-вторых, разорил их Жихарев, которому они поручили дома свои. Он заложил их имения, а деньги взял себе. Теперь он, до первого гласного мошенничества, председатель театрального комитета и, с пособием друзей своих, подобных ему негодяев, Краевского и др., сочиняет Театральный устав.

Может ли быть благоустройство в Империи, где не способности, не ум, не заслуги, не честность дают места, а располагают ими случай, подлость и деньги, где явный мошенник и вор терпимы в обществе и получают награды, а достоинство и заслуга в тени и презрении, потому что гнушаются дышать тлетворным воздухом в передних знатных бар и будуарах развратных женщин. Все государство сгнило в своих основаниях и, если Бог не сотворит чуда, не пошлет ему истинно великого государя, каковы были Петр и Екатерина II, разрушится на мелкие части, оставив потомству урок верный, но бесплодный, как и все

уроки истории!

17. Гавриил Степанович Батеньков, сын бедного офицера, служившего в Сибири, воспитывался в 1-м кадетском корпусе, учился с большим прилежанием и был выпущен в артиллерию. В 1814 году, на походе во Францию, командовал он в одном сражении двумя орудиями и, окруженный многочисленным французским отрядом, защищался отчаянно, не хотел сдаваться и пал со всею своею командой. В донесении сказано было: «Потеряны две пушки, со всею прислугой, от чрезмерной храбрости командовавшего ими офицера Батенькова». Французы, убирая мертвые тела, заметили в одном из них признаки жизни, привели израненного в чувство и отправили в лазарет. Это был Батеньков. Его вылечили и вскоре разменяли.

По возвращении в Россию, не чувствуя охоты к гарнизонной службе, ограничивающейся караулами и парадами, Батеньков перешел в ведомство путей сообщения; там охотно приняли хорошего математика. Он принялся за дело усердно и внимательно и вскоре приобрел славу умного, знающего, по-

лезного, но беспокойного человека, — титул, даваемый всякому, кто не терпит дураков и мошенников. Его не выгнали, а командировали в Иркутск, где он не мог мешать никому, потому что там по части путей сообщений ровно ничего не делают.

В 1816 году происходила знаменитая ревизия Сибири. Сперанский был послан туда для исследования злоупотреблений, притеснений и тиранств Пестеля, Трескина и других коршунов, терзавших несколько лет эту несчастную страну. Сперанский очутился там, как в лесу, среди диких зверей и подлых скотов, не знал, на кого положиться, кого избрать себе в сотрудники. В числе представлявшихся ему лиц заметил он инженер-майора путей сообщения, явившегося к нему с прочими чиновниками Иркутской губернии. Молодой человек говорил умно, свободно, без раболепства и показывал совершенное знание тамошнего края и лиц. Сперанский взял его в свою канцелярию и вскоре убедился, что не ошибся. Батеньков понял дело в совершенстве и вскоре сделался правой рукой Сперанского. Он владел пером в высокой степени и написал

много проектов и в том числе (замечательно!) устав о ссыльных.

По возвращении Сперанского в Петербург и по представлении им донесений и отчетов своих в Государственный совет, все знающие люди изумились скорой и тщательной их обработке. Граф Аракчеев, искавший (как я сказал где-то выше) людей способных, спрашивал у Сперанского, кто помогал ему. Сперанский назвал Батенькова и, по просьбе Аракчеева, предложил ему вступить в службу по военным поселениям. Батеньков принял предложение с тем, чтоб ему не давали ни чинов, ни крестов, а только положили хорошее содержание. Его назначили членом Совета военных поселений с десятью тысячами рублей (ассигнациями) жалованья. Он работал усердно и неутомимо, Аракчеев был им доволен, называл его: мой математик, но мало-помалу охладел к нему, стал им пренебрегать, обременял работой, не давая никакого поощрения. Батеньков жил в Петербурге у Сперанского (в доме Армянской церкви), занимался науками, например, изъяснением египетских иероглифов и исследованием разных отрас-

лей государственного управления. Однажды прочитал он мне прекрасный проект устройства гражданской и уголовной части, в котором было много ума, начитанности, наблюдательности и ни малейшей собственно политической идеи, которая заставила бы подозревать его в либерализме. Все знали, что он приближен к Аракчееву и пользуется его доверенностью, и потому многие боялись и остерегались его. Видя в нем человека умного, интересного и прямодушного, я обращался с ним просто и находил большое удовольствие в его беседе. Выше описал я сцену, бывшую у меня с ним на обеде у Булгарина. Я принял его слова за шутку или, по крайней мере, за простое предположение без всякого умысла. Но, видно, он в то уже время сошелся с заговорщиками, не считая их дела серьезными, потому говорил о их планах откровенно и свободно, не подозревая их противозаконности и опасности.

26 ноября 1825 года обедал я с ним у И. В. Прокофьева и до обеда беседовал. Он сообщил мне, что ему надоело служить у гадины Аракчеева, что он выходит в отставку и

хочет посвятить себя наукам, заняв где-нибудь место профессора математики. Все это было сказано просто, равнодушно, без злобы или огорчения. С тех пор до декабрьских дней мы с ним не видались. Я простудился на похоронах графа Милорадовича и слег в постель. Ко мне пришел не помню кто-то из канцелярии Батенькова. Это меня изумило до крайности. «Таким образом, — сказал я, — доберутся и до графа Аракчеева».

Оказалось потом, что Батеньков завербован был в эту пагубную компанию Рылеевым и увлекся своим воображением, нелепой мечтой преобразований в государственном составе. Он думал, что это одни предположения, одна голословная утопия. Он не бывал на сходбищах в суждениях у Рылеева и весь день 12 декабря, когда герои бунта рассуждали об исполнении своих замыслов, просидел в гостях у Александры Ивановны Ростовцовой, матери Якова Ивановича. Его обвинили в законопротивных замыслах и в знании умысла на цареубийство и в приготовлении товарищей к мятежу планами и советами. Судом был он приговорен к вечной каторжной рабо-

те, но наделе наказан гораздо строже, могу сказать, с бесчеловечием. Его продержали два года в крепости Швартгольме и потом восемнадцать лет в каземате Петропавловской. До вступления в должность шефа жандармов графа Орлова, не давали ему ни бумаги ни книг. Он видел только тюремщиков, приносивших кушанье, всегда по двое, чтоб кто-нибудь с ним не заговорил. В первые четыре года он несказанно мучился, а потом по привычке и в немногие часы, которые проводил на воздухе в маленьком садике, разведенном по распоряжению человеколюбивого М. Я. фон Фока среди Алексеевского равелина, копался в земле, как-то добыл росток яблони, посадил его в землю и дожил до того, что ел с него яблоки.

В 1844 году дали ему газеты. Он бросился на них с жадностью и вдруг прочел в них: граф Клейнмихель! Изумление его возросло еще более, когда он на следующей странице увидал: министр финансов Вронченко! И в самом деле, каково должны идти дела в государстве, где Николай Тургенев в изгнании, Батеньков в ужасной темнице, другие опытные,

умные и даровитые люди в Сибири, а Клейн-михель и Вронченко — министры! Диво ли, что у нас дела идут наперекор уму и совести!

Кто помог Батенькову в его ужасном положении? Комендант Иван Никитич Скобелев, простой русский человек, выслужившийся из солдат, даже не говоривший по-французски. Он при одном случае напомнил государю о бедном Батенькове и наконец добился, что его освободили из крепости и отослали на поселение в Томскую губернию. В заключении своем он разучился было говорить, хотя и привык мыслить вслух. Он забыл некоторые обыкновенные слова, например: таракан! В 1856 году был он прощен вместе с прочими и поселился в Калуге. В нынешнем (1859) году приехал в Петербург, и я имел несказанное удовольствие с ним свидеться. Он сохранил свой ум, прямой и твердый, но сделался тише и молчаливее; о несчастии своем говорит скромно и великодушно и не жалуется, видя во всем неисповедимую волю Божию. Не понимаю, как могли поступить с ним так несправедливо и жестоко! Николай Павлович не был жестокосерд. Бенкендорф и Дубельт

люди добрые: за что же бедный Батеньков (невинный во всякой земле, кроме Персии, Турции и России) пострадал более других? Недоумеваю, но не могу не сказать: «Цари и мощные люди мира сего! Помыслите, что вы смертны и должны со временем отдать отчет Богу!»

*Не внемлют! видят и не знают,
Покрыты мраком очеса!*

18. Барон Владимир Петрович Штейнгель, воспитанный, сколько мне известно, в Морском корпусе, был человек умный, образованный, любезный и несколько лет служил правителем Канцелярии московского военного генерал-губернатора графа Торماسова, пользовался его доверенностью и, как слышно было, употреблял ее во зло. По смерти графа был уволен от службы и потом никак не мог добиться определения куда-либо. Он попал в разряд тех, при имени которых в тайном государевом реестре помечено было: «Не давать ходу». Напрасны были все его старания и просьбы, напрасны все ходатайства и представительства. Негодование и беспокойства

довели Штейнгеля до отчаяния. Тогда познакомился он с Рылеевым и, узнав о гнусных замыслах либералов, пристал к ним; последствием была ссылка в Сибирь. Он выжил время своего заточения и теперь живет в Петербурге, у сына своего, полковника Генерального штаба, человека, сколько я слышал, хорошего и достойного.

19. Князь Иван Александрович Одоевский, корнет Конной гвардии, молодой мальчик, милостивый, любезный, но, видно, бесхарактерный и начитавшийся вздорных книг, был вовлечен в рылеевскую шайку, вероятно, сам не зная как, присутствовал 12 и 13 декабря на совещаниях у Рылеева и играл там донкихотскую роль. 14 декабря, сменившись с внутреннего караула во дворце, отправился с командой в казармы, присягнул новому государю в полковой церкви, потом переоделся и пошел на площадь. Он ездил, в конце ноября, в Москву и, возвращаясь оттуда, встретился на одной станции с Магницким, ехавшим поневоле в Казань, беседовал с ним и потом рассказывал мне очень забавно об этой встрече. Я не замечал в Одоевском ни малейшей на-

клонности к тому, что вскоре потом случилось. Дальнейших судеб его не знаю.

20. Князь Евгений Петрович Оболенский, бывший адъютантом почтенного генерала Карла Ивановича Бистрома, молодой человек благородный, умный, образованный, любезный, пылкого характера и добрейшего сердца, увлечен был в омут Рылеевым и погиб. Он выжил срок заточения в Сибири, получил прощение и живет теперь в Калуге. Я не знал его коротко, но встречался с ним в обществах и не мог им налюбоваться. По словам лиц, знающих его, и именно Я. И. Ростовцева, Россия много в нем потеряла.

21. Петр Александрович Муханов, гвардии офицер, образованный и неглупый добряк, любезный в обществе, забавник и шутник, известный в своем кругу под кличкой ротмистра Галла, запутался в тенетах, вероятно, и сам того не зная. Доболтался до беды! Он двоюродный брат знаменитого форшнейдера просвещения. Жаль, что не сослали этого: тогда не было бы на каторге русского просвещения.

22. Александр Осипович Корнилович, штабс-капитан Генерального штаба, добрый,

образованный, любезный человек, занимался с успехом литературой, и особенно русской военной историей, участвовал в переводе на русский язык «Истории войны 1812 года» Бутурлина. Издал он также очень хороший альманах, под заглавием «Русская старина». Он попался в эту историю, как кур во щи. У него была страсть знакомиться и бывать в знатных домах, в кругу блистательной аристократии, у графини Лаваль, у Лебцельтерна (австрийского посланника) и пр. В конце 1825 года отправился он в полуденную Россию, — кажется, для свидания с матерью, и привез во 2-ю армию поклоны от разных лиц в Петербурге и письма Муравьевым, Пестелям и прочим. Там приняли его за участника в либеральных замыслах и дали ему поручения в Петербург. Самолюбие не позволило ему признаться, что он не состоит в сообществе с сиятельными либералами.

Он приехал в Петербург утром 12 декабря и явился прежде всего к Булгарину, который принял «отца Корнилу», как звал его, с радушием и предложил остаться обедать и жить у него в доме. Корнилович отказался необходи-

мостью развезти разные поручения Муравьева и других по знатым домам, обещал приехать вечером, но не сдержал слова и остановился у приятеля своего, Генерального штаба полковника Галямина. На третий день (14), отправляясь утром со двора, он отдал Галямину письмо на имя своей матери и просил переслать к ней. Поднялась история. Галямин, догадываясь, что Корнилович в толпе, бросил письмо в камин. За это он был переведен в гарнизон, а Корнилович подпал общей участи: в пятом разряде он был приговорен к пятнадцатилетней каторжной работе, но года через три переведен солдатом в кавказский корпус: там успел он службой на деле доказать свои познания и хорошие качества, был отличен начальниками и представлен к производству в офицеры, но умер, не дождавшись того, в Царских Колодцах.

12 декабря Булгарин пришел ко мне и, с большой пощадой моему авторскому самолюбию, сказал, что я жаркой статьей о смерти Александра I повредил «Пчеле» (тогда шла подписка на 1826 год) и что, по словам Корниловича, «вся вторая армия в негодовании на

нее». Я отвечал, что Корнилович судит так по словам какого-либо взбалмошного фанфарона и аристократа, что статья моя понравилась всей русской публике, которую я знаю вполне, а мнениями этих либеральных шутов не дорожу нимало.

Корнилович был искренним другом Петра Муханова; они жили вместе и вместе погибли!

23. Константин Петрович Торсон, капитан-лейтенант, серьезный, умный и достойный человек, искусный и ученый моряк. Он сделал много полезных перемен и приспособлений в устройстве такелажа военных кораблей, заслуживавших одобрение морского начальства. В 1821 году он был лейтенантом корабля, на котором великий князь Николай Павлович, с супругой, отправился в Пруссию. Он успел обратить на себя внимание великого князя и пошел бы далеко, если б не остутился. Вероятно, Николай Бестужев заманил его в ненавистную шайку. Где была у вас совесть, Николай Александрович? Впрочем, эти несчастные слепцы считали свое дело справедливым и святым и, заманивая легкомыс-

ленного добряка в свои губительные тенета, думали и говорили, что посвящением в свои тайны делают ему честь. У Торсона была престарелая мать и предостойная сестра. Государь назначил им в пенсию жалованье, которое получал Торсон. По смерти матери, сестра (Катерина Петровна, высокая, статная девица, умная и миловидная) отправилась в Сибирь, к брату. Не знаю, что случилось с ними. Многие думали, что она там выйдет за Николая Бестужева.

24. Николай Романович Цебриков, поручик гвардии Финляндского полка, жертва случая. Он стоял с батальоном своего полка за городом, кажется, в Гостилицах, и, ничего не зная, приехал 14 декабря в Петербург, чтоб погулять на праздниках с товарищами полка, стоявшего на Васильевском острове. Подъехав от Синего моста к Конногвардейскому манежу и видя толпу народа, он выскочил из саней и спрашивал, что случилось. Вдруг видит: бежит мимо манежа на Сенатскую площадь гвардейский экипаж, впереди офицеры с обнаженными саблями. Цебриков знал многих из них, потому что родной его брат служил

в экипаже. Он закричал им: «Куда вас черт несет, карбонары!» Это подслушал какой-то квартальный и донес, что Цебриков кричал: «В каре против кавалерии!»

Обвинение было так ложно и так нелепо, что Цебриков оправдывался в нем перед Следственной комиссией с негодованием. Оправдание назвали упрямством и дерзостью: он был причислен к двадцатому (самому легкому) разряду и приговорен к разжалованию в солдаты с выслугой. По внушению взбалмошного Дибича государь усилил наказание разжалованием без выслуги и с лишением дворянства. Это было жестоко и противно законам, не написанным, правда, но существующим повсюду: верховная власть или утверждает наказание, или смягчает его, но никогда не усиливает. Только враг государя мог подать ему такой совет. К тому же Цебриков не был виноват, не подавал дурного примера, не бунтовал, только в негодовании на глупый донос не смирился перед бестолковыми судьями. Цебриков был сослан на Кавказ, служил там тридцать лет, получил солдатский Георгиевский крест, теперь прощен и

доживает грустный век в Петербурге.

25. Николай Петрович Репин, штабс-капитан гвардии Финляндского полка. Был человек умный, образованный, кроткий нравом, пользовался уважением своих товарищей, а больше о нем я не знаю, видел его только однажды, у моего брата, в лагере под Красным Селом.

26. Михаил Лунин, подполковник. Вздорный человек, который громогласно проповедовал революции и мятежи. Я видел его часто в доме Екатерины Федоровны Муравьевой. Однажды, за большим обедом, он с младшими гостями (в том числе был и я) сидел за отдельным столом и громко врал направо. После обеда подошел к нему Карамзин и с усмешкой просил продолжать. Лунин отвечал новыми вздорами, к забаве и потехе нетрезвых гостей. Думаю, что либералы не удерживали его от неблагоразумных и дерзких речей, чтоб обратить на него внимание правительства и прикрыть тех, которые меньше говорили, а больше действовали. Вряд ли этот пустомеля был в заговоре.

27. Иван Александрович Анненков, кавале-

лергардский поручик, интересен по одному романическому эпизоду в его жизни. Он был в связи с какою-то молодой француженкой, Жюстиной, помнится, швеей из модного магазина. За месяц до 14 декабря, накануне отъезда по каким-то делам в Москву, сидел он у нее вечером в глубоком раздумье. Она спросила у него о причине такого уныния.

— Скучно мне, — сказал он, — у меня нет ни одного друга. Случись со мной какое-либо несчастье, меня все покинут. А теперь ухаживают за мной только потому, что я богат.

— Ошибаешься, друг мой! — сказала Жюстина с жаром, — У тебя есть верный друг — это я!

— Да, — возразил он, — пока я в счастье, а случись со мной что-либо...

— А что такое?

— Если, например, меня лишат всего и сошлют в Сибирь?

— Я тебя не оставлю, поеду с тобой, буду все делить, буду работать за тебя, докажу, что люблю тебя искренно и бескорыстно.

Эти слова тронули Анненкова: он дал ей на другой день запись на 50 тысяч рублей, об-

леченную в законную форму. Разразилась буря. Анненков привезен был из Москвы в Петропавловскую крепость, осужден на вечную каторгу (по второму разряду), смягченную на двадцать лет. Лишь только голодные французские авантюристы в Петербурге проведдали, что у мамзель Жюстины пятьдесят тысяч рублей приданого, они бросились к ней с жаркими изъявлениями пылкой страсти. Она отринула все предложения, отправилась в Москву, встретила государя на улице, бросилась перед ним на колени и молила о дозволении ехать в Сибирь за Анненковым, чтоб там выйти за него замуж. Просьба ее была принята. Она поехала в Сибирь, обвенчалась с Анненковым и жила с ним в мире и согласии. Сколько времени продолжалась эта связь, живы ли они еще — не знаю, но подвиг французской работницы заслуживает воспоминания и уважения.

28. Другой подвиг самоотвержения женского, но выше, благороднее, святее прежнего, усладил последние годы одного достойного человека, сгубленного сумасбродами и негодяями. Ротмистр Василий Петрович Ивашев,

адъютант графа Витгенштейна, сын богатого симбирского помещика, пользовался во Второй армии репутацией самого благородного человека. Он был в дружбе с Пестелем, Муравьевым и другими героями заговора, — знал многое, но, как и многие, не решался донести. И при следствии он постоянно удерживался от всяких показаний на бывших своих товарищей. Жестокая судьба постигла его: он был приговорен (по второму разряду) к вечной каторге и безмолвно подвергся своей участи.

До того времени бывал он в отпуску в деревне у замужней сестры своей, Елисаветы Петровны Языковой, которая имела при детях француженку Ледантю, женщину пожилую, с дочерью. Молодая девица почувствовала весьма понятное влечение к блистательному аристократу, молодцу и любезному, но, чувствуя, какое пространство их разделяет, затаила рождающуюся страсть в глубине своего сердца. Вдруг этот гвардейский офицер, будущий генерал, превратился в бедного каторжника, отверженного обществом. Не размышляя долго, она объявила и матери своей, и госпоже Языковой, что намерена разделить

участь любимого ею человека, ехать в Сибирь, выйти за него замуж и стараться нежной, благородной любовью смягчить его страдания. Написали к Ивашеву. Он принял предложение с восторгом, потому что и сам питал к этой девице глубокое уважение и сердечную склонность. По испрошении соизволения государя, девица отправилась в Сибирь и обвенчалась с избранным другом. Брак был самый счастливый, но, как всякое счастье в жизни, не долгий. Они имели троих детей. Мать скончалась в родах с последним. Ровно через год и Ивашев последовал за нею. У нас, говорят, нет благородных и трогательных предметов для составления романа. А этот случай! Но кстати ли описание таких чувств и дел благости и великодушия в нынешнем омуте литературы нашей, среди картин разврата, нечестия и разгара подлых страстей!

29. Александр Федорович фон-дер-Бриген, полковник Измайловского полка, человек самый благородный, добрый, умный, воспитанный, — сделался невинной жертвой дружеских связей. Он был обвинен в том единственно, что сообщил князю Трубецкому в

Киеве о дерзких фанфаронадах Якубовича, который хвастался, что хочет убить Александра I. Кто ж не знал об этих донкихотских выходках отъявленного негодяя! В то время жалобы на правительство возглашались громко. Все желали перемены, но, не надеясь на великого князя Константина Павловича и не понимая характера Николая, предавались всяким предположениям и мечтаниям. Если бы сослать всех тех, которые слышали о сумасбродных замыслах и планах того времени, не нашлось бы места в Сибири. Меня первого следовало бы сослать в Нерчинск, а Булгарина, конечно, и далее. Эти вольные разговоры, пение не революционных, а сатирических песен и т. п. было дело очень обыкновенное, и никто не обращал на то внимания.

Однажды Булгарин (тогда еще холостой) давал нам ужин. Собралось человек пятнадцать. После шампанского, давай читать стихи, а там и петь рылеевские песни. Не все были либералы, а все слушали с удовольствием и искренно смеялись. Помню антилиберала Василья Николаевича Берха, как он заливался смехом. Только Булгарин выбежал иногда в

другую комнату. На следующий день прихожу к Булгарину и вижу его расстроенным, больным, в большом смущении. Он струсил этой оргии и выбегал, чтоб посмотреть, не взобрался ли на балкон (это было в первом этаже дома) квартальный, чтоб подслушать, что читают и поют. У него всегда чесалось за ухом при таких случаях: он не столько либеральничал, как принимал сторону поляков. Сверх того предостерегал его Сенковский.

Фон-дер-Бриген дожил до прощенья и прошедшею зимой (1858/1859) приехал в Петербург. Я увидел его у Ф. Н. Глинки и душевно ему обрадовался. Он, разумеется, устарел, но сохранил прежнюю миловидность, кротость и любезность.

Фон-дер-Бриген умер скоропостижно от холеры 27 июня 1859 года. Он жил у дочери своей, Любови Александровны Гербель. Последние дни жизни были услаждены свиданием с другом его, Николаем Ивановичем Тургеневым.

30. Краснокутский, обер-прокурор Сената, человек добрый и благородный, был знаком с некоторыми из заговорщиков и, вероятно,

слышал вздорные их речи, 13 декабря искал он партии в вист; приехал к князю Трубецкому и, узнав, что тот у Рылеева, отправился туда, нашел большую компанию в исступлении, догадался, что они замышляют недоброе, хотел было донести правительству, но одумался, счел предприятия их несбыточными, уехал домой и лег спать. Он попался в осьмой разряд, лишен был дворянства с ссылкой на поселение и умер, сколько я слышал, в Якутске. В последние годы жизни он лишился употребления ног.

31. Оржицкий, отставной штабс-ротмистр, побочный сын Петра Кирилловича Разумовского, весельчак и большой хлебосол, кормил и поил приятелей своих, не обращая внимания на их пустые речи, и поплатился за то разжалованием в солдаты, с лишением дворянского достоинства. Он давно возвращен в Петербург.

Повторяю, что в этом списке, в этом очерке лиц, участвовавших в происшествиях декабря 1825 года, ограничился я только теми, которых знал лично или по достоверным сведениям. Прочие из преданных суду были офи-

церы гвардии и армии, моряки и немногие гражданские чиновники, всего сто двадцать пять человек. Пострадали еще некоторые другие, не виновные, но прикосновенные к делу, в том числе Михаил Федорович Орлов, Федор Николаевич Глинка, Демьян Александрович Искрицкий: эти были выписаны из гвардии в армию, или отставлены от службы, или же удалены из столицы, некоторые на службу в губерниях. Сколько именно в числе подсудимых и пострадавших было действительно виновных, известно одному Богу; мы же, свидетели этих происшествий, приятели и знакомые многих из сих лиц, знаем, что в числе их много было людей совершенно невинных, погибших от злобных наветов, от гордости и упрямства, с каким они отвечали на несправедливые обвинения, от неосторожности, от случайности. Удивительно еще, как не погибло большее число жертв, как уцелел пишущий эти строки: спасением своим обязаны они не беспристрастию и справедливости следователей, а праводушию и благородству некоторых подсудимых, которые отстаивали их.

Эта смесь противоборствующих стихий:

добра и зла, ума и глупости, дерзости и трусости, утонченного образования с грубым невежеством, истины с ложью, правды с обманом, сопровождаемая фанфаронством и худо понимаемым благородством, увлекла в бездну гибели значительное число прекрасных, добрых юношей, подававших самые светлые надежды. Слепление и самонадеянная спесь коноводов этого бестолково-преступного дела были таковы, что они думали сделать большую честь, оказать истинное участие, даже благодеяние людям, которых допускали в свой круг, в преддверие Сибири, если не на ступени эшафота.

Еще замечательно, что большая часть ревнителей свободы и равенства, прав угнетенного народа сами были гордые аристократы, надутые чувством своей породы, знатности и богатства, смотрели с оскорбительным презрением на людей незнатных и небогатых, которых не видели у себя в передней и в то же время удостаивали своим вниманием, благосклонностью и покровительством отребье человечества. Впрочем, мы видим это сплошь и рядом. Всякий сановник, особенно

происходящий от побочной линии знатного дома, смотрит свысока на скромных и достойных тружеников, едва достаивает их словом и обращает свое нежное и сочувственное внимание на гаеров и шутов.

В числе заговорщиков и их сообщников не было ни одного не дворянина, ни одного купца, артиста, ремесленника или выслужившегося офицера и чиновника. Все потомки Рюрика, Гедимины, Чингисхана, по крайней мере, бояр и сановников, древних и новых. Это обстоятельство очень важно: оно свидетельствует, что в то время восставали против злоупотреблений и притеснений именно те, которые менее всех от них терпели, что в этом мятеже не было на грош народности, что внушения к этим глупо-кровавым затеям произошли от книг немецких и французских, отчасти плохо и бестолково переводимых, что эти замыслы были чужды русскому уму и сердцу и, в случае успеха, не только не составили бы счастья народа, но подвергли бы его игу, несравненно тягчайшему прежнего, и передали бы всю Россию бедствиям, о каких нельзя составить себе понятия. Свежо предание, а ве-

рится с трудом!

Глава двенадцатая (отрывок)

Фаддей Булгарин

Замечено и как бы принято в литературе. Что бранят писателя, когда он находится в живых, пока он действует на своих современников, на соперников, на врагов. По смерти же выставляют обыкновенно хорошие его стороны, забывают слабости, прощают ошибки, промахи, даже дела непохвальные. Замечательно, что Булгарину выпала противоположная участь: при жизни одни его хвалили, другие терпели, третьи ненавидели, многие спорили, бранились с ним, но безусловно его не поносили, разве в ненапечатанных эпиграммах. Видно, боялись его колкого, неумолимого пера. Но по смерти сделался он предметом общей злобы и осмеяния. Люди, которые не годились бы к нему в дворники, ругают и поносят его самым беспощадным, бессовестным образом!

В некрологе Календаря на 1860 год напечатан был о Булгарине отнюдь не хвалебный, но довольно беспристрастный отзыв: эта ста-

тъя подверглась насмешкам и брани. Что могло быть виной этого явления? Повторяй: мертвого льва уже не боялись собачонки.

Исполню долг чести и правды, составив описание его жизни, дел и характера. Волею и неволею был я в продолжение долгого времени в тесных с ним сношениях: буду говорить о нем сущую правду, не скрою темных сторон его жизни и характера, его слабостей и недостатков, но в то же время отдам справедливость тому, что было в нем хорошего, и опровергну клеветы, взведенные на него завистью, злобой и мстительностью. Буду принужден коснуться и некоторых других лиц и постараюсь исполнить возложенную на меня обязанность со всевозможным беспристрастием и пощадой. Буду говорить и о себе сколь можно равнодушнее и правдивее. Впрочем, обстоятельства, в которые я должен входить, известны всем, и, говоря о них явно, я не нарушаю никакой тайны.

Фаддей Бенедиктович Булгарин (Thaddeus Vulharyn) родился 24 июня 1789 года в Виленской или Минской губернии. Отец его, рьяный республиканец, известный в округе сво-

ем под именем шального (szalony) Булгарина, в пылу польской революции (1794 г.) убил (не в сражении) русского генерала Воронова и был сослан на жительство в Сибирь. Жена его, сколько могу судить по преданиям, женщина добрая и почтенная, отправилась с сыном своим, Фаддеем, в Петербург и успела поместить его в Сухопутный (что ныне Первый) кадетский корпус, который был уже не тем, что под начальством графа Ангальта, но сохранял еще остатки и предания прежнего своего достоинства. Муж ее, Бенедикт, возвращен был на родину императором Павлом и вскоре умер. Вдова его вышла замуж за какого-то Менджинского и имела с ним сына и дочь. Сын служил в русской армии, честно и храбро, был изранен, жил потом в отставке и умер в тридцатых годах. Дочь, Антонина Степановна, была в молодости красавицей. Мать, имея процесс в Сенате, привезла ее с собой в Петербург. Здесь влюбился в нее сенатский секретарь Александр Михайлович Искрицкий и женился на ней. Он имел сыновей Демьяна, Александра и Михаила, о которых пойдет речь впоследствии.

Фаддей, нареченный сим именем при крещении в честь Костюшки, учился в корпусе очень хорошо и смолоду оказывал большие способности. По экзамену следовало бы ему выйти в артиллерию или в Генеральный штаб, но цесаревич Константин Павлович, по особому благоволению к полякам, которые потом заплатили ему за это благоволение по-польски, взял его в свой уланский полк, который, вскоре после того, сделан был гвардейским. Булгарин был принят во многих хороших домах Петербурга, особенно в польских, и, как и вся тогдашняя молодежь, вел жизнь разгульную и буйную. С полком своим он был в походах 1805, 1806 и 1807 годов, и хотя впоследствии рассказывал мне о своих геройских подвигах, но, по словам тогдашних его сослуживцев, между прочим генерала Иоселиана, храбрость не была в числе его добродетелей: частенько, когда наклевывалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне. Однако он был сильно ранен в живот при Фридланде и лежал несколько недель в кенигсбергском лазарете. Там свиделся он со многими поляками, служившими в армии

Наполеона: они приглашали его перейти к французам. Булгарин отвечал им: «Теперь было бы бесчестно сделать это. Дайте срок: заключат мир, 1 сентября подам в отставку и прикачу к коханым».

По возвращении гвардии в Петербург, наскучила ему однообразная гарнизонная служба. Он отправлял ее нерадиво и своевольно. Однажды, с дежурства по эскадрону в Стрельне, он махнул, без спросу, в Петербург, чтоб потешиться в публичном маскараде; заехал к одному товарищу, адъютанту цесаревича, жившему в Мраморном дворце, нарядился амуrom в трико[36], накинуд на себя форменную шинель, надел уланскую шапку и спуускался по задней лестнице. Вдруг увидел перед собой цесаревича.

— Булгарин?

— Точно так, ваше высочество.

— Ты, помнитса, сегодня дежуришь, да что ты закрываешься? — вскричал великий князь, сбросил с него шинель и увидел амура с крыльшками и колчаном. — Хорош! Мил! Ступай за мной.

Сошли с крыльца. Цесаревич посадил его к

себе в карету и привез на бал к княгине Четвертинской, взял за руку и ввел в залу, наполненную бомондом.

— Полюбуйтесь! — сказал он хозяйке и гостям: — Вот дежурный по караулам в Стрельне. Вон, мерзавец! Сию минуту отправляйся к полковому командиру под арест!

Амур, пристыженный, одураченный, удалился при общем хохоте. Дело кончилось арестом, но последствия его не прекращались. Цесаревич при всяком случае напоминал шалуну его дерзость и взыскивал с него более, чем с других. Измученный и службой, и «этим преследованием», Булгарин написал на своего начальника сатиру, начинавшуюся стихами:

*Трепещет Стрельна вся, повсюду
ужас, страх.
Неужели землетрясенье?
Нет! нет! Великий князь ведет
нас на ученье.*

К поэзии присоединилось еще несколько прозаических немарсовских подвигов, и корнета Булгарина перевели в какой-то армейский драгунский полк (находившийся в вой-

сках, действовавших в Финляндии)[37], выдержав его, помнится, три месяца в кронштадтской крепости. Просидев несколько времени в каземате, он был выпущен добрым комендантом Клугенем и прожил время, остававшееся до освобождения, на квартире у какого-то пьяного мещанина Голяшкина, ухаживал за дочками его и выучился у бабушки разным неблагопристойным, разбойничьим песням, которые впоследствии распевал кста-ти и некстати[38].

В Финляндии служил он до окончания войны и потом стоял с своим полком в Ревеле. Во время этой войны удалось ему сделать доброе дело. Известно, что самыми рьяными и злыми врагами русских были в то время финские пасторы: они истребляли наши отряды, перехватывали переписку, отбивали обозы и оружие, словом, действовали как партизаны. Особенно один сельский пастор отличился проворством и удальством: схватил несколько русских офицеров и выдал шведам, укрывавшимся в его доме. Начальник действовавшего в этой стране русского отряда послал в дом пастора драгун под командой офицера, и

этот офицер был Булгарин. Он сделал быстрый набег на село и окружил церковный дом. Жена пастора укрыла мужа. Булгарин, заметив, где спрятался несчастный, объявил, что возьмет его силой. Жена и дети бросились к ногам его и умоляли о пощаде. Булгарин сжалился, представился, будто не видит искомого, оставил дом и явился к начальнику с донесением: не нашел! Командир побранил его за оплошность, но, может быть, сам был рад, что освободился от необходимости казнить человека, который полагал, что действует по закону и по долгу. Это происшествие сделалось известным в Финляндии и в Швеции. По заключении мира, явилась в Стокгольме гравюра с изображением этого случая с надписью: «Великодушные русского офицера». В бытность Булгарина в Швеции (в 1838 г.), пригласил его к обеду один почтенный и богатый человек. Гостей было множество. Булгарин, севши за стол, увидел перед собой гравированную картину. Все пили с восторгом за его здоровье. Этот анекдот слышал я от Булгарина и от некоторых финляндцев.

В Ревеле Булгарин привел в исполнение

свой давнишний замысел. Вышедши в отставку (а может быть, состоя еще на службе), он выехал оттуда с одним французом, графом де Кенсонна (Quinsonnat), посетил свою мать на пути, прибыл в Варшаву и вступил в один сформированный французами уланский полк рядовым, как мне сказывал с негодованием двоюродный брат его, граф Тиман, служивший России честно и усердно в гусарах до генеральского чина и ненавидевший гнусную польскую отчизну. Впрочем, нельзя сказать, чтобы Булгарин бежал или предался неприятелю. Россия была тогда с Францией в дружбе и в союзе, Булгарин был поляк, следовательно, переход его не был ни бегством, ни изменой. Об этом скажу несколько слов ниже. Но благородные товарищи Булгарина, подобные графу Тиману, не могли простить ему этой эскапады и отзывались о его поступке откровенно.

Из Варшавы был он отправлен к полку в Испанию, но о жизни и о службе его там я ничего не знаю. В 1812 году находился он в корпусе маршала Удино, действовавшего, в Литве и в Белоруссии, против графа Витгенштей-

на. Он рассказывал, что однажды напросился участвовать в размене пленных, был он в русском авангарде, видел некоторых старых товарищей, но не был ими узнан и не старался о том; только послал поклоны нескольким знакомцам с русским вахмистром, провожавшим французских парламентаров. Но действительно ли это было так, не могу сказать. Булгарин, как всем известно, был большой сочинитель.

Коротким друзьям своим из либералов поверял за тайну, что на переправе Наполеона через Березину при Студянке (деревне, будто бы принадлежавшей его матери) он был одним из тех польских улан, которые по рыхлому льду провели лошадь, несшую полузамерзшего императора французов. В 1813 году он участвовал в сражении при Бауцене. Это достоверно. На одном вечере, не помню, у кого именно, Булгарин беседовал об этой битве с Алексеем Алексеевичем Перовским, который в ней был действующим лицом с русской стороны, адъютантом князя Репнина. Булгарин описал это сражение в статье своей: «Знакомство с Наполеоном», напечатанной в

собрании его сочинений.

Впоследствии был он, в сражении при Кульме, в эскадроне польских улан, который пробился сквозь корпус прусского генерала Клейста. В кампанию 1814 года, во Франции, был он взят в плен прусским партизаном Коломбом и отправлен в Пруссию. Тогда случилось с ним происшествие, о котором он не любил говорить. Служивший тогда в одном из кирасирских полков гвардии товарищ Булгарина по Кадетскому корпусу, полковник Петр Иванович Кошкуль, едучи впереди своего эскадрона (на пути во Францию, близ берегов Рейна), встретив нескольких французских пленных, которых везли в Пруссию на тележках, не обратил внимания на это зрелище, повторявшееся довольно часто. Когда фура проехала шагов на сто, один вахмистр подскакал к Кошкулю и сказал ему:

— Ваше высокоблагородие! Один пленный француз приказал вам поклониться.

— Какой француз? Где?

— Вон, там на возу, ваше высокоблагородие.

— Да как ты его понял?

— Он говорит по-русски, как вы и я.

Кошкуль пришпорил коня и подскакал к указанному возу.

— Кто говорит здесь по-русски?

Один уланский офицер соскочил с возу и, закрыв лицо руками, сказал:

— Мне совестно смотреть на тебя, Кошкуль! Я Булгарин.

— Булгарин! — воскликнул честный Кошкуль в изумлении. — Это ты? Как тебе не стыдно говорить со мной, подлец!

— Теперь не до морали! — возразил Булгарин. — Я в крайности — есть нечего. Дай мне взаймы. Заплачу, как честный человек.

Кошкуль бросил ему несколько червонцев и ускакал. Жестоко, но справедливо.

Сам Булгарин сначала рассказывал об этом случае, но потом утверждал, что это неправда, что Кошкуль, на старости лет, не помнил, как были дела, и выдумывал небылицы. Нет, Кошкуль был человек благородный и правдивый и очень хорошо помнил, что говорит.

Заслужил ли Булгарин такую встречу со стороны своего школьного товарища и бывшего сослуживца? Заслужил и не заслужил —

с которой стороны взглянешь на дело. Заслужил по суду совести и по общему закону чести: он был русским подданным и дворянином, воспитан в казенном заведении на счет правительства, носил гвардейский мундир и перешел под знамена неприятельские. С другой стороны, он был поляк, и в этом заключается все его оправдание. У поляков своя логика, своя математика, составленная из слияния правил иезуитских с понятиями жидовскими. Наносить всевозможный вред своему врагу, нападать на него всеми средствами, пользоваться всеми возможными случайностями, чтоб надоест ему, оскорблять его правдой и неправдой и утешаться мыслью, что цель оправдывает средства. Ложь, обман, лесть, коварство, измена — все эти гнусные средства считаются у них добродетелями, когда только ведут к предположенной цели. Станем ли обвинять легавую собаку, что она, по внушению своей природы, гоняется за дичью, а кошку, что она ловит мышей?

Булгарин оправдывается тем, что он передался французам в то время (1810), когда, как выше сказано, Франция была с Россией в

дружбе и в союзе; но что мешало ему, при начале войны 1812 года, если не перейти обратно в русскую службу, то удалиться куда-нибудь и остаться нейтральным? Это советовал ему не только закон чести, но и голос благоразумия. От этой измены покрыл он себя бесславием и не мог добиться уважения ни у какой партии.

Пленных привели или, как говорят, пригнали в Россию. Вдруг прекратилась война взятием Парижа и низложением Наполеона: пленных разменяли, и полякам объявили безусловную амнистию. Булгарин, с другими освобожденными поляками, явился в Варшаве к цесаревичу. Константин Павлович принял его ласково и, указав на прежних товарищей его, Жандра, Албрехта и пр., в звездах и лентах, сказал:

— И ты был бы теперь генералом, если б остался у меня.

Булгарин отвечал:

— Ваше высочество! Я служил моему отечеству.

— Хорошо, хорошо! — возразил великий князь. — Теперь послужи мне!

Он предложил воротившемуся патриоту любое комендантское место в Царстве Польском, но Булгарин отказался, объявив, что должен ехать к матери и привести в порядок расстроенное свое имение. Он действительно любил и уважал свою мать, и когда, бывало, хотел подкрепить какую-нибудь колоссальную ложь, то клялся при ее жизни сединами матери, а по смерти ее тенью. Он свиделся с нею, но имения не нашел, потому, вероятно, что его и не бывало. Между тем возобновил он знакомство с своими родственниками. Дядя его, Павел Булгарин, бывший литовским подконюшим (подлый этот чин был в большом уважении в Польше), полюбив Фаддея за живой характер, за ум и находчивость, поручил ему вести процесс его с родственником графом Тышкевичем и Парчевским или, собственно, два процесса: один с Парчевским против Тышкевича, другой с Тышкевичем против Парчевского. Дело шло об восьми тысячах душ. Булгарину за ходатайство обещано было пять процентов, т. е. четыреста душ. Процесс производился в Сенате, и новый ходатай отправился в С.-Петербург. Здесь при-

нят он был в доме зятя своего Искрицкого, и не знаю, как попал во французский круг у генералов Базена, Сенновера и пр., читал им свои сочинения, которые кто-то переводил для него на французский язык.

В начале февраля 1820 года явился у меня в кабинете человек лет тридцати, тучный, широкоплечий, толстоносый губан, порядочно одетый, и заговорил со мной по французски: «Извините, милостивый государь, если я вас беспокою...»

Заметив с первого слова, что ему трудно говорить по-французски, я прервал его речь вопросом:

— Говорите ли вы по-русски?

— Говорю-с. Я поляк.

— Итак, к чему толковать по-французски? Скажите мне, пожалуйста, что вам угодно.

Тогда объявил он мне, что пришел по просьбе одного французского литератора де Сен-Мора, человека необыкновенно умного, ученого и благородного, который намерен читать лекции о французской литературе.

— Да какой он партии? — спросил я. — Кажется, отъявленный роялист.

— Точно, самый ревностный приверженец законной династии.

— Как же он может быть умным человеком? — сказал я. — Умный легитимист в нынешнее время не поедет из Франции, чтоб искать хлеба за границей. Видно, он олух и не знает, что делать; или так умен, что видит близкое падение своей партии. Вообще в нынешней Франции ум, знания, дарования — на левой стороне.

Мой собеседник захохотал весело.

— Так вот вы какой! А я думал, что вы ревнитель Бурбонов и монархического начала.

Мы разговорились и познакомились. Это был Фаддей Булгарин.

Я был в то время отъявленным либералом, напившись этого духа в краткое время пребывания моего во Франции (в 1817 г.). Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой запевалой был император Александр Павлович. Оппозиция Аракчееву, Голицыну и всем этим темным властям была тогда в моде, была делом известным, славой и знаменем тогдашнего юного поколения. Са-

мым либеральным журналом была «Северная Почта», выходившая под ведением министра внутренних дел Козодавлева. Семеновская история еще не навлекла мрачных туч на горизонте светлых идей и мечтаний: Революции греческая, а потом испанская и итальянская, встречали в России, как и везде, ревностных друзей и поборников. Булгарин, как щирый поляк, не мог не разделять этого движения умов. В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенькова, Тургеневых и пр. — цвет умной молодежи!

Несколько раз должен я напоминать, что Булгарин был в то время отнюдь не тем, чем он сделался впоследствии: был малый умный, любезный, веселый, гостеприимный, способный к дружбе и искавший дружбы людей порядочных. Между тем, по национальной природе своей, он не пренебрегал знакомством и милостью людей знатных и особенно сильных. Умел он сойтись и с гнусным Магницким, и с сумасбродным Руничем, и с глупым Кавелиным, познакомился с лицами, окружавшими Аракчеева, пролез и к нему самому. До 1823 года он литературой занимался мало,

посвящая все свое время, всю свою деятельность ведению своего процесса. И мне кажется, что занятия этим процессом, сопряженные с уловками и проделками, которые не всегда оправдываются законами чести и долга, имели вредное влияние на развитие его понятий и характера.

Для достижения своей цели он употреблял все возможные средства: с утра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокурорским передним, навещал секретарей и стряпчих, кормил и подкупал их, привозил игрушки и лакомства их детям, подарки женам и любовницам. Польская натура нашла в этих маневрах обильную пищу своей низкопоклонности, лести, хвастовству и хлебосольству с определенной целью. Эти подвиги, оправдываемые свойством его занятий, произвели в его уме смешанную теорию правил войны, сутяжничества и литературы. Потеряв возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряпчие; видя, что можно приобрести литературой известность, а с нею и состояние, он наконец взялся за нее, руководствуясь на каждом из сих поприщ правила-

ми — достигнуть цели жизни, т. е. удовлетворения тщеславию и любостыжанию. Эта теория не мешала ему притом быть человеком не злым, добрым, сострадательным, благотворительным и в минуту порыва готовым на пожертвование.

Он почитал и уважал добрые стороны в людях, даже те, которых сам не имел. Таким образом постиг он всю благодать, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренно верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать «Пчеле», то есть увеличению числа ее подписчиков. Признаюсь, если бы я знал, каков Булгарин действительно, то есть каким он сделался в старости, я ни за что не вошел бы с ним в союз. Но эти порывы мне казались простыми вспышками ветреного самолюбия. Я не видел, что в этом скрывалась только исключительная жадность к деньгам, имевшая целью не столько накопление богатства, сколько удовлетворение тщеславию.

Фридрих II сказал однажды о поляках: «нет подлости, которой бы не сделал поляк, чтоб

добыть сто червонцев, которые он потом выбросит за окно». К тому должно еще прибавить, что человек может исправиться от тех привычек и слабостей, которые привились к нему от ложного воспитания, от дурных обществ и примеров и т. п., но врожденные свойства его, и хорошие и дурные, с годами крепнут и возрастают. Так было и с Булгариным: в молодости он был любезен, остер, добродушен, обходителен; эти качества исчезали в нем с каждым годом, и с каждым годом увеличивалось в нем чувство зависти, жадности и своекорыстия, заглушая добрые его свойства.

Я приписываю странности и причуды Булгарина его воспитанию, обстановке и последовавшим обстоятельствам его жизни, но в самой основе его характера было что-то невольно дикое и зверское[39]. Иногда вдруг, ни с чего или по самому ничтожному поводу, он впадал в какое-то исступление, сердился, бранился, обижал встречного и поперечного, доходил до бешенства. Когда, бывало, такое исступление овладеет им, он пустит себе кровь, ослабеет и потом войдет в нормальное

состояние. Во время таких припадков он действительно казался сумасшедшим и бешеным, и было бы несправедливо винить его за то: это были припадки болезни нрава, уступавшие механическим средствам, т. е. кровопусканию. Когда я убедился в возрастании недружелюбия, зависти и злобы в Булгарине, надобно было бы расторгнуть нашу связь, но от нее зависело благосостояние моего семейства. Я сносил с терпением все его причуды, подозрения и оскорбления, но нередко выходил из терпения: так, в 1853 году не мог не восстать против него всенародно, вследствие его жалкого и подлого идолопоклонства перед музыкантом А. Контским. Потом поступил он со мной бесчестно и открыл всю глубину своей души. Между тем он впал в болезнь, и я не мог ничего сделать.

В то время, как я познакомился с Булгариным, он не доверял еще своему искусству владеть русским языком в литературном отношении, писал деловые бумаги при помощи подьячих — и очень искусно, что видно из выигранного им процесса своего дяди. Между тем, хотелось ему заработать что-нибудь ли-

тературной работой. Он вздумал издать «Оды Горация», с комментариями Ижевского и других критиков, но сам он знал по-латыни очень плохо, просто сказать, знал этот язык, как какая-нибудь полька, посещающая католическую церковь. Ему помог один мой родственник, и книжка вышла изрядная. Ижевский и некоторые другие латинисты жаловались на заимствование их примечаний, но Булгарин оправдался тем, что упомянул об этих заимствованиях в своем предисловии. В то время втерся он к Магницкому и Руничу и старался, при их помощи, ввести эту книгу в училища, но обещания их ограничились словами. Книга не раскупалась, и Булгарин решился пожертвовать ее в пользу училищ.

В намерении упрочить свое существование литературными трудами он обратился к русской и славянской истории. Набрав несколько исторических материалов, стал он издавать «Северный Архив», печатал в нем статьи интересные, но впадал в страшные промахи, особенно по недостаточному знанию иностранных языков, коверкал имена собственные, смешивал события, и если бы

издавал теперь, то не избежал бы обличений и насмешек, но в те блаженные времена, когда печатный каждый лист казался нам святым, и не то сходило с рук. Желая придать сухому журналу более интереса для читающей публики, Булгарин вздумал издавать при нем особые листки, под заглавием «Волшебный Фонарь», и тут попал в свою колею. Небольшие, вообще сатирические, картины нравов и исторические очерки понравились публике и поощрили его усердие. Занявшись легкой литературой, он оставил ученую, для которой не имел ни основательных познаний, ни особенного дарования. Я помогал ему усердно, особенно сглаживая слог, который отзывался полонизмами и галлицизмами.

В 1824 году разразилась надо мной катастрофа Госнера. Канкрин хотел, перед тем, взять меня на службу в Министерство финансов, но, узнав, что я предан суду, отложил это до моего оправдания. Тогда затеяли мы с Булгариным издание «Северной Пчелы», не прекращая ни «Сына Отечества», ни «Архива». Позволение министра просвещения получили мы без труда: Булгарин был знаком с (став-

шей потом женой Шишкова) Лобаршевской и через нее втерся к старику. Он даже называл и считал себя ее родственником, доколе Шишков был министром.

При начатии «Северной Пчелы» (в январе 1825 года), я уже вытрезвился от либеральных идей волею и неволею[40] и удерживал сарматские порывы Булгарина. За это ему доставалось от либералов. Рылеев, раздраженный верноподданническими выходками газеты, сказал однажды Булгарину: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной Пчеле» голову отрубим».

Булгарин, до испытания сил своих в мелкой литературе, вздумал заняться преимущественно русской историей и выбрал для этого период Самозванцев, при котором мог пользоваться польскими источниками. Героинею его была Марина Мнишек.

В мае 1823 года происходило публичное чтение Общества соревнователей просвещения и благотворительности. По болезни президента, Ф. Н. Глинки, председательствовал я, как вице-президент. Читаны были отрывки из биографии фон-Визина, кн. Вяземского,

стихи Василия Ив. Туманского и т. п., и, между прочим, отрывки из биографии Марины Мнишек Булгарина. Статья была слабая, плохо написанная: он не читал ее, а мямлил, и падение ее было совершенное. Это рассердило Булгарина и оградило на несколько лет от русской истории, которую он было считал игрушкой.

При успехе своих повестей и мелких статей, задумал он своего «Ивана Ивановича Выжигина», писал его долго, рачительно и имел в нем большой успех. Года в два разошлось до семи тысяч экземпляров. Роман этот ныне забыт и находится в пренебрежении, которого не заслужил. Должно вспомнить, что он был, по времени, первым русским романом и что им началась обличительная наша литература. Многие черты и характеры схвачены в нем удачно и умно. Видя успех «Ивана Выжигина», книгопродавец Алексей Заикин заказал Булгарину «Петра Выжигина», который был несравненно слабее и не принес выгоды. Алексей Заикин умер в холеру 1831 года, не дождавшись окончания издания романа. «Дмитрий Самозванец», по мне, еще слабее,

особенно тем, что автор берется изображать чувства любви и нежности. Он знал любовь и знал на практике, но не ту, которую описывают в романах.

В 1836 году затеял он большую спекуляцию, сочинение книги: «Россия в историческом, географическом и литературном отношении». Сотрудником ему был профессор Н. А. Иванов (сперва бывший в Дерпте, а потом в Казани). Трагикомическая судьба этого издания описана мной в статье об «Энциклопедическом Лексиконе». Последним большим предприятием Булгарина были его «Воспоминания», или «Записки», которых вышло 6 частей. В них много забавного, интересного, но — правду ли он писал? Не всегда. Я не думаю, чтоб он (лгал умышленно, но он украшал события и, непрерывно рассказывая их устно, сам привыкал верить, что они случались точно так, как он их рассказывает. Много, например, что он говорит обо мне, случилось не так, как он пишет. Иное прибавлял он с расчетом и, как говорят ныне, с задней мыслью.

Так, я спросил у него однажды, на что он в

3 томе «Записок» приплел историю о подвигах Наполеона I в Байонне, в 1808 году: они вовсе не идут к делу. Он признался мне, что внес этот эпизод, чтобы сказать о прибытии в Байонну графа А. И. Чернышева курьером от императора Александра Павловича и угодить тем графу, которого просил о переводе свояка его, полковника Руднева, в гвардейский Генеральный штаб! Все штуки, все проделки, все интриги! А у него был такой самородный талант, что он мог бы обойтись и без этих средств!

Он писал с большой легкостью, что называется сплеча, но легкомыслие его было еще больше. Никогда, бывало, не справится с источником или действительностью какого-либо случая, а пишет, как в голову придет. Таким образом он бросился однажды на немцев за то, что они употребляют слово *luxuries*, слово неблагопристойное. Совсем нет, по-немецки оно значит просто роскошный и происходит отнюдь не от французского *luxe*. В другой раз он вздумал утверждать, что немецкий писатель Геллерт жил девять лет в России, всегда любил ее и вспоминал о ней с удоволь-

ствием, Геллерт же не выезжал из Лейпцига, — Булгарин, вероятно, смешал его с Гердером. Говорю о промахах, которые проскользнули в печати, а сколько исключено и исправлено было в рукописях! Он знал русский язык хорошо, но был очень слаб в грамматике, и, например, никак не мог различить падежей местоимения: ея и её. Всегда писал: любит ея. И латыни доставалось под пером его, хотя он очень любил латинские цитаты. Так, вместо: *sine qua non*, он писал: *si non qua non*, и любил вставлять латинские слова для объяснения русских терминов, как-то: съемок (*facsimile*) и т. п.

Не могу исчислить всех его изданий: «Экономия» и проч., которые он предпринимал с экономическим расчетом.

Между тем, скажу прямо: он не заслуживал той брани, тех клевет, которыми его осыпали при жизни и осыпают по смерти. Главной тому причиной было, что он ни с кем не умел ужиться, был очень подозрителен и щекотлив и при первом слове, при первом намеке бросался на того, кто казался ему противником, со всею силой злобы и мщения. Так,

например, произошла его вражда с Н. А. Полевым, продолжавшаяся несколько лет. Полевой начал свой «Телеграф» в одно время с «Пчелою». Уже этого было бы довольно, но он дерзнул упомянуть в своем объявлении, что странно отвергать переводы в журналах, а Булгарин именно говорил об этом в одной из своих программ. Вот и загорелась война. Признаюсь теперь, по истечении пятидесяти лет, что я мог бы в то время остановить Булгарина, но меня забавляла эта брань, к тому же я был товарищем Булгарина и считал обязанностью помогать ему в обороне; да и высокомерный и заносчивый Полевой сам подавал к тому повод. В 1827 году сошлись мы с Полевым на обеде у П. П. Свинына, объяснились и с тех пор оставались друзьями, но с Булгариным не обходилось без вспышек.

Всего более повредил Булгарину разрыв с благородной партией нашей литературы: Карамзина, Жуковского, Пушкина. Первый повод к тому подал мерзавец Воейков своими переносами, сплетнями, клеветами. В его биографии сказано о том подробно. Между тем, все могло обойтись без явной войны, и, дей-

ствительно, несколько лет продолжалась перепалка, но большей частью холостыми зарядами. Выше говорил я о споре, поднятом Булгаринным по поводу объявления его о числе подписчиков на «Инвалида» и на «Сына Отечества». С тех пор господствовала на поле бранном тишина, но война разразилась вновь в 1829 году, и поводом к ней было увольнение от «Пчелы» одного сотрудника.

Должно заметить, что мы с Булгаринным имели по «Пчеле» разных сотрудников. Мои, по переводам и выпискам из иностранных газет, работали лет по десяти и более. Со всеми расстался я дружелюбно и остался в добрых с ними сношениях. Булгарин брал и отставлял, привлекал и выгонял своих сотрудников беспрерывно и обыкновенно оканчивал дело с ними громким разрывом, сопровождавшимся непримиримой враждой. Он трактовал их, как польский магнат трактует служащих ему шляхтичей: то пирует, кутит, кохается с ними, то обижает их словесно и письменным, как наемников, питающихся от крох его трапезы.

В числе этих несчастных илотов был Орест Михайлович Сомов, учившийся в Харьков-

ском университете. Он знал французский и итальянский языки и очень хорошо писал по-русски, переводил умно и толково и рачительно исполнял всю мелкую работу по газете. Нрава он был доброго и кроткого, человек честный и благородный, но совершенно недостаточный. По сотрудничеству в «Пчеле» получал он по четыре тысячи рублей (асс.) в год за составление фельетонов, смеси, объявлений о книгах с коротким обсуждением их и т. д. Он работал у нас года два. Вдруг, в конце 1829 года, Булгарин за что-то прогневался на него и завопил: «Вон Сомыча! Вон его!» — и действительно объявил ему отставку. Лишенный таким образом средств к существованию, Сомов предложил свои услуги барону Дельвигу, который задумал издавать «Литературную газету», но, по лености и беспечности своей и по непривычке к мелочам редакции, охотно принял его предложение. Вот Булгарин и струсил, видя, что на него поднимется невзгода. Встретясь с Сомовым, в декабре 1829 года, на Невском проспекте, спрашивает:

— Правда ли, Сомыч, что ты пристал к Дельвигу?

— Правда!

— И вы будете меня ругать?

— Держись!

Это слово, как искра, взорвало подкоп в сердце и в голове Фаддея. Воротившись домой, он сел за письменный стол и написал статью на объявление о «Литературной газете», стал бранить и унижать ее еще до выхода первого номера. Но этого было для него недостаточно. Узнав, что Пушкин намерен помогать Дельвигу своим содействием, он еще более испугался и, не дожидаясь первого выстрела с неприятельской батареи, сам начал атаку, не против Пушкина-писателя, а против Пушкина-человека. В фельетоне 30-го номера «Сев. Пчелы» (1830), выставив, будто бы из английских журналов, двух французских писателей, говорит об одном: «Он природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое, существо как устрица, а голова род побрякушки, наполненной гремучими рифмами, где не

зародилась ни одна идея, который, подобно исступленным в басне Пильпая, бросающим камни в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан».

В то время Пушкин действительно старался о получении звания камер-юнкера, единственно для того, чтоб возить свою красавицу жену ко двору и в большой свет. Слова фельетона задела его за живое, но напрасно он сердился: этих намеков никто не думал применять к нему; никто, кроме особ, приближенных к нему, не знал о его домогательстве, и я сам, если б мне растолковали, что в этой карикатуре Булгарин хотел изобразить Пушкина, никак не согласился бы на помещение ее в «Пчеле». Бедный Пушкин! Он не догадывался, что Булгарин, как зловещий ворон, прикаркнул ему о бедственной судьбе, которая ожидала его на паркете, ибо нет сомнения, что он погиб вследствие досады придворных дураков на то, что среди них явился человек умный и гениальный. Какого-нибудь Баркова или Пельчинского терпели равнодушно. По-

единок Пушкина произошел от интриг некоторых сверстников его по двору[41]. Булгарин, видя, что первый выстрел его не отозвался в обществе, зарядил свое ружье вторично. Однажды, кажется у А. Н. Оленина, Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем «что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте Петру Великому за бутылку рома!» Булгарин, услышав это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной Пчеле» этот отзыв. Сим объясняются стихи Пушкина: «Моя родословная».

Эта оскорбительная выходка, не вызванная Пушкиным, озлобила его на Булгарина и возбудила негодование во всех литераторах, любивших первостепенного нашего поэта. Она и была причиной той ненависти, той злобы, которую питали и питают к Булгарину большая часть наших писателей.

На меня Пушкин дулся недолго. Он вскоре убедился в моей неприкосновенности к штукам Булгарина и, как казалось, старался сблизиться со мной. Мы раз как-то встретились в книжном магазине Белизара (ныне Дюфура).

Он поклонился мне неловко и принужденно, я подошел к нему и сказал, улыбаясь: «Ну, на что это походит, что мы дуемся друг на друга? Точно Борька Федоров с Орестом Сомовым». Он расхохотался и сказал: «Очень хорошо!» (любимая его поговорка, когда он был доволен чем-нибудь). Мы подали друг другу руку, и мир был восстановлен.

В конце 1831 года, вознамерившись издавать «Современник», он приезжал ко мне и предлагал мне участие в новом журнале. Я отвечал, что принял бы его предложение с величайшим удовольствием, так не знаю, как освободиться от моего польского пса. Пушкин сам сознался, что это невозможно, и прибавил, смеючись: «Да нельзя ли как-нибудь убить его?» У меня стало бы довольно досуга на это занятие, но Булгарин преогорчил бы жизнь мою, если бы увидел, что журнал Пушкина, при моем содействии, идет не худо, а «Пчелу» я не мог оставить без совершенного себе разорения.

Я не могу писать сплошь о похождениях и действиях Булгарина, потому что они состоят из отдельных явлений и подвигов. Расскажу

некоторые, лишь замечательные, эпизоды. В числе их важна история нашего ареста 30 января 1830 года.

В декабре 1829 г. вышел «Юрий Милославский» М. Н. Загоскина и произвел самое выгодное впечатление в нашей публике. Его читали везде, и в гостиных, и в мастерских, в кругах простолюдинов, и при высочайшем дворе, и неудивительно: это был первый, по времени, истинно русский роман, не безошибочный, не совершенный, наполненный анахронизмами и несообразностями, историческими и грамматическими промахами, но оригинальный, написанный с каким-то милым простодушием, точно рассказ доброй бабушки о былых временах. Все восхищались «Юрием», прощая его недостатки; досадовал и сердился на него один Булгарин, отпечатававший последние листы своего «Дмитрия Самозванца». Досада внушена ему была не авторский самолюбием, боявшимся превосходства своего соперника в литературе, а боязнью за коммерческий успех своего нового произведения. Вот он и начал нападать на Загоскина и его сочинения. Самую жестокую

статью (в №№ 7–9 «Сев. Пчелы», 1830) написал, по усиленной просьбе Булгарина, наш сотрудник А. Н. Очкин. Грамматические и исторические промахи заметил я, многогрешный. Дело обошлось бы без шума, если бы не вступился за Загоскина Воейков: он нещадно обругал и Булгарина, и всех его сотрудников, обвинив их в несправедливости и зависти. Государь, которому понравился «Юрий Милославский» до того, что он приблизил Загоскина к своей особе, вознегодовал на эту перебранку и велел Бенкендорфу объявить воюющим сторонам, чтоб они прекратили бой.

Бенкендорф передал приказание М. Я. фон Фоку, а этот нежный, добрый человек смягчил выражение неудовольствия государева, объявив Булгарину, что в этих перебранках не должно звать противников по имени. «Слушаю-с», — отвечал Булгарин, сел и написал (напечатанную № 13 «Пчелы», 30 января) жаркую отповедь Воейкову, не назвав Загоскина.

В этот день приехал я домой к обеду около четырех часов. Мне подают конверт с официальной надписью: «Его Высочородию

Н. И. Гречу, от генерал-адъютанта Бенкендорфа». В нем нашел я официальное приглашение за номером немедленно явиться к шефу жандармов. Недоумевая, о чем идет дело, я отправился к Бенкендорфу. Он встретил меня с важной официальной миной и, отдавая пакет на имя с.-петербургского коменданта Башуцкого, сказал:

— Я говорил вам неоднократно, чтоб вы прекратили ваши перебранки. Теперь терпите. Извольте ехать с этой бумагой к коменданту.

— Помилуйте, ваше высокопревосходительство, — сказал я, — когда вы мне говорили?

— Не я сам, а Максим Яковлевич от меня, именем государя.

— Да не мне лично.

— Все равно, Булгарину или вам. Вы должны были бы его удерживать.

— Позвольте, — сказал я, — попросить вас — пошлите адъютанта или кого-нибудь другого ко мне в дом с объявлением, что я остался обедать у вас. Обо мне будут беспокоиться. Домашние мои Бог знает что подума-

ют, когда я не ворочусь.

— Извольте, — отвечал добрый Бенкендорф, — это будет исполнено; но вы теперь же извольте ехать.

Я повиновался, поехал в Зимний дворец, явился к коменданту, подал ему пакет. Башуцкий, привыкший к посланиям сего рода, не сказал мне ни слова, сел за стол и начал писать приказание о посадении меня на гауптвахту.

В это самое время вошел Воейков. Я не видал его давно и ужаснулся, взглянув на него теперь. Он вошел, сторбясь и прихрамывая (он упал за несколько месяцев с дрожек и крепко ушибся), исхудалый, бледный, с широким черным пластырем, покрывавшим нос и часть щеки. Башуцкий, кончив бумагу, сказал мне:

— Извольте идти с плац-адъютантом на дворцовую гауптвахту.

— Ваше высокопревосходительство, — сказал я ему, — я здоров и могу просидеть в каком угодно месте. Потрудитесь, пожалуйста, посадить на дворцовую гауптвахту, сухую и теплую, господина Воейкова: вы видите, он

слаб и болен. Холод и сквозной ветер могут повредить ему.

— Не беспокойтесь, — отвечал комендант, — я и господина Воейкова посажу в теплое место.

Воейков, изумленный моим предложением, бросился ко мне на шею с восклицанием: «Ah, mon genereux ami, je vous reconnais a cette generosite!»[42]

Я с трудом удержал его от великодушного облобызания меня и пошел по коридорам плац-адъютанта. Не знаю, что обратило на себя мое внимание; я остановился и посмотрел в сторону. Офицер, полагая, может быть, что препровождаемый в тюрьму государственный преступник высматривает, как бы улизнуть, сказал мне, впрочем очень учтиво: «Не извольте останавливаться и смотреть по сторонам: вы наш!» Пришли на гауптвахту. В тот день был в ней караул от Преображенского полка, лишь только воротившегося из турецкого похода, и караульным офицером был штабс-капитан князь Несвицкий, с которым видался я в Английском клубе. Прочитав бумагу, закричал он придворному лакею, на-

крывавшему на стол: «Еще прибор!» — и пригласил меня сесть. Тут же нашел я Александра Христиановича Граве и еще несколько знакомых офицеров. Сели за придворный стол, очень хороший, и усладились вином с царского погреба. В приятном обществе, выслушавшем со смехом историю и повод моего заключения, не видал я, как прошло время до вечера. Мне дали в распоряжение вестового: я написал домой о моей катастрофе и просил прислать мне подушку и книг — именно: «Les memoires d'un homme d'Etat». Пришел брат мой, бывший тогда капитаном Финляндского полка, и не мог скрыть огорчения, что находит меня под арестом. Я успокоил его изложением всего дела: видно, он думал, что со мной сделалось Бог знает что. В девять часов прибыл дежурный по караулам полковник Константин Антонович Шлиппенбах и, увидев меня арестантом, расхохотался; и в ту же минуту вошел флигель-адъютант с объявлением: «Государь позволяет вам ехать домой». Признаюсь, мне лень была ехать: я было уже расположился провести ночь на диване с моей подушкой, читая книгу. Воротясь домой,

где меня ожидали с нетерпением и страхом, я, входя в комнату, запел арию из немецкой оперы «Die Schwestern von Prag»:

*Wer niemals in der Wachte war.
Kennt das Vergnügen nicht[43].*

На другой день пригласил меня к себе Бенкендорф, обошелся со мной очень учтиво, объял меня и старался утешить и успокоить во вчерашней невзгоде. Я говорил с ним, улыбаясь, и уверял, что нимало не сетую на государя, потому что не заслужил его немилости. «Неужели можно мне сердиться на архитектора, когда с его строения упадет камень на голову! Мало ли чего бывает в свете!» Этот оборот ему понравился, и он хвалил меня потом перед другими за это равнодушие, прибавляя: *c'est que c'est un homme d'esprit!*[44] Так дело с моей стороны прекратилось. Впоследствии я узнал, что А. А. Закревский, у которого я был, на службе по Министерству внутренних дел, услышав о моем аресте, оделся, чтоб ехать к государю и просить о моем освобождении, но остался, узнав, что я уже выпущен. И В. А. Жуковский просил или соби-

рался просить о том государя.

Воейкова комендант отправил в Старое Адмиралтейство. Булгарин в тот день обедал у И. В. Прокофьева в большой компании. Лишь только он принялся за свежую икру, ему подали послание Бенкендорфа. Он взял конверт, понюхал и сказал шутя сидевшему подле него городскому главе, Н. И. Кусову: «Не крепостью ли пахнет? Я поеду к генералу, но ты, Николай Иванович, береги мою икру. Ворочусь сейчас». Бенкендорфа не было дома, и Булгарину отдали бумагу к коменданту. Башуцкий лег отдохнуть после обеда, и Булгарин дожидался его, голодный, до семи часов. Тогда отправили и его в теплое местечко. Жена его, узнав, что муж сидит в Адмиралтействе, отправилась в Старое и спросила у входа:

— Где сидит под арестом сочинитель, что книжки пишет?

Ей сказали:

— Здесь, сударыня, извольте войти!

Она входит в комнату и попадает в объятия — Воейкова.

— Какими судьбами Бог принес вас сюда, Елена Ивановна?

— Ах, это не тот! — отвечает она со злобой. — Это каналья и мошенник Воейков. Мне надо Булгарина.

— Верно, он отправлен в Новое Адмиралтейство, — сказали ей.

Она отправилась туда и очутилась в неясных объятиях чувствительного Фаддея.

Это происшествие очень огорчило Булгарина: ему стыдно было, что другие за него заплатились, и он выразил свое огорчение Бенкендорфу, называл себя обиженным, обещенным, говорил об отчаянии жены и проч. Недели через три вышел «Дмитрий Самозванец», и автор его получил в подарок от государя богатый бриллиантовый перстень. В память нашего ареста он подписал под портретом государя: 30 января 1830, и никогда не прощал этого оскорбления.

Булгарина обвиняли во взятках за статьи; он не брал денег, а довольствовался небольшой частичкой выхваляемого товара или дружеским обедом в превознесенной новой гостинице, вовсе не считая этого предосудительным: брал вознаграждение, как берут плату за объявления, печатаемые в газетах. И

я брал взятки своего рода: печатая статьи о новоприезжих знаменитых артистах, я приглашал их к себе на вечера, и они тешили своими талантами меня, мою семью, моих приятелей. Когда, в 1845 году, в Бонне, на празднестве, при открытии памятника Бетховену, я вошел, в гостинице Zum goldnen Stern, в общую столовую, бросились ко мне Лист, Серве, Сивори, Дулькен, Блаз с женой и еще некоторые другие артисты, бывавшие в Петербурге, и потом пили за мое здоровье. Это изумило Жюль-Жанена, сидевшего за столом подле меня.

— Как они превозносят русского журналиста! — сказал он. — Нам не добиться этой чести!

— Точно так, — возразил Блаз, — в Париже мы потчеваем журналистов, а в Петербурге журналисты нас угощали.

Еще оскорбительнее и несправедливее было обвинение Булгарина в шпионстве. Опишу все случаи и обстоятельства, подавшие повод к этому гнусному обвинению.

Я был знаком с директором Особенной Канцелярии министра внутренних дел (что

ныне III Отделение Канцелярии государя), Максимом Яковлевичем фон Фоком, с 1812 года и пользовался его дружбой и благосклонностью. Он был человек умный, благородный, нежный душой, образованный, в службе честный и справедливый. Ему обязаны государь и Россия многими благими мыслями и делами (с 1825 по 1831 год, в котором он умер 27 августа, в день покорения Варшавы); Бенкендорф был одолжен ему своею репутациею ума и знания дела. В последние годы царствования Александра впал он в немилость, по наговорам и козням Магницкого и других негодаев, старавшихся посредством его столкнуть графа Кочубея. Он не был удален от службы, но все дела по секретной части производились у Аракчеева и у военного генерал-губернатора графа Милорадовича. Эта секретная часть, занимаясь пустяками и ничтожными доносами, не понимала ни духа, ни желания публики, и дала совершиться гнусному и пагубному взрыву 14 декабря 1825 года. На другой день после петербургской вспышки написал я записку о причинах этого возмущения и между прочим сказал, что тому способствовало уда-

ление многих способных людей, и в том числе М. Я. фон Фока. Я подал эту бумагу новому военному генерал-губернатору, П. В. Кутузову, для поднесения государю; но так как в то время, для секретных дел, составлено было III Отделение Канцелярии е. и. в., то он препроводил туда и эту бумагу. Таким образом она попала в руки фон Фоку, который узнал из нее мою искреннюю дружбу и уважение к нему, бывшему тогда в немилости и всеми оставленному. Это сблизило нас еще более и доставило мне случай делать, при посредстве фон Фока, много добра и еще более предупредить зла. Булгарин побаивался его, помня за собой многие грешки, впрочем неважные и происходившие от польской дерзости, смешанной с трусостью.

Когда в июне 1826 года обнародовано было «Донесение Следственной Комиссии» и оказалось, кто именно и за что обвинен, — следственно, нельзя было опасаться никаких по этому делу обвинений, — я, между разговорами, сказал Булгарину: «Теперь это дело прошлое. Помнишь ли ты разговор наш 14-го декабря, когда мы сходили с крыльца, чтоб

ехать в Сенат за манифестом? Ты сказал мне: «Если б я знал, что ты умеешь хранить тайну, то сообщил бы тебе секрет». Я отвечал: «Не хочу знать твоих глупых секретов». — «Ну, ну, не сердись! Скажу тебе, что Александр Бестужев бежит в эту ночь». На это я возразил: «Так вот твой секрет! Что тут дивного? Бестужев, адъютант герцога Виртембергского, конечно, нагрубил или сделал какую-либо неприятность великому князю (так мы называли тогда Николая Павловича), и теперь струсил. Скажи, пожалуйста, кто тебе тогда открыл это?» Булгарин отвечал, смутившись: «Это мнеска-залатанта[45]», — и прервал разговор.

На другой день, 25 июня, пришел он ко мне поутру и, нашедши несколько чужих, повел меня в другую комнату и сказал дрожащим голосом с умиленным видом: «Любезный Греч! Понимаю, что ты, как верноподданный государя, обязан доносить ему обо всем, что может быть ему полезно. Но мне, как старому другу, сделай одолжение, если ты, по долгу присяги, донес об нашем разговоре фон Фоку, признайся откровенно, чтоб я

мог принять мои меры».

Я не знал, смеяться ли мне или сердиться этому глупому навету, и отвечал: «Если ты думаешь, что я подлец, то я хочу, чтоб ты, по крайней мере, не думал того же о фон Фоке. Требую, чтоб ты непременно сегодня же поехал со мной к нему и узнал, что это за человек».

Мы действительно отправились на дачу к фон Фоку, и я представил ему Булгарина с следующими словами: «Вот Булгарин, о котором я доносил вам, что он участвует в заговоре Рылеева и Бестужева». М. Я. фон Фок принял нас дружески. Булгарин рассыпался в любезностях и островах и понравился как хозяину, так и всему семейству; водворился у него в доме и посещал его ежедневно, но не доносил, а выспрашивал и выглядывал, не грозит ли какая-либо беда ему или «Пчеле». Он был представлен фон Фоком и Бенкендорфу, кланялся, льстил и хвалил по-польски, но никогда не был употребляем по секретным делам и только разве жаловался на обиды, которые претерпевал от Воейкова, Краевского и других журналистов. Он до крайности боялся

жандармерии и, завидя издали лошадь с синим чапраком, хватался за шляпу и кланялся.

Бенкендорфу понадобился польский секретарь. Фаддей рекомендовал ему друга своего, Леонарда Викентьевича Ордынского, человека честного, насколько поляк может быть честен. Булгарин полагал, что будет через Ордынского еще лучше узнавать, не готовится ли какая напасть на «Пчелу», но ошибся в своем расчете. Ордынский, утвердись на своем месте, поднял нос перед своим патроном и на вопрос Булгарина: «Неужели ты не будешь сообщать мне, если кто-нибудь станет мне угрожать из графского кабинета?» — отвечал с благородной гордостью человека, не имеющего нужды в спрашивающем: «Ничего тебе не скажу, ибо не хочу осрамить твоей рекомендации, и ни в каком случае не нарушу моих обязанностей ни для кого». Булгарин опешил, испугался неожиданной честности своего бывшего друга и клиента и даже стал его бояться. Ордынский не только не прекращал с ним дружбы, но сблизился с ним еще более, водворился у него в доме и стал хозяйничать и командовать, как у себя. Булгарин не смел

пикнуть и предоставил ему делать что угодно. До каких пределов простиралась эта уступчивость, по совести, сказать не могу. Она прекратилась только смертью Ордынского в мае 1852 года. Булгарин почтил память его в «Северной Пчеле» великолепным некрологом. Он имел все причины оплакивать Ордынского, который удерживал его от многих необдуманных и даже неблагородных поступков. Если б Ордынский был в живых до 1856 года, не последовало бы тех непростительных подвигов против меня, которыми Булгарин посрамил свою память.

Люди, не знающие дела, обвиняют Булгарина в том, будто бы он донес на родного племянника своего, подпоручика Генерального штаба Демьяна Александровича Искрицкого, в том, что он был у Рылеева в собрании мятежников 13 декабря. Это суцая ложь. Искрицкий приходил ко мне 14 декабря часов в 12 утра; потом остановился под окнами моей квартиры в доме Бремме, на углу Исаакиевской площади и Новоисаакиевской улицы, и простоял часов до четырех, то есть до сумерек. На третий день приходит ко мне Булга-

рин и рассказывает, что Искрицкий объявил ему, что накануне мятежа он был у Рылеева, видел некоторых офицеров и других, но в разговорах и суждениях их не участвовал. Булгарин прибавил, что это объявление его сконфузило, потому что у него, может быть, спросят, знает ли он о присутствии Искрицкого у Рылеева: что делать в этом случае? Я отвечал: «Если спросят, то отвечай правду, а пока не спрашивают, молчи». В это время Булгарин был в страшной тревоге и всячески старался допроситься, что происходит в Следственной комиссии, кто и что отвечает и т. п.

Между тем брат Демьяна, Александр Искрицкий, бывший тогда юнкером в Артиллерийском училище, пришел к Булгарину в небытность его дома и попросил его жену отдать ему книгу его, назвавши ее Lenchen (Леночка), как называли ее до свадьбы, бывшей за четыре месяца перед тем. Вдруг выскочила танта из другой комнаты и закричала: «Мой племянник нет есть Lenchen. Он есть Frau Capitanin von Boulgarin»[46]. Искрицкий отвечал, улыбаясь: «Она все та же наша liebes Lenchen», — и ушел с книгой. Когда Булгарин

воротился домой, танта вскинулась на него: «К чему же вы женились на Lenchen, когда ваши племянники трактуют ее, как девку? Сейчас приходил ваш племянник Александр и разругал ее наповал!» Булгарин вспыхнул, сел за письменный стол и настрочил к Демьяну ужаснейшее письмо, назвав отца его взяточником, а мать (свою сестру) непотребной женщиной, спрашивал, как брат его, Александр, дерзнул разругать благородную женщину, и грозил приколотить всех их. Вскоре затем Демьян явился к Булгарину, у которого сидел тогда в гостях Владислав Максимович Княжевич, и, держа в руках письмо, спросил:

— Кто это написал?

Булгарин, побледневши, отвечал: «Я!»

— Так вот тебе, подлец! — возразил племянник, ударив его в щеку.

Булгарин отвечал тем же. Княжевич поспешил уйти. В ожесточенной драке они приколотили друг друга. Лицо Булгарина покрылось синяками, он сорвал с Искрицкого эполеты и аксельбант, и оба они слетели с лестницы.

На другой день явился ко мне Булгарин в

синих очках, которые носил после всякого подобного побоища, и объявил: «Беда мне. Я побил вчера подлеца Демьяна и теперь вижу, что я погиб. Он донесет, что я знал о присутствии его в собрании у Рылеева».

Я старался успокоить его, но он был неутешен. Через несколько дней встретился с ним Андрей Андреевич Ивановской, чиновник канцелярии Следственной комиссии, и сказал ему: «Бедный Искрицкий! Его возьмут завтра. Доискались, что он был накануне 14-го числа в совете у Рылеева».

Булгарин обмер и, воротясь домой, написал Демьяну Александровичу, что имеет сообщить ему о важном деле, и просил его прийти. Демьян, думая, что случилось что-нибудь с его отцом или матерью, прибежал немедленно. Булгарин, указывая ему на стакан с водой, сказал:

— Смотри, Демьян, осьмой стакан холодной воды пью и не могу утолить огня, который жжет меня. Тебя возьмут завтра.

Демьян Александрович отвечал:

— Покорнейше вас благодарю за донос.

— Нет, — возразил Булгарин, бросившись

на колени и сложив пальцы накрест, — клянусь тебе сединами моей матери, я не доносил на тебя.

— Так почему же вы это знаете?

— Узнал случайно, — сказал Фаддей, — но от кого, сказать не смею. Поверь мне, клянусь.

— Дудки! — промолвил Искрицкий и пошел домой.

На другой день явился в чертежной Топографического депо адъютант Кутузова, полковник Манзей, и спросил у бывших там офицеров:

— Кто из вас господин Искрицкий?

— Я, — отвечал Демьян Александрович, — что вам угодно?

— Пожалуйте со мной.

— Куда? В крепость?

— Точно так!

— Иду. Прощайте, господа, — сказал он товарищам, — это штуки Булгарина.

Через несколько недель приехал в Петербург Александр Михайлович Искрицкий. Булгарин просил меня пойти к нему и объяснить дело. Искрицкий, который был всегда очень

хорош со мной, встретил меня с огорчением, но учтиво, и, когда я заговорил о Булгарине, прервал меня словами:

— Ради Бога, Николай Иванович, не говорите об этом подлеце, которого я одевал, обувал, кормил, когда он возвратился из плена нагой, босой и голодный. Не верю никаким доказательствам.

— Итак, отложим это дело до освобождения Демьяна Александровича: он приговорен к шестимесячному аресту в крепости; это время пройдет скоро, и тогда я докажу вам истину моих слов.

В продолжение ареста посылал я к отцу Демьяна французские книги для чтения Демьяну, и он обходился со мной дружески. Наконец, осенью 1826 года приходит ко мне Булгарин и говорит: «Демьян выпущен и уже дома. Сделай милость, поди туда и уладь наше дело». Я пошел с удовольствием. Демьян лежал на канапе в гостиной. Увидев меня, он вскочил и бросился меня обнимать, благодаря за неоставление его в крепости. И отец и мать благодарили меня со слезами за мое участие. Когда улеглись первые порывы, я сказал мо-

лодому человеку:

— Демьян Александрович! Теперь ваша обязанность примирить ваших родных, объяснив, как было дело. Ведь не Булгарин донес на вас.

Демьян покраснел и смутился.

— Помилуйте, Николай Иванович, — сказал отец его, — зачем вы нас смущаете, говорите о человеке, которого мы все ненавидим и презираем. Сын мой встал из могилы полумертвый, а вы напоминаете ему о подлеце, который его сгубил было.

— Александр Михайлович, — возразил я, — я думал, что принесу вам удовольствие, помилив Булгарина с его роднёю, а если вам это неудобно, делайте как хотите. Я не имею в этом никого голоса.

Поговорив еще несколько минут, я отправился к Булгарину и объявил ему о моем неуспехе. Тем дело и кончилось. Демьяна перевели тем же чином в Оренбургский гарнизон и, когда открылась война с Персиею, послали на Кавказ. Он служил очень усердно, сражался храбро (при графе П. П. Сухтеленe) против неприятеля и, при заступничестве

этого благороднейшего человека, конечно, выбрался бы из крайнего положения, но не дожил до того: умер от болезни в селении Царские Колодцы. Впоследствии узнал я от Сухтелена, что он до конца своей жизни называл Булгарина виновником его несчастья. Это было нехорошо. На него показал в Следственной комиссии граф Коновницын, а Булгарин только вел себя как безмозглый поляк, но никогда не думал доносить.

Эта клевета чернила Булгарина при жизни, чернит и по смерти. Долгом поставляю протестовать против такой несправедливости. Все произошло от трусости (*lache*) Булгарина, смешанной с дерзостью и необузданностью нрава. Всему источником была гнусная, злая баба (танта), которую сам Булгарин ненавидел в душе своей.

Я сказал выше, что смерть Ордынского отняла у Булгарина последнюю нравственную опору: он перестал бояться строгости Ордынского и предался влечению всех страстей своих.

Теперь расскажу мои последние сношения с ним. В 1838 году, когда мы передавали «Пче-

лу» Смирдину и брали себе в сотрудники Полевого, составлен был наш бюджет, по которому сын мой, Алексей, получал за сотрудничество в год по три тысячи рублей ассигнациями. Года через три Булгарин вздумал отнять у него эти деньги под тем предлогом, что я, живучи за границей, должен платить ему за труды от себя, а не из общей кассы: он выпустил из виду, что сам проводил большую часть года в Дерпте и в Карлове и в это время там не занимался «Пчелою» непосредственно. Всего грустнее и подлее в этом покушении то, что он старается уверить моего сына, будто я не люблю его так, как любит его он, Булгарин. Материальным следствием этой переписки было то, что сын мой перестал получать из кассы «Пчелы» по 3 тыс. руб., и я в то же время ассигновал ему из моей частной кассы по 5000 рублей. Морально же этот ответ моего сына глубоко уязвил Булгарина, и когда я, в 1847 году, собираясь долее пожить за границей, хотел передать мои дела в «Пчеле» в собственность моему сыну при моей жизни, Булгарин объявил свое согласие, под тем условием, чтоб я за эту передачу заплатил ему, Бул-

гарину, десять тысяч рублей. Разумеется, что после этого передача не состоялась.

К этому принадлежит любопытный эпизод подвигов Булгарина. Он стал сообщать мне разные пустые и нелепые статьи, переводные и оригинальные, сыновей своих Болеслава и Владислава, из коих первый был сущий идиот, и просил печатать в «Пчеле» под их именем. Ему хотелось сделать их сотрудниками.

Через несколько времени спрашивает он у нашего письмоводителя Кузнецова:

— Сколько получает Алексей Николаевич за участие в «Пчеле»?

— Сколько? Ничего, — отвечает Кузнецов, — ведь вы у него отняли доход, который он получал.

Фаддей забыл об этом своем подвиге и надеялся заставить меня платить такую же сумму его детям, какую получал мой сын. С этой минуты прекратилось сотрудничество детей его, и он уже не упоминал о их талантах, которые дотоле превозносил до небес.

Теперь следует приступить к последнему, самому интересному и продолжительному акту жизни и подвигов Булгарина и действий

его со мной, который дает полное понятие о его нравственном характере и о преобладавших в нем страстях.

В 1840 году, по миновании срока первому нашему контракту, Булгарин начал крепко настаивать на заключении нового и сам написал его вчерне со всякими для меня уступками, например, доход с «Пчелы» полагал он делить не поровну, а мне получать на пять тысяч рублей ассигнациями более против него; в случае его смерти, я обязывался выплатить его жене и детям в первый год три тысячи, во второй две тысячи, в третий тысячу рублей, тем и прекращались все мои обязанности, и «Пчела» поступала в мою исключительную и безусловную собственность. Я не знал, чему приписать такую щедрость, думал, что ему насолила жена или тетья, и пр., но, разумеется, охотно согласился. Контракт был заключен по всей форме, подписан нами и явлен у нотариуса. Вскоре, видно, Булгарин раскаялся и однажды с замешательством объявил мне, что желает еще, чтоб я выделил после его смерти известную сумму на воспитание его детей. Я согласился охотно; он бросил-

ся обнимать и целовать меня. Через несколько времени, когда пришлось сводить счеты, управляющий наш (Монтандр) объявил мне, что Булгарин велит делить доход поровну, а не так, как положено было в контракте. Я отвечал, что это, конечно, произошло по ошибке, и при первом случае спросил о том у Булгарина. Он смешался, стал поглядывать в сторону и объявил, что объяснится об этом со мной после. Я не возражал, и тем дело кончилось.

В конце 1847 года, когда мне минуло шестьдесят лет, вздумал я сложить с себя бремя издания «Северной Пчелы» и передать мои права сыну Алексею. Для этого обратился я с просьбой о позволении на сию передачу к министру просвещения графу Уварову и шефу жандармов А. Ф. Орлову и получил от них письменное на то согласие. Засим написал я о том к Булгарину, который тогда находился в Дерпте, в твердом уповании, что и он согласится, но я ошибся в расчете: он, как сказано выше, не хотел признать в сыне моем равного себе, требовал себе звания главного редактора и, в случае моей смерти и перехода поло-

вины «Пчелы» в полное обладание моего сына, уплаты ему (Булгарину) десяти тысяч рублей серебром. Видя такое непостижимое и дерзкое упорство, мы с сыном решились оставить дело в прежнем положении.

Доколе жив был сын мой, я молчал о контракте, но по смерти его, в 1851 году, просил у Булгарина предъявления мне подлинного, потому что копии в бумагах сына моего не оказалось. Он отвечал из Дерпта, что контракт находится в Петербурге, а приехав в Петербург, сказал, что контракт, вероятно, остался в Дерпте и он его отыскать не может.

В начале 1852 года возобновил я свои требования. Булгарин отвечал мне бумагой следующего содержания, на которую я возразил по пунктам[47].

Примечания

Некоторые тогдашние лица говорили, что это была любовь чисто платоническая. Что-то не верится. Вот последняя любовь Екатерины была действительно платоническая — с Платоном Зубовым.

[^^^]

Я случайно узнал впоследствии одну из этих мыльных весталок. Она вышла замуж за белорусского дворянина Вакара, которому за то дали чин, место и пр. Племянник его, Феликс Делабинский, учившийся со мною в Юнкерском Институте, водил меня к нему. Он был обыкновенный низкопоклонный поляк, а она женщина простая и тихая. В то время, как я знал ее, мне была известна ее этимология. Что случилось с нею и с детьми ее потом, не знаю. Вероятно, графы Мусины-Юрьевы служили и служат, под именем Вакаров, где-нибудь в провинции. Не от них ли артиллерийский генерал Вакар: он сильно смахивает на Павла.

[^^^]

Павел Григорьевич Саражинович, бывший потом правителем канцелярии генерал-губернатора графа Ланжерона, в Одессе, а наконец директором Департамента врачебных заготовлений Министерства внутренних дел, умер в СПб, в 1848 г. от холеры, в отставке и крайней бедности.

[^^^]

4

БЫВШИЙ впоследствии губернатором и тайным советником.

[^^^]

Акинфий Иванович Сорокунский в 1806 г. был мелким чиновником в Дубосарской Почтовой конторе. Он послал в Москву к приятелю своему голову сахару с отправившеюся туда эстафетой. За это государственное преступление был он судим, и отрешен от службы, с тем, чтобы его никуда не определять. Безак, проходя с армиею кн. Прозоровского чрез Дубосары, приискивал в штат свой писцов, и главнокомандующий, по силе данной ему власти, определил к себе Сорокунского, о котором все жители Дубосар отзывались с выгодной стороны. При первом представлении к награде сняли с него опалу, потом произвели в следующий чин. Он оказался человеком способным и благородным. Умер в звании бессарабского гражданского губернатора и был оплакиваем всею областью. К Безаку сохранил он душевное почтение и благодарность.

6

Многоточие на месте забытого Гречем отчества.

[^^^]

7

Человек предполагает, а Бог располагает.

[^^^]

Это написано в 1851 году, за четыре года до кончины императора Николая Павловича, и включает в себе что-то пророческое: умри Николай в 1850 году, он не дожил бы до пагубной войны с французами и англичанами, которая прекратила жизнь его и набросила на его царствование мрачную тень. Но тень эта существует только для современников. При свете беспристрастной истории она исчезнет, и Николай станет в ряд самых знаменитых и доблестных царей в истории.

[^^^]

Алексей Данилович Копьев, автор комедии «Лебедянская ярмарка», был очень умен и особенно остер, но большой циник в словах и поступках. Никто не уважал его. Он умер лет за десять пред сим. В последнее время жизни занимался он торгами и подрядами и отличался скупостью и неопрятностью.

[^^^]

Побочный сын незаконной дочери Ник. П. Архарова, прижитой им с какой-то француженкой. Эта дочка продолжала ремесло своей матери и, произведя на свет великого издателя «Отечественных Записок», сама не знала, чей он сын, ибо имела, при редакции его, много сотрудников. Один белорусский подлец, по фамилии Краевский, дал ему свою фамилию за благосклонность матушки. Она вышла потом за другого подлеца, какого-то майора фон-дер-Палена и, лишившись носа в какой-то кампании с Венерой, завела в Москве девичий пансион.

[^^^]

«О развитии революционных идей в России».

[^^^]

Князь П. Г. Гагарин был человек тихий, добрый, в молодости пописывал стишки и женился из протекции. По смерти Анны Петровны он надписал на ее гробнице: «Супруге моей и благодетельнице». Уж хоть бы промолчал. Он оставался генерал-адъютантом при Александре I и был военным посланником при Наполеоне, в 1809 году; в 1810-м и последующих годах служил директором одного из департаментов Военного министерства, а потом вышел в отставку и поселился в поместье своем, на берегу Невы, напротив Рыбацкой слободы, с любовницей своей, бывшей танцовщицей Спиридоновой, окруженной стаей гнусных собак. Не знаю, что сделалось с его именем. Дом, доставшийся ему после жены, загорелся в 1809 г., во время пребывания здесь прусского короля и королевы. Сгорел верхний этаж, и он построил, вместо него, нынешнюю безобразную галерею.

Умер в 1854 году. Обойдя бедных своих родственников, он завещал все свое огромное состояние в русскую казну, по медицинской части. Ему воздвигли за то монумент перед зданием Медико-хирургической Академии в С.-Петербурге, а родные его в Шотландии томятся в нищете. Но есть высший суд на небе!

[^^^]

Эту надпись переделали в конце царствования Александра:

Сей храм трех царств изображение:
Гранит, кирпич и разоренье.

[^^^]

Сиверс получил графское достоинство при Павле, в лице дяди его, ученика моего деда, знаменитого генерал-губернатора, начальника путей сообщения, бывшего посланником в Польше, Якова Ефимовича (ум.1808). Павел дал ему графство и, узнав потом, что у него только дочери (за Гюнпелем и Иксулем), распространил графский титул на его братьев, Петра и Карла. Егор Карлович бывал у нас еще пажом и за отличие был выпущен из камер-пажей в поручики Измайловского полка. При вступлении на престол Александра, он вышел в отставку полковником, поехал в Дерпт, а потом в Геттинген, чтоб кончить свое образование, и, воротившись, поступил в службу по инженерной части, был командиром пионерных полков, а потом директором Главного Инженерного училища (ум. 1827). О нем буду говорить впоследствии, когда допишусь до того. Он был человек не глупый, честный, благородный, но ужасный педант и мелочен до крайности. Я замечал неоднократно, что довершение учения в зрелые лета редко

приносит пользу существенную: оно набивает память, но не укрепляет рассудка, а это главное. Ребенок, юноша усваивают себе преподаваемые им предметы, переваривают их в своей голове и потом действуют ими, как благоприобретенною собственностью. Люди взрослые всегда остаются чуждыми существу изучаемого дела и теряются в подробностях. Представлю со временем еще несколько тому примеров.

[^^^]

Так, значит, это правда, моя тетка выходит замуж.

Какого поздравления ждала бы эта дорогая тетка от своего молодого племянника?

Чтобы поздравить как следует, он еще слишком мало знает.

Но все, что я могу почерпнуть в моей радостной душе,

Я выражаю в желании, чтобы она всегда меня любила и была счастлива.

[^^^]

Последним памятником этой катастрофы остался Иван Саввич Горголи, нынешний действительный тайный советник, сенатор и святоша. В молодости своей, служба в гвардии, он был образцом рыцаря

[^^^]

Тюильри.

[^^^]

Нечто вроде того Е. Ф. Комаровский рассказывает про князя Н. Л. Шаховского в 7-й главе своих «Записок». (прим. Константина Дегтярева)

[^^^]

Т.П.О. — Трудями Павла Острогорского.

[^^^]

Но, мой милый, это бездельница.

[^^^]

Прошлого года, в Париже, в большой компании, один француз, умный и образованный, спросил меня, точно ли мы любим государя и отчего происходит эта безусловная любовь к нему, о которой они, французы, не могут составить себе понятия. Я ответил ему: «Мы любим нашего государя, как данного самим Богом отца, который сам любит нас искренно и безусловно. Вы же смотрите на вашего короля, как на опекуна, от власти которого, считая себя совершеннолетними, стараетесь освободиться как можно скорее».

[^^^]

Биографические очерки Греча о перечисленных здесь и далее лицах — см. ниже.

[^^^]

Разительный пример памятозлобия Александра видим в поступках его с бароном Корфом. Генерал-адъютант Федор Карлович Корф, умный, прекрасный, воспитанный, благородный, был одной из блистательнейших звезд плеяды, окружавшей Александра в 1812 году в Вильне. На двадцатом году от роду получил он Георгиевский крест из рук Суворова на штурме Праги; командовал в войне 1806–1807 годов Псковским драгунским полком и в начале 1812-го назначен командиром 2-го резервного кавалерийского корпуса. В звании генерал-адъютанта провожал он императора в дрисский лагерь. Александр, увлеченный рассказами шарлатана Пфуля, воображал найти там нечто вроде Кенигштейна и Гибралтара, изумился, увидев невыгодное положение и ничтожность укреплений места, избранного для удержания напора Наполеона. Он отошел в сторону и залился слезами. Корф, не догадываясь об этом излинии чувств, подошел к Александру. Император опомнился, отер слезы, но с того времени воз-

негодовал на свидетеля его слабости. Бывший дотоле любимец отодвинут был в ряды дюжинных людей. Напрасны были подвиги его храбрости, свидетельства его самоотвержения. Все прочие генералы были ему предпочитаемы. С трудом получил он, по окончании войны 1815 года, Александровскую ленту, но не был призываем к лицу государя. Он пережил Александра: скончался в 1826 году.

[^^^]

В молодости моей, в 1808 и 1809 годах, давал я уроки русского языка саксонскому посланнику графу Эйнзиделю, прекратившиеся с переводом его в Париж. По заключении мира, он опять прислан был к нашему двору. На одном публичном спектакле, в 1816 году, на котором присутствовали императорская фамилия и весь двор, очутился я в креслах подле моего бывшего ученика и разговорился с ним.

— Не дивитесь ли вы переменам, которые произошли в ваше отсутствие? — спросил я. — Кто бы подумал, что эти господа так скоро выскочат? Вот Волконский, вот Чернышев, бывший тогда поручиком, вот Нессельрод.

— Об этом не говорите, — возразил граф, — я имел о нем верное предсказание. Однажды, обедая в Париже у вашего посла, князя Куракина, я очутился подле Талейрана. Куракин врал без милосердия. «Нетрудно, князь, — сказал я Талейрану, — сладить с такими дипломатами, как эти русские». — «Правда ваша, — сказал он, — Куракин ужасный осел, но вот этот маленький немец (указывая наси-

девшего против него Нессельрода) пойдет далеко».

Нессельрод был особенно указан государю бароном Штейном в начале 1812 года, когда бестолковость и недальновидность графа Румянцева всех приводила в отчаяние, — и предсказание Талейрана сбылось вполне.

[^^^]

Сообщаю любопытную черту о расположении Александра к его свояку, королю шведскому Густаву IV.

В 1801 году генерал-квартирмейстром при государе был почтенный и достойный генерал (впоследствии граф) Петр Корнилович Сухтелен, человек весьма умный, учтивый, кроткий в обращении, но тем не менее настойчивый в своих убеждениях. Не знаю, кто из приближенных к государю, Ливен, Волконский, что ли, сделал ему неприятность, и, вероятно, немаловажную, потому что Сухтелен пожаловался государю. Александр старался успокоить его, просил забыть оскорбление, может быть, неумышленно нанесенное, и прибавил: «Il faut avoir un peu de philosophic» — «Надобно быть отчасти и философом». Сухтелен не был доволен ответом, но замолчал. Дня чрез два после того было у государя собрание генералов для обсуждения разных стратегических вопросов, впрочем, в одной теории, ибо о войне тогда не помышляли. Стали говорить, какие границы были бы

всего выгоднее для России.

— Что вы думаете об этом, Сухтелен? — спросил император. Сухтелен встал, не говоря ни слова, взял со стола линейку и на карте России, висевшей пред собранием, провел черту по реке Торнео.

— Полно, полно, — сказал государь, — эта граница нам недоступна. Что скажет свояк мой, король шведский?

— Sire, — отвечал Сухтелен, — il faut avoir un peu de philosophie. Присутствующие не поняли всего значения этих слов. Александр закусил губы, но, так как колкость этого возражения известна была ему одному, не сердился на Сухтелена.

[^^^]

Говорят, что Александр хотел воспитать в лицее братьев своих Николая и Михаила, наравне с будущими подданными, и что политические обстоятельства помешали ему исполнить это. Невероятно: Николаю в 1811 году, при открытии лицея, был уже шестнадцатый год. А мысль, если она была, заслуживает всякого уважения. Лицею (то есть первым выпускам) обязана Россия многими достойными и блистательными людьми: Пушкиным, бароном Корфом и — увы! — князем А. М. Горчаковым.

[^^^]

В строевом учении начала XIX в. существовала команда весь-кругом, и это движение батальона, фронтом назад, делалось медленно, в три приема с командою: «раз, два, три». Но потом — по прусскому образцу — стали выполнять это движение в два приема и самая команда была сокращена и произносилась весь-гом

[^^^]

Брат — это друг, данный природой.

[^^^]

Шелехов, проживший родовое свое имение разными сельскохозяйственными спекуляциями, брался за разные средства к поддержанию своего существования и к приобретению известности. Между прочим он читал в Экономическом обществе лекции о сельском хозяйстве. Около 1850 года он описал царствование императора Павла, выставляя его величайшим царем и человеком, сделавшимся жертвою своей любви к чести и правосудию, и представил его в рукописи Николаю Павловичу. Государь прочитал ее со вниманием, пожертвовав для этого целую ночь, восхищался ее содержанием, произвел Шелехова в полковники и определил к своей особе, предоставив ему вход к себе во всякое время. К счастью России, Шелехов вскоре умер. Николай в состоянии был сделать его министром внутренних дел и даже просвещения. И в самом деле, он был не хуже Вронченко и Шихматова.

Что мне ему дать? Это большой барин!

[^^^]

Один остроумный человек сказал: «Европа населена тремя коренными племенами: племя германское (немцы, шведы, датчане, англичане, голландцы) — благоразумное; племя романское (французы, итальянцы, испанцы, португальцы) — бешеное и племя славянское (русские, поляки и пр.) — бестолковое».

[^^^]

Мих. Петр. Малютин, сын Катерины Ив., замешанный в восстании декабристов.

[^^^]

«Это должно быть вам приятно. Слушали не без плода».

[^^^]

Le duc, т. е. герцог.

[^^^]

Сам Булгарин утверждал, что он был одет индейцем (прим. Константина Дегтярева)

[^^^]

Булгарин настаивает (и не без подробностей), что участвовал в войне в составе лейб-гвардии уланского полка. Весьма возможно, тут ошибается Греч. (прим. Константина Дегтярева)

[^^^]

Эти эпизоды Булгарин относит ко времени по окончании финской войны, во время своей службы в гарнизонном полку. (прим. Константина Дегтярева)

[^^^]

Это чувствуется в его «Воспоминаниях», при описании жестоких и кровавых сцен (прим. Константина Дегтярева)

[^^^]

Особенно образумила меня семеновская история, доказав мне, что можно попасть в беду без всякой вины.

[^^^]

Впоследствии узнал я, что подкидные письма, причинившие поединок, писаны были князем Ив. Сер. Гагариным, с намерением подразнить и помучить Пушкина. Несчастный исход дела поразил князя до того, что он расстроился в уме, уехал в чужие края, принял католическую веру и поступил в орден иезуитов. В пребывание мое в Париже (1845–1847) был он послушником монастыря в Монруже и исправлял самые унижительные работы; потом в иезуитском доме (в Rue des Postes) учил грамоте нищих мальчишек. Впоследствии, кажется, повышен был в чине.

[^^^]

Мой великодушный друг, я вас узнаю по этому великодушию!

[^^^]

Кто никогда не бывал в карауле, не знает этого удовольствия.

[^^^]

Потому что он умный человек!

[^^^]

Тетка жены Булгарина, известная в свете и литературе под названием танты, как говорит Измайлов о дворовой собаке: предобрая, презлая! Имя ее не раз встречалось в эпиграммах на Булгарина, например:

Где Булгарин Фаддей
Не боится когтей Танты.

[^^^]

Жена капитана фон-Булгарина.

[^^^]

На этом обрывается рукопись статьи Греча о Булгарине.

[^^^]